

**Ангел
де
РЕНЬЕ**



МАРИИ ДЕ РЕНЬЕ

Сказать по правде, я не совсем-то знаю, почему я написал этот странный роман и как он возник в моем уме. Несомненно, нечто без моего ведома наложило на меня свою власть и принудило меня точно исполнять его требования.

Вопреки всему, я не должен был бы, может быть, оказать ему то доверие, которого оно требовало, и позволить ему воплотиться в книге, которая, хотя и удовлетворила мое воображение, все же смущает несколько мое суждение; но этот причудливый образ г-на де Галандо так часто и так настойчиво являлся перед моею мыслью, что я почувствовал необходимость объяснить его мне самому. Я изобрел для него жизнь, чтобы удалить ее от моей, и потом я решился познакомить с ним других, чтобы мне лучше удалось позабыть о нем.

И вот представлен он так точно, как только возможно, с теми событиями, которые я вообразил вокруг него сообразно с его характером. Несчастный этот г-н де Галандо. Я позаботился сочинять о нем историю, которая подходила бы к нему. Если читатель не увидит в ней того, что я хотел ею показать, он простит мне мою ошибку, а я снесу его неодобрение и ничего не буду от него ждать, лишь бы только он пожелал извлечь для себя некоторое удовольствие из этого лица, которое часто доставляло удовольствие мне.

Впрочем, я не искал ничего иного, как провести по стеклам моего фонаря несколько теней во французской манере; а если бы я захотел поместить на фронтисписе портрет моего героя, поверьте, что это было бы нечто вроде тех старых фигурок, что назывались силуэтами и плоско вырезывали на белой бумаге свои профили черными чернилами.

Написания имен и названий, а также некоторых наиболее употребительных сословных понятий даны с учетом современной орфографии. Примечания, кроме особо оговоренных случаев, — редакции.

ПРОЛОГ

Когда г-н де Портебиз углублялся в даль своих воспоминаний, он не находил там ничего, что относилось бы к его двоюродному дяде, г-ну де Галандо.

Надо сказать, что наиболее привычные для памяти молодого человека лица не принадлежали его родным. Его родители охотно доверяли его детство слугам и его юность — учителям, только бы им самим не брать на себя эти заботы. Таким образом из лиц, склонявшихся над его плечом во время игр или учения, когда он подстегивал волчок или перелистывал книгу, ему приходили на память скорее служанки и лакеи, училищные сторожа или учителя коллежа, чем кто-нибудь из его семьи. Более того, ему не только недоставало родных братьев и сестер, но и двоюродных, а следовательно, теток и дядей, так как г-н де Галандо, собственно говоря, не считался; поэтому я думаю, что он не представлял никак и никогда это лицо, столь единственное и столь значительное в детстве, лицо, занимающее в глазах ребенка совсем особое место, Дядю.

Это место, которое г-н де Галандо мог бы занять в душе своего племянника, осталось, таким образом, незанятым в памяти Франсуа де Портебиза. Он не знал этого обычного посетителя, приходящего только в известные дни и являющегося чаще всего под видом кротким и добродушным; он сначала интересуется играми, а позже — проказами, не бранит вас и уж вовсе вас не школит, похлопывает вас по щеке и щиплет вас за ухо и оставляет в вас воспоминание об его старости, странно связанное с памятью о ваших юных летах.

Франсуа, однако, довольно хорошо помнил, что ему приходилось слышать иногда упоминание о г-не де Галандо, но больше он ничего не знал. Г-н и г-жа де Портебиз мало разговаривали при своем сыне, который притом же бывал довольно редко в их обществе. Им не занимались непосредственно и думали о нем только тогда, когда выбирали людей, назначенных ходить за ним, и особ, которым поручалась обязанность его воспитывать. Наступила пора коллежа. В приемной он показывался вовсе не чаще, чем в гостиной. Да и не жалел он нисколько о родительском доме. Обширный он был и пустынный, всегда с запряженною каретою во дворе, потому что г-н и г-жа де Портебиз выезжали в город во всякий час ночи и дня. Отпуски, которые он проводил там, совсем не развлекали его; он скучал, а вечером испытывал страх в своей комнате; поэтому он без сожаления возвращался в дортуар, к школьной скамье и к учительской указке.

Он не помнил, чтобы во время этих побывок в семье когда-нибудь ему случилось видеть среди рам, где изображены были на холстах его мать в образе богини — складки одежды на плече и нагая грудь, — и его отец — стаканчик с игральными костями в руке, — также и портрет, который изображал бы г-на де Галандо и по которому он мог бы составить хоть какое-нибудь понятие об его осанке и лице.

Он этому удивлялся, не зная, что помешало дяде явиться там, хотя бы только в живописи. Не существовало, в самом деле, между Портебизами и их кузеном иной связи, кроме родственной, сила которой, прочная и неожиданная, дала почувствовать себя самым счастливым способом, так как старый дворянин, умирая в Риме, куда он удалился много лет тому назад, оставил состояние своему внучатному племяннику.

И вот Франсуа был совершенно ошеломлен этим даром. Неожиданность этого наследства делала удивление еще более приятным, и счастливый наследник испытал удовольствие проснуться в одно прекрасное утро весьма богатым.

И потому никогда г-н де Галандо не казался ему более живым, чем теперь, когда он умер. Молодой человек пытался точно представить себе своего неожиданного благодетеля, но ему не хватало, конечно, обычных подсказок, которые помогают в подобных случаях нашим сомнениям относительно того, к кому в нас возникает внезапный интерес; и он напрасно томился, стараясь вообразить, каким мог быть этот итальянский Галандо, умерший так кстати для французского Портебиза; за неимением лучшего, он ограничился тем, что представлял его не иначе как под видом монет эку, серебряный звон которых в его ушах был порожден этою благополучною кончиною. Он видел его, как профиль на монете, и потому находил его очень красивым.

Таким же был и Франсуа де Портебиз. Это был молодой человек двадцати пяти лет, очень красивый на взгляд в своем зеленом мундире с красными отворотами, — косичка, хорошо заплетенная и перевязанная на затылке черною лентою. Его воинственная осанка заставляла женщин оборачиваться, когда он проходил по площади вместе с г-дами де Креанжем и д'Ориокуром, неразлучными с ним на параде, как и в игорном доме. Они были опытные, все трое, в играх любви и удачи. Они закладывали брелан [1], и каждый в свою очередь пронзал чье-нибудь сердце. Впрочем, все трое были бедны, потому что если выгоды эполет скудны, то выгоды карт неверны; итак, у него, как и у этих господ, все богатство заключалось в хорошей внешности и в очень хорошем происхождении, так как дворянство его было бесспорное, а осанка приятная.

К этому присоединялось и еще одно: он был сын столь красивой женщины, что его отец, толстый Портебиз, не пренебрег преимуществом стать ее мужем, женившись уже под старость на прекрасной Жюли де Мосейль, от которой был рожден красавец Франсуа.

Впрочем, странное супружество этой прелестной особы с этим толстобрюхим распутником было налажено посредничеством старой г-жи де Галандо, тетки Жюли, а как она это устроила, мы расскажем. Когда дело было обделано, новобрачная последовала в Париж за своим мужем, которому экую отсчитанного приданого помогли снова занять приличное положение.

Его жена была слишком очаровательна, чтобы не обратить на себя внимание, а Портебиз был внимателен к тому, чтобы извлечь пользу из волнения, производимого этим лицом, тонким и свежим, этою красотою, чувственною и здоровою, такою, по-видимому, простодушною. Он деятельно развернулся во всех смыслах, приобрел доверенность, и даже разбогател бы, если бы склонность к игре не была тем барабаном, под грохот которого уходило все привлекаемое флейтою уст этой новой сирены. Это не обошлось без того, что Портебиз стал рогоносцем, но он умел быть им с пользою и добродушием. Его рога были рогами изобилия. Пентюх и грубиян с виду, он был человек тонкий, опытный и испорченный; поэтому он щедро наделялся местами доходными, откуда он добывал средства рисковать на зеленом поле настолько, чтобы казаться большим игроком и приобрести некоторую известность среди бреландистов двора и города. Это ему давало значительность, которая, в соединении с благосклонностью, приобретаемою им посредством его супружеской снисходительности, делала его личностью хотя и обесславленною, но с большими возможностями.

Его жена, со своей стороны, никогда не предполагала быть орудием этой сомнительной фортуны. Она и не воображала, что можно извлечь из любви что-нибудь, кроме удовольствия, а из удовольствия что-нибудь, кроме него самого. Что ее муж думал иначе, до этого ей было мало дела. Удовлетворенный невольными услугами, которые она ему оказывала, он не противился ее развлечениям на стороне. Поэтому она свободно пользовалась своим прирожденным вкусом к кокетничанью, в которое увлекала ее живость ее чувств и к которому ее, казалось, предрасполагали самое очарование ее плоти и роскошное изобилие красоты.

Жюли более возбуждала желанья, чем привлекала любовь. Она отвечала желанию с такою стремительностью, которая, без сомнения, помрачала любовь, — столь поспешно удовлетворяла она нетерпение, которое она причиняла. Поэтому и сама она не ведала, в какой мере извлекала она пользу для своего мужа из многих людей, которые знали по своим издержкам, чего стоит их благосклонности к нему воспользоваться ее благосклонностью к ним. Совершенно счастливая, она делала счастливыми многих. Но желание проходит вместе с тем, что его рождает. Его пылкость исходит от внешности, а она портится раньше всего. Оно, вполне плотское, сообразуется с плотью, от нее зависит и, так как подчиняется ее мощному зноу, то и ограничивается длительностью ее цветения.

Цветение Жюли было великолепно и сочно. Она прельщала, очаровывала и не удерживала. У нее были связи, но не было тех союзов, которые соединяют одну с другим двух суженых и делят любовь между двумя возлюбленными, вопреки ослаблению тел, которыми они наслаждались, и увяданию лиц, которыми они любовались. Маршал де Бонфор, одним из первых обладавший ею, называл ее довольно забавно — «Тысяча и одна ночь». Она улыбалась и переходила к другим, всегда прекрасная, сладострастная и свежая.

Однако настало время, когда нежная улыбка, оживлявшая это очаровательное лицо, уже не находила поддержки в юности и когда прекрасная Жюли все еще была прекрасною Жюли перед тем, чтобы стать, кроме того, и прекрасною г-жою де Портебиз. Она еще оставалась такою, только красота ее была более зрелою и как бы отяжелелою, когда она в последний раз

появилась среди тех, которые так скоро ее забудут.

Ужинали у маршала де Бонфора, когда, посреди второй перемены блюд, толстый Портебиз осунулся внезапно на своем кресле и упал головою на свою тарелку. Его подняли, — нос испачкан соусом, и лицо багровое. Старались помочь ему, но все усилия были тщетны. Вена, вскрытая ланцетом хирурга, осталась сухою. Он умер, и, когда его унесли, маршал де Бонфор, садясь за игру, не упустил случая сказать, что, в конце концов, чудака поступил так хорошо, как никогда, окончив в хорошем обществе жизнь, которая обычно протекала в обществе наихудшем, и что он должен за это славить Бога.

После этой кончины г-жа де Портебиз осталась в бедности, с сыном, уже подростком. Зеркало, с которым она посоветовалась, не оставило в ней сомнения в том, что ей пора удалиться. Оно молчаливо показало ей, что ее лицо, так хорошо ей служившее, не замедлит отказаться от этих услуг. Поэтому она твердо решила исчезнуть из этого света, куда она появилась с таким блеском, которого уже не в состоянии была поддерживать. Ее приданое уже давно было растрчено, и осталась вдове и ее сыну только земля в Ба-ле-Прэ, перешедшая к ней от родителей и все еще дававшая сборы со своих тощих арпентов [2]. Итак, она совсем переселилась туда, оставив Франсуа в Париже, в Наваррском коллеже, где г-н де Бонфор содержал его на свой счет. Старый маршал взял на себя все заботы о молодом человеке, и Франсуа опять увидел свою мать только тогда, когда, отправляясь на королевскую службу, провел неделю в Ба-ле-Прэ, прежде чем поехать в свой полк, где он опять встретил господ де Креанжа и д'Ориокура, с которыми познакомился в Академии. Все трое получили свои патенты на офицерский чин от маршала и удивительно были похожи друг на друга.

В этом-то жилье в Ба-ле-Прэ Франсуа де Портебиз мысленно видел свою мать, и, болтая о том, о другом на площадке для игры в рюхи, где он прогуливался с господами д'Ориокуром и де Креанжем, он восстанавливал в своей памяти мельчайшие подробности этого дома.

Туда надо было ехать аллею захирелых деревьев, которая отделялась от большой дороги и приводила к замку. Это было квадратное строение с башенкою на каждом углу. Сводчатый въезд открывал доступ во внутренний двор, заросший травой и крестообразно перерезанный тропинками. Перед въездом снаружи невысокая дверь вела в огород, где на грядках, обведенных редкосейным буксом, возрастали рахитичные овощи и хилые фруктовые деревья. За плетнями изгороди виднелось несколько хижин, скучившихся в деревишке, где насчитывалось около дюжины хозяйств.

Участок земли среднего размера вместе с этими хижинами составлял все, что приписывалось к замку, в большей своей части необитаемому. Г-жа де Портебиз занимала там невысокие комнаты в нижнем жилье, над которым тянулся этаж горниц и чердаков.

Она жила там очень уединенно, одетая в платье из грубой шерсти, прилежно занимаясь хозяйством, всегда со связкою ключей в руке. Она следила за кухнею — любила тонкую пищу, — и за прачечною, сохранив вкус к хорошему белью. Поэтому если гардероб и не был богат, то шкаф и буфет были снабжены обильно. Значительная часть скудного дохода г-жи де Портебиз употреблялась на то, чтобы привозить из города аршины полотна и короба провизии, потому что плоды из сада и живность с птичьего двора снабжали ее только очень жалкою трапезою.

Фермеры платили скудный оброк. Они весьма уважали г-жу де Портебиз потому, что она с большим вниманием следила за тем, чтобы не давать себя одурачивать. Она заботливо рассматривала масло в маслостойке, зерна в четверике, но она не могла добиться того, чтобы коровы не скупались на молоко и бедные посева — на колосья.

Окончивши эти мелочные заботы, она обыкновенно садилась к окну и пряла на самопрялке.

Она сопровождала свою однообразную работу непрерывными песнями, потому что она оставалась веселой и смешливой; но, вместо рождественских кантов и старушечьих причитаний, напевала она вольные куплеты и нескромные песенки, потому что ее память была полна тем, что ходило по устам в ее доброе старое время, и она себе ворковала, не задумываясь над несознаваемой непристойностью. Эти нескромности странно противоречили ее одеянию няньки-сказочницы, но здесь не было никого, кому бы обратить внимание на эту нескладицу. Старая Жанетта ворочала головни в очаге, а маленький простоватый Жан входил и выходил, неся какую-нибудь посуду, прежде чем надеть коломьянковую блузу, чтобы накрывать на стол и служить за обедом своей госпоже.

Она ела одна, изобильно и продолжительно. Упитанность еще поддерживала упругость ее плоти. От своей былой красоты она сохранила приятное лицо. Она была полная, с самыми красивыми на свете руками, и, когда у своего зеркала, перед тем как лечь в постель, она снимала свою шемизетку и спускала свою бумазейную юбку, из этого линовища цвета пепла и увялых листьев она выходила нагая и пышная, с тяжелыми грудями и словно наливной спиной.

Франсуа де Портебиз снова видел себя в Ба-ле-Прэ, лицом к лицу со своею матерью, сидящим перед большою мискою, разрисованною цветочками, к которой они оба приносили равный аппетит. Его аппетит обострялся от деревенского воздуха. После обеда он рыскал по полям на кургузой лошадке, которая вечером приносила его к четырем башенкам в Ба-ле-Прэ. Ночью он слушал скрежетание их ветроуев. Ветер широкими взмахами проносился над полями и останавливался на минуту пощелкать старыми оковками, потом мчался дальше и продолжал свой воздушный путь. Это древнее жилище со своим заросшим травю двором, стоявшее среди полей, казалось ему печальным обиталищем. Его окрестности не вознаграждали за то, что было в нем.

Это плохонькое поместье Ба-ле-Прэ состояло из земель жестких и грубых, непокорных плугу, трудно возделываемых и дающих скудные сборы. Колос вырастал короткий; низкорослая трава вскармливала тощий скот. Крестьянин там был сварливый и худосочный. Мелкоствольный лесок давал только хворост да сухоподстой. Стволы там были корявые, ветки уродливые, пни рогатые, перекошенные. Болота прятали здесь и там свои тусклые воды, которые исподтишка точили берега. Это был плохой уголок земли, какой-то отброс почвы, который был вовсе не похож на соседние земли — зеленые, изобильные, радующие взор.

Это Ба-ле-Прэ углубляло причудливыми клиньями свою жесткую и неуклюжую землю в окружающее плодородие. Оно представляло собою враждебный вмёт, изрезанный сухими бороздами, одетый плешивою травою. Его синеватые лужи глядели искоса, его деревья угрожали. Оно имело, если можно так сказать, злое лицо. Было постоянство в ущербе, к которому издавна местные владельцы худо или хорошо приспособлялись. Они жили там всегда бедно, нелюдимые и норовистые, славились своею резкостью и своим дурным характером и со всеми были в натянутых отношениях. Негостеприимные, с порочными наклонностями и с хитрою изворотливостью, они довольно метко и назывались-то Мосейлями [3].

Казалось чудом, когда подумать, что прекрасная Жюли была рождена в этом гнусном месте, от этих гнусных людей и даже от худшего среди них. Она была запоздалою дочерью от второго брака последнего г-на де Мосейля, который оставил ее сиротою в обществе одной только тетки, безумной больше чем наполовину как от природы, так и от ярости на то, что ее младшая сестра ушла из Ба-ле-Прэ, по необыкновенному счастью повенчавшись с графом де Галандо, от которого появился на свет в 1716 году сын, названный Николаем, который приходился двоюродным братом Жюли и, следовательно, стал двоюродным дядею Франсуа де Портебизу.

Земли господ де Галандо были обширны и хороши. Они окружали со всех сторон владения де Мосейлей. Четыре башенки в Ба-ле-Прэ смотрели через их скудные арпенты, как раскидывалось благородное пространство нив, полей и лесов, — и вот, по странной прихоти фортуны, все это перешло ныне в счастливые руки Франсуа де Портебиза. Маленькое сварливое и хмурое поместье завладело большим и сильным именем. Тощие борозды одного продолжились добрыми полями другого. Рахитичные леса соединились с богатыми рощами, плешивые поля — с плодородными долинами. Это был союз семи тучных коров с семью тощими.

Казалось Франсуа де Портебизу, что широкое дыхание счастья пронеслось над его жизнью. Ветрочуи на башенках в Ба-ле-Прэ внезапно повернулись. Ветер стукнул ставнями, открыл окна, смел пыль; и все это потому, что кто-то, кого он не знал, умер в Риме, и потому, что он сам был человек жизнерадостный, готовый пользоваться тем, что жизнь дает каждому, а благодаря этому своевременному наследству и всем тем, что умножает богатство жизни. О, какой почтенный дядя — этот Николай де Галандо! И, стройный в своем кокетливом с красными обшлагами мундире, с косою, хорошо заплетенною и перевязанною на затылке черною лентою, на игровой площадке, которую он пробегал с господами д'Ориокуром и де Креанжем, неразлучными с ним, он позванивал своими шпорами, меж тем как тихий внутренний голос говорил ему на ухо:

— Ну что ж, Франсуа де Портебиз, вы довольны?

И прибавлял фальцетом сельского нотариуса, поправляющего свои очки:

— Господин Нуаркура у Трех Ключей, господин Клершана, Сен-Мартен-ле-Пье, Кло-Жоли, Серпанта, Сен-Жан-ла-Виня и других поместий, владелец замка Понт-о-Бель...

И он чувствовал в себе признательность за столько непредвиденных благ к этому римлянину Галандо, который представлялся ему в каком-то обаянии, неопределенном, но внушительном, стоя на пьедестале, с мечом у бедра, с кирасою на груди и в длинном парике, как у Великого Короля, когда его изображают в виде Цезаря или Августа на площадях его славных городов или на медалях в память его побед.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПОНТ-О-БЕЛЬ

I

Замок Понт-о-Бель, где родился Николай де Галандо 4 июня 1716 года, был очень красив и остался таким, как в этом убедился Франсуа де Портебиз, когда после смерти своего дяди, сопровождаемый старым управляющим с ключами в руке, открывавшим для него одну за другою пустынные комнаты, он обошел там верхние и нижние залы со всем вниманием и со всеми приемами, свойственными осмотрам этого рода.

В замке Понт-о-Бель можно было любоваться как хорошими размерами вестибюлей, так и счастливым расположением коридоров, совершенною согласованностью выходов и какими-то возвышающими общую стройность суровостью и прочностью. Все там, казалось, благоприятствовало жизни спокойной и упорядоченной. Лестницы своими широкими

переходами и своими просторными оборотами склоняли к медленности шагов. По их ступеням, соразмерным с поступью, легко и удобно было подниматься и спускаться. Библиотека, обширная и хорошо снабженная, располагала к долгим часам чтения и размышлений. Монументальная столовая казалась построенною для трапез изобильных и степенных, а гостиные — для бесед благопристойных и церемонных, проходящих более в диалогах стройных и в сентенциях мудрых, чем в любезностях и околичностях.

Из высоких окон открывался вид на сады, в которых аллеи были так правильны, деревья рассажены такими симметричными косыми рядами, грабины так ровны, словно все это было изведено наружу из прекрасного внутреннего порядка. Перед замком, между двумя гладкими водными зеркалами, на каменном столе солнечные часы наклонным углом своего высотомера из бронзы показывали время дня.

По этим часам г-н де Галандо-отец узнал, что его сын Николай стоил его матери тяжких усилий, потому что было восемь часов утра, когда благородная дама почувствовала первые боли, а в три часа пополудни прибежали возвестить ее супругу в сад, куда он убежал от зрелища естественного процесса, приступы которого его жена терпеливо переносила, что следствием этого процесса явился маленький мальчик, у которого все в порядке.

Г-н де Галандо почувствовал большое облегчение. Он взял из своей табакерки большую понюшку табаку, снял свою шляпу, повесил свой парик на набалдашник своей трости и торжественно вытер пот со лба. Потом он приказал, чтобы ему принесли пить.

Вскоре появился слуга с откупоренною бутылкою на подносе. Г-н де Галандо налил себе большой стакан вина, поднял его на высоту своего глаза и выпил его за здоровье юного Николая. Потом он направился в комнату родильницы для обычных приветствий, которые он сократил, увидев на подушках ее бледное лицо и закрытые глаза, что и умерило его обычную наклонность к долгим разглагольствованиям. Новорожденный был представлен ему на руках у повивальных бабок, красный, сморщенный и гримасничающий. Он не прерывал их болтовни о том, что пышечка совсем хорошо сложен и достоин своего отца, и это сделало его очень довольным и собою, и сыном.

Хотя граф де Галандо нелегко выходил из своей привычной важности, он никогда не был так взволнован с того дня, когда, сирота, богатый, располагающий хорошими землями и звонкою монетою, он сел в карету и поехал просить у старого де Мосейля руки его младшей дочери, которую он пожелал взять в жены, увидевши ее на одном собрании, где она показалась ему превосходящею по скромности и по приятности все, что провинция представляла в своих самых отборных красавицах.

Все знали, что старый Мосейль жил в Ба-ле-Прэ, но никому не было доподлинно известно, что это был самый сварливый и угрюмый дворянчик, какого только можно было встретить. Он извлекал из своей бедности особый яд, сок которого окрашивал его желтое лицо и отравлял его вздорливый характер. Его старомодная одежда, его искривленная талия и нескладная фигура делали из него какого-то проказливого уродца, страшившего всех своим злым языком и придиричивым нравом. Его дочери, которых он тиранил, гнушались им, а его сын Юбер не менее их ненавидел его.

Сын не был похож телом на отца, потому что он был высокий и стройный, но по своим качествам он был несколько не лучше отца. Если один своими ядовитыми проделками заслуживал виселицы, то другой за свою скотскую жестокость был достоин плахи. В ожидании случая совершить злодеяние, на которое обрекала его порочность его природы, он употреблял силы своего лучшего возраста на то, чтобы преследовать пастушек за плетнями и замарашек около печек. Вместо того чтобы оставаться, как его отец, безвыходно в Ба-ле-Прэ, он не сидел на месте и появлялся повсюду, так что мало-помалу стали чувствовать к нему отвращение за его низкие излишества, из которых наименьшим было, что он пил чрезмерно и

доходил до самого яростного опьянения.

Стоило посмотреть, как старый Мосейль принял просьбу этого бедного г-на де Галандо. В дороге граф приготовил речь и повторял про себя ее обороты, но не успел сказать и первых слов, потому что г-н де Мосейль в самом начале резко прервал его, так что искатель смутился и кое-как пробормотал то, что он предполагал произнести распространенно и осмотрительно. Его отпустили без ответа после приема самого брюзгливого, и, когда, наконец, снизили на его повторенные домогательства, это было сделано в самой досадной форме, и ему дано было почувствовать, какую делают ему милость этим браком, при котором он укрепил за Жаклиною де Мосейль весьма значительные выгоды.

Жаклина с тайною тоскою ждала исхода переговоров. Ба-ле-Прэ в эти дни был ужасен.

Старый Мосейль, пытавшийся подметить что-нибудь в скрытой радости своей дочери, видел в ней только, что она рада оставить его, и горько жаловался на это. Старшая из двух девиц де Мосейль, раздраженная предпочтением, которое оказано ее сестре, постоянно мучила ее своею мстительною ревностью; она едва не умерла от зависти и сдержанного гнева, когда принесли свадебные наряды, которые граф, из любви и из тщеславия, подарил очень богатые и из которых самый красивый она со злости испортила, разлив на него масло из лампы, поднесенной ею близко под предлогом лучше рассмотреть узелок на ткани. Великолепный шелк с разводами оказался никуда не годным после этой мерзкой проделки. Такое же несчастье случилось с драгоценным флаконом — его Юбер де Мосейль взял и выронил из своих пропитанных вином рук на каменный пол.

Но Жаклина и без того относилась к своему брату с явным отвращением и даже избегала разговоров с ним, чего он, грубый и надменный, не стерпел бы, если бы его сестра не имела основательной причины так открыто презирать его, что он и переносил, не говоря ни слова и сгибая спину под эту обиду.

Наконец свадьба состоялась.

Г-н де Мосейль проводил свою дочь к алтарю с самою своею угрюмою усмешкою. Что касается брата, он вошел в церковь настолько пьяный, что не мог вновь подняться на ноги, и остался на скамье, побежденный вином и объятый сном таким крепким, что смычки скрипок, трезвон колоколов и трескотня ружейных залпов не могли разбудить его.

Сразу же после венчания молодая графиня начала приобретать над своим мужем влияние, которого она никогда не потеряла, и первым употреблением этого влияния было то, что она заставила добродушного Галандо отказаться довольно сухо старому Мосейлю в некоторых выгодах, на которые тот рассчитывал получить согласие и ошибся в этом.

Сварливый дворянин настаивал; но его дочь воспользовалась его упреками, как предлогом начисто порвать с ним, да по той же причине и со своею сестрою Армандою, которая перенесла свою ярость на свою невестку, когда Юбер де Мосейль женился, в свою очередь, вскоре после того, как их отец умер от застарелой подагры и от гнева, причиненного ему поведением его дочери и его зятя, глухих к его яростным сетованиям.

Г-жа де Галандо не плакала о нем, занятая укреплением своего влияния на мужа, который, впрочем, охотно шел на подчинение, для которого самою природою был создан. Восхищение характером его жены согласовалось с любовью, которую внушала ему ее красота. Поэтому г-жа Жаклина бесспорно царила в Понт-о-Беле не только над душою ее мужа, но и над всем и над всеми.

Если ее поведение было искусно, то ее управление было превосходно — смелое и в то же время осмотрительное, осторожное и твердое. Замок был перестроен. Разломали старое здание и на его месте воздвигли новое жилище. Архитектура его была простая и прочная.

Г-жа де Галандо присматривала за всем, заботливо стараясь, чтобы у графа осталась мысль, будто бы ему многое принадлежит и в проекте и в исполнении.

Так разными способами она занимала его, сохраняя для себя возможность по существу заниматься всем.

А ему только и надо было найти свой стол хорошо сервированным, свою одежду обильною и в порядке и наслаждения ложа, когда им овладевало желание. Она удовлетворяла этому тройному вкусу, зная, что он очень прихотлив, в пище и суетен в том, что касалось одежды. А что ему нужно было от нее самой, в том видела она самую крепкую опору своего могущества и не уставала поддерживать это влечение, однако с большою умеренностью, чтобы тем лучше обеспечить его продолжительность.

Итак, граф был счастлив. Ловкая и твердая рука направляла все вокруг него, заставляла фруктовый сад приносить плоды и выводила цветы в клумбах. Ему оставалось только смаковать сочность и вдыхать аромат. И дом был превосходно устроен, и уголья процветали.

Клершан славился своими кормовыми травами и своими большими полями. Хлеба в Нуаркуре у Трех Ключей были известны во всей округе хорошим качеством своей соломы и тяжестью своих колосьев; имя Бычьего Городка оправдывалось доброю молвою об его скоте. В Кло-Жоли и в Сен-Жан-ла-Вине возрастали хорошие виноградные лозы. Почва в Серпантах питала сочные гроздья. Роща содержала самые прекрасные в стране деревья. Благоразумно упорядоченные участки леса вырубались только по необходимости, чтобы успевали вырастать высокие деревья и чтобы лесосеки достаточно снабжали дом.

Когда дровосеки с топором на плече, пахари со стрекалом в руке, виноградари с плетушкою на спине приходили в Понт-о-Бель наниматься на какую-нибудь работу или отрабатывать по договорам, г-жа де Галандо умела властно говорить с ними. Она добилась того, чтобы они стремились попасть к ней на работу. Поэтому восхищение графа Жаклиною было без границ и без помехи, тем более что он видел свою жену всегда прекрасною.

Графиня была красива, когда он женился на ней, она была красива через несколько лет после свадьбы, когда родился их сын Николай. Его последний взгляд увидел ее столь же прекрасною, когда он умирал довольно неожиданно, простояв слишком долго без шляпы в летний день под жарким солнцем, перед солнечными часами, между зеркалами воды, в ожидании полудня.

Это случилось в 1723 году, г-же де Галандо было ровно тридцать девять лет, и маленькому Николаю кончился седьмой год.

Похороны графа де Галандо, как и вся его жизнь, совершились в большом порядке. Собрались со всей округи, и дворянство всей провинции почтило в последний раз одного из лучших своих сочленов. Через гостиные, задрапированные черным, прошли перед вдовою в глубоком трауре. Катафалк был обставлен множеством зажженных свеч. Крестьяне вынесли на руках и донесли на своих плечах гроб графа. В церкви читали по уставу; гнусили певчие. Маленькая церковь в Понт-о-Беле, которую обыкновенно только поселяне наполняли своими полевыми запахами, узнала теперь мускусное благоухание дам в траурных нарядах.

Хоры были слишком тесны, чтобы вместить их. Втеснялись как могли, шелестя юбками и обмениваясь приветствиями. При словах разрешения склонили головы.

Старые плиты склепов были подняты. Холодный воздух подполья шибанул по носу тех, которые наклонились над черным отверстием. Туда опустили останки графа, сердце и внутренности были положены отдельно в серебряную урну, потому что этот бедный человек был богатый и могущественный владделец — его эпитафия возвещала об этом; потом скребок садовника изгладил перед замком след шагов и колеи, оставшиеся после карет. Все

разошлись; а кадран [4] продолжал показывать по солнцу час своею маленькою угловатою тенью на камне, тепловатом или холодном.

II

Г-жа де Галандо облеклась в большой вдовий траур и носила его со строгостью исключительно сверх даже того времени, которое предписывает обычай. Обычаю она последовала, но его превзошла.

Она отказалась от всяких нарядов, заменив их тою однообразною одеждою, которой она уже никогда не оставляла. Она заперла навсегда в ларец драгоценности, украшенною которыми ее муж любил ее видеть. Богатые платья, которые при случае, чтобы угодить ему, она вынимала из больших дубовых шкапов или окованных сундуков, отныне оставались там, развешанные или сложенные; те, что еще не были скроены, так и лежали в кусках.

Да и не только в свое одеяние г-жа де Галандо внесла перемену, пережившую вызвавшие ее обстоятельства и такую устойчивую, что по ней можно было видеть хорошо обдуманное намерение жить впредь по новому плану. Вскоре она преобразовала вокруг себя все, что допускала в угоду прихотям покойного графа, — его, чревоугодника и честолюбца, она тешила в этой двойной его склонности столом, хорошо снабженным яствами, и прихожею, хорошо наполненною лакеями.

Нести эти два расхода, на прислугу и на пищу, она соглашалась из снисхождения, но вовсе этого не любила; поэтому, оставшись вдовою и свободною действовать по своей воле, она скоро положила этому конец. Она рассчитала поварят и прислужников и сохранила при себе только необходимое их число, чтобы открывать дверь и поворачивать вертел.

Из многочисленных горничных, что были приставлены к ее особе, она сохранила для своих личных услуг только двух более пожилых, которых было вполне достаточно, чтобы присматривать за ее бельем и заботиться об ее гардеробе; а еще чаще она обходилась и без их помощи, предпочитая одеваться, причесываться и чинить кое-что самой, чего она, конечно, не отваживалась делать при г-не де Галандо, ненавидевшем даже те маленькие работы, которыми развлекаются обыкновенно женщины, — он терпеть не мог, чтобы его жена занималась ими.

Простая жизнь у иглы или у наперстка его раздражала. Он любил, чтобы жили праздно и чтобы проводили целые часы, сидя один против другого в широких креслах, очень наряженные, разговаривая о дожде или о хорошей погоде.

Он имел вкус только к игре; даже не в карты, как многие другие, не в шахматы, например, трудность которых его быстро утомляла, но в бирюльки, которые забавляли его бесконечно. Оправляя свою красивую полную рукою кружева манжет, он разбираал прихотливую путаницу фигурок, резанных из здешней или из слоновой кости, и вкладывал в эту тактику терпение и сноровку замечательные. Кроме этого комнатного времяпрепровождения всего охотнее он признавал прогулку на просторе садов.

Сады в Понт-о-Беле считались очень красивыми, и дорого стоил уход за ними посредством садовников разных служб — одни для цветов, другие для деревьев, не считая тех, что смотрели за плодами, за овощами и за огородными растениями. Г-жа де Галандо отлично справилась со всем этим излишеством. Она оставила у себя некоего Илера, искусного в разведении питомников, в прививках и в подрезывании деревьев, способного держать в порядке ее шпалерники и цветочные кологрядки; в остальном она положила на природу, по

воле которой деревья распускаются сами, и довольствовалась тем, что время от времени при помощи нескольких крестьян подчищались грабины и выпалывались аллеи, где бедный г-н де Галандо прогуливался так часто, нагибаясь, чтобы порядливо подобрать лист, забытый граблями, который находили утром увядшим в его карманах, когда их выворачивали, чтобы опустошить, чистя его одежду.

Так как перестали чинить водопроводные трубы бассейнов, то они стали не так прозрачны, и один из них, расположенный в конце парка, почти высох; но г-жа де Галандо прежде всего хотела избежать бремени этих убыточных прикрас.

Когда все стало по ее воле, она уже ничего здесь не переменяла. Она, так сказать, выразила свой нрав и этого держалась.

Каждый день она садилась за стол, всегда одинаково умеренный и скромный. Она выходила из-за него, чтобы вернуться в свою горницу, которой она почти не оставляла и где она проводила свое время за молитвами и за счетами, ставши из благочестивой богомольно и скорее порядливою, чем скупой.

Экономия коснулась не только людей. Конюшни опустели. Граф ненавидел охоту и верховую езду и никогда не имел ни гончих, ни лошадей под седло, но его склонность к пышности и суетность находили удовлетворение в прекрасных запряжках. Он видел в этом признак дворянина и ни за что на свете не упустил бы этим пользоваться. Поэтому кормил он несколько пар сильных лошадей, которых он вывел с большими издержками из Германии, — одна пара — золотисто-рыжие, другая — белые, третья — серые в яблоках, еще одна — разномастные, и последняя — чалые меринки, которыми он, по-видимому, немало гордился.

Их-то и запрягали в большую карету, обитую внутри красным атласом с золотой бахромой и украшенную гербовым прибором, в которую садились г-н и г-жа де Галандо в большом наряде, чтобы навестить соседей, что случалось каждый год обыкновенно в первые вешние дни.

Свежий апрельский воздух входил в окна с опущенными стеклами. Дорога звенела под копытами лошадей; иногда на колеях карета наклонялась набок, потому что дорога была размыта зимними дождями; птицы быстрым полетом прорезывали небо; заяц выкатывался с поля и пересекал дорогу. Встречные крестьяне кланялись. В деревнях, у ворот, женщины смотрели на проносящийся господский экипаж, вдыхали запах стойла или благоухание овина; слышался шум кузницы или скрип колодезного каната; сорванцы, бежавшие за каретою, останавливались запыхавшись, тогда как желтая собака провожала карету дальше и, уставши лаять на колеса, наконец опережала ее, и видно было, как она, тяжело дыша, поднимала над кучей камней лапу и мочилась там, высоко вскинув ляжку и высунув язык.

Иногда прибытие посетителей будило в собачьих конурах нестройный концерт яростных и хриплых голосов и визгливых фальцетов. За решетками можно было различить красные зевы, налитые кровью губы и острые клыки. Подножка опущена, дверца открыта, и тогда г-н и г-жа де Галандо сходили на песок овального двора перед каменным подъездом.

В Мете их принимал г-н д'Естанс. Он целовал руку г-жи де Галандо и фамильярно похлопывал по плечу графа, который переносил эту вольность во внимание к уважению, которым пользовался в стране старый дворянин. После нескольких походов, вследствие раны, залеченной только вполовину, он оставил в чине бригадного генерала службу, где занимал прекрасное положение. Можно было видеть на стене его портрет, где он был представлен во весь рост, с протянутою рукою в отороченной золотым кружевом перчатке серой буйволовою кожи, в кирасе, перекрытой красною лентою, стоящим на пригорке, где пылала среди обломков оружия граната.

Довольно большое было расстояние между воинственным персонажем, изображенным на

холсте, и тем сельским хозяином, который принимал своих соседей из Понт-о-Беля. Г-н д'Естанс носил старую заплатанную одежду из замши, длинные гетры и галоши на толстых гвоздях. Ко всему этому три дня не бритая борода.

Его встречали чаще всего с охотничьей сумкой на боку и с ружьем в руке, потому что его забавляло бить сорок и ворон в ожидании больших осенних охот, на которые он выпускал свою свору, иногда загонявшую зверя даже на земли Понт-о-Беля.

Эти вторжения вовсе не нравились г-же де Галандо, заботившейся о хорошем состоянии своих полей, вход в которые она не смела запретить г-ну д'Естансу, а он в отплату за это соизволение и в возмещение потравы снабжал службу замка четвертью затравленного зверя и какую-нибудь другую дичью.

В ближайшем соседстве с г-ном д'Естансом жил г-н Ле Мелье, бывший советник в парламенте. Он был богат и породнился через свою покойную жену с маркизом де Блимоне, который, как и граф де Галандо, считался одним из значительнейших землевладельцев того края.

Г-н де Блимон жил в очень старинном замке и имел, как говорил он в шутку, столько же дочерей, сколько башен. Тех и других было всего-навсего десять. Пять барышень де Блимон щеголяли дебелыми прелестями и цветущим здоровьем. Их дородность совсем не соответствовала худобе их отца, и от этого казались еще более чудными его сложение и невзрачная наружность. Что касается их матери, именной королевский указ уже давно держал ее заточенною в монастыре, чему маркиз радовался каждый день, вспоминая проказы, в которых его любезная подруга отваживалась бросать его честь по всем рукам.

Когда карета г-д де Галандо объедет все поместья, владельцы которых стоили труда у них останавливаться, она направлялась в город. Господа де Галандо наведывались туда редко и только по необходимости, хотя они там владели домом, где, впрочем, никогда не проживали и где ставни в главный вход оставались запертыми во все продолжение года.

Их карету видели здесь только у пяти или шести дверей да еще у двери епископа.

Это был весьма красивый каменный дом. Епископ пребывал в нем редко, но его уважала епархия за его внушительную архипастырскую наружность, за его мантии в тонком кружеве и за ту известность, которую он приобрел повсюду как своими действительными талантами проповедника, так и своими высокими видами церковной политики, и г-жа де Галандо не упускала случая каждый год облобызать пастырское кольцо своими прекрасными холодными губами.

Наоборот, она почти не разжимала их у Бервилей. Г-н де Бервиль носил сабо и говорил на местном наречии. И не совсем охотно г-жа де Галандо соглашалась заглянуть на минуту к господам дю Френею.

Эти добрые люди, очень дальние родственники Мосейлям, владели во Френею приятным жилищем. Входя к ним, вдыхали запах только что испеченного пирожного и дистиллированных эссенций. Г-жа дю Френею славилась умением засахаривать фрукты и составлять лакомства по своему способу. Она являлась вся розовая, с рукавами, засученными на руках, обсыпанных мелким сахаром. Ее заставляли на ходу работы, когда она смешивала в лоханях тонкие снадобья, из которых она получала превосходные сласти и очаровательные эликсиры. Она знала различные достоинства лимонов и лимонной корки, кориандра и гвоздики и всякой бакалеи, которые служат для услаждения языка и для убажания желудка.

Если она славилась искусством угождать вкусу, она умела также увеселять слух. Дом оглашался беспрестанными концертами, так как г-н дю Френею восхитительно играл на

скрипке, а г-жа дю Френей удивительно аккомпанировала на клавесине своему голосу, который был у нее очаровательного тембра. Кроме того, это была семья верная и нежная, объединенная в этом двойном вкусе к лакомствам и к музыке, но их родство с Мосейлями делало их подозрительными для злопамятной г-жи де Галандо.

К тому же, чтобы попасть во Френей, надо было проехать совсем близко мимо Ба-ле-Прэ, а для г-жи де Галандо был отвратителен вид этих четырех башенок, острые вершины которых пронзали ее память как зловердные иголки.

Если граф вел себя по отношению к своим соседям с церемонною вежливостью, то г-жа де Галандо, со своей стороны, оставалась в высокой степени сдержанною с их женами. Ее надменный характер удерживал их в желательном отдалении. Чем меньше видеться с ними, тем меньше давалось поводов для их болтовни. Да и недоставало предлогов для их сплетен.

Кроме их главной жалобы против г-жи де Галандо на ее чрезвычайную осторожность, их языки почти не находили в ней тех черт, ясных и точных, которыми снабжает одна только близость и которыми питается и укрепляется злоречие; без них же оно истощается или блуждает ощупью, воображает или предполагает и не имеет для своей деятельности существенной пищи, за отсутствием которой оно остается общим, неопределенным и более колким, чем опасным. Таким образом, мы сами лучше всего выдаем то, чем нас унижают, и благоразумно не выставляем себя чужим зубам на растерзание.

Итак, г-жа де Галандо давала возможность бранить ее только вообще, кратко и на расстоянии. От этого и не воздерживались, особенно в городе, где она раздражила некоторые притязания и расстроила некоторые начинания.

Кое-кто из этих дам в первые годы замужества г-жи де Галандо пытались взять приступом, если можно так выразиться, двери новой хозяйки замка. Она отваживала их, одну за другою, с ловкостью и с твердостью совершенными и всегда каким-нибудь искусным приемом достигала своей цели. Она достаточно отдаляла их от себя и удерживала их в таком положении, так что, когда отношения к ним становились такими, каких она желала, она уже никогда не допускала их отойти от той черты, которую умела для них наметить.

В этом она повиновалась не столько расчету, сколько инстинкту: побуждаемый ее личным расположением, инстинкт вел ее, без сомнения, дальше, чем это было по нраву ее мужа, который очень хотел оставаться в достаточно хороших отношениях со всеми, чтобы оправдать добрую славу вежливого человека, признававшуюся за ним повсюду. По этой причине г-жа де Галандо не шла до конца в своих склонностях, и большая карета, запряженная лошадьми из Германии, продолжала каждый год возить чету к исполнению светских обязанностей.

Поэтому, когда граф умер, его вежливо провожали все те, кого он так вежливо навещал, но его жена в своем вдовстве увеличила то отдаление, в котором она всегда держалась. Ее новое состояние освободило ее на некоторое время от этих ежегодных повинностей, а потом, когда она могла вновь приняться за них, некоторые связи прекратились сами собою.

В городе свирепствовала эпидемия оспы, и она закрыла три или четыре из тех домов, которые там навещали г-н и г-жа де Галандо. Г-н д'Естанс умер в том же году, как и граф, вскоре после него. Маркиз де Блимон покинул родину со своими пятью дочерьми, — назначенный послом, он увез их с собою и выдал замуж, двух — за немецких баронов, одну — в Швабии, другую — в Тюрингии, а пятую — в Кельнском курфюрстшестве за молодого надворного советника, который сделал ее беременною и покрыл обиду свадьбою. То, что осталось, привыкло очень хорошо к тому, что г-жа де Галандо не выезжала более из Понт-о-Беля. Другие обязанности ее там удерживали, она предалась им всецело.

Земли, составлявшие поместье Понт-о-Бель, были значительны, и управление ими было бы

тягостно для женщины не с такою сильною головою, как г-жа де Галандо. Она взяла на себя это бремя и предалась этим занятиям еще с большею заботливостью, чем прежде.

Бог благоприятствовал ее усилиям. Она молилась ему, и, без сомнения, об этом молилась. Религия заняла большое место в ее жизни. Она не проявляла, однако, своего благочестия делами внешнего милосердия, потому что всегда оставалась скопидомкою, суровою к бедным. Она раздавала немного милостыни, и епископ, г-н де ла Гранжер, почитая добродетель ее, не мог в такой же степени хвалить ее сострадательность. Он говорил про нее, что у нее душа сделана из сухого хлеба, желая, без сомнения, этим указать на ее честную сухость. Ей недоставало вдохновения великих христиан. Она более следовала церкви, чем Христу. Ее вера была более правильною, чем действительною; ее набожность не прибавляла к этой вере никакой мягкости. Порыв ее души был восхождением разума, направленным прямо вверх и не дающим ни излияний, ни росы.

Итак, г-жа де Галандо была одновременно особою практичною и благочестивою. Ее характер был похож на каштан своими острыми и суровыми проявлениями, но оставался скрытым в своей внутренней сущности. Эта жестокость прикрывалась уже одним тем, что имела мало случаев обнаруживаться, так как г-жа де Галандо устроила все вокруг себя в совершенном соответствии с потребностями своей природы, чтобы ничто не могло ей противоречить, так что было очень трудно проникнуть в ее внутренний мир.

Поэтому, когда аббат Юберте поселился в Понт-о-Беле, где ему, по епископской рекомендации г-на де ла Гранжера, было в 1730 году поручено воспитание юного Николая де Галандо, он видел в первое время в его матери только даму, благородную и величественную.

Ей было тогда сорок шесть лет, лицо у нее было полное и свежее, но с наклоном к желтизне, талия запущенная и располневшая, но еще скорее сухощавая, чем жирная, вид очень надменный и властный. Остальное оставалось для аббата неизвестным. Впрочем, он не досадовал на это и перенес все свои заботы на юного Николая, который так неожиданно попал в его руки.

Пригласить аббата Юберте — это был превосходный выбор. Еще молодой и очень ученый, он оказался во всех отношениях совершенно способным к тому, чего от него ожидали.

Его уродливость делала в глазах г-жи де Галандо извинительным его возраст. Ему было тридцать два года, когда он появился в Понт-о-Беле со своим маленьким багажом, который содержал только кое-какую поношенную одежду да несколько книг. Это было зимою; было холодно и хотя еще не поздно, но уже почти темно. Николай встретился в коридоре с вновь прибывшим, который добрался до своей комнаты, чтобы там привести себя в порядок, прежде чем сойти вниз и представиться г-же де Галандо. В темноте Николай не мог рассмотреть лицо своего учителя.

При свечах аббат Юберте показал широкое лицо, со щеками красными, словно нарумяненными, губы вывороченные, глаза маленькие и острые, руки большие, икры худощавые и живот вздутый, в общем вид благодушный и веселый. Он носил круглый парик, черный воротник и синие брыжи.

Привлеченный к церкви истинным благочестием, он не нашел в ней для себя настоящего пристанища. Монашеские ордена были ему противны: они предлагали ему, каждый по своему уставу, жизнь нищего, слуги или полицейского; поэтому не решился он стать ни кордельером, ни францисканцем, ни иезуитом. Обители усиленной молитвы или работы, траппистов или картезианцев, пугали его нерушимостью их обетов. Перспектива монастыря и дисциплины отталкивала его от них не менее, чем мысль о подчинении настоятелю. Хотя и священник, он намеревался остаться свободным; быть одновременно служителем Бога и людей, это

казалось ему слишком много.

Белое же духовенство его приняло, но здесь он умер бы от голода, не рассчитывая ни на покровителя, ни на заступника. Надобно иметь лицо, чтобы исповедовать, чтобы проповедовать или чтобы поучать, а его лицо, хоть и был он умен, красноречив и учен, возбуждало бы смех. Богомолки любят, чтобы отпущение грехов преподавалось им прекрасною рукою, и слово Божие трогает их только в устах, которые не искажают слишком по-человечески божественных заповедей. Деятельность воспитателя в знатном доме перед ним была равным образом заграждена. Хотят наставника с величавою осанкою. Должности домашние и полковые доставались тем, кто умеет дополнять в них служение не только своим достоинством, но также, и даже более того, своею наружностью.

Оставались приходы; они редки. Аббату это было известно, и епископ, г-н де ла Гранжер, который знал его в Париже и интересовался им, предупредил его об этом. Не имея возможности предоставить ему ни одного прихода, прелат предложил ему невидную деятельность в провинции, воспитание юного Николая де Галандо. Это давало пропитание, пристанище, скромное жалование и, кроме того, возможность ждать, чтобы освободилось какое-нибудь место. Это спасало аббата от трудностей жизни — для поддержания ее плохо служили кое-какие обедни по дешевке, которых надобно было выклянчивать у дверей ризниц, да кое-какие плохие работы в книжной торговле, едва возмещавшие бумагу, чернила и свечу, на них затраченные.

Поэтому аббат с радостью оставил Париж и чердак наверху улицы Святого Якова, где он дрогнул зимою и задыхался летом, для пребывания в Понт-о-Беле, где его ожидало отличное ложе и если не отличный стол, то, по крайней мере, пища здоровая и обильная.

Его аппетит слишком много страдал от постов бедности и от подогретых объедков харчевни, а потому он не мог не оценить правильного питания в замке, и, когда, сказав предобеденную молитву, он садился с салфеткою у подбородка, скрестив руки на пузе, он испытывал истинное удовольствие, видя, как подымается крышка с тяжелой миски и как пар от супа сочится влажными капельками на погруженной туда большой серебряной ложке. Поэтому не скрывал он своей благодарности к г-ну де ла Гранжеру, а тот, со своей стороны, очень дорожил тем, что имел здесь, у себя под рукою, служителя смиренного и скромного, всегда расположенного составить для него поучение, речь, похвальное слово, даже небольшую великопостную проповедь, то, чем епископ украсил свою память и стяжал великую славу человека красноречивого и сильного в учении церкви.

Что касается аббата Юберте, он считал себя счастливым, если, окончив какую-нибудь прекрасную ораторскую речь, он мог огласить ее для своего собственного удовольствия где-нибудь в углу сада, где он расхаживал, жестикулируя и проповедовая деревьям, в шапочке, кое-как надетой, в брыжах, съехавших набок.

Кроме того, его любимым развлечением было — запирается в библиотеке и проводить там часы досуга.

Библиотека была богата и содержала довольно хорошие произведения. Покойный граф собрал в ней большое число всякого рода книг, многие на латинском и греческом языках, все были прочно переплетены в крепкую телячью кожу и носили на лицевой стороне переплета герб их обладателя, потому что почтенный человек занимался больше их украшением, чем их содержанием, и смотрел на них только как на принадлежность настоящего дворянина, наряду со своими манжетами, своими пряжками на башмаках, своею тростью и своею каретою. Недостаток погребов в его замке в Понт-о-Беле не был бы ему тягостнее, чем недостаток в библиотеке, только он черпал охотнее из погребов, чем из библиотеки. Поэтому не переставал он осматривать свое книгохранилище, такое значительное и соответствующее ходу жизни в его доме и важности всей его особы. Он приходил туда каждый день после

полудня.

Летом в особенности граф наслаждался преимуществами этого места, потому что комната была прохладная и тихая. Он усаживался в большое кресло кордовской кожи перед столом, обремененным массивною серебряною чернильницею, снабженным присыпательными порошками всех цветов и гусиными перьями, которые он заботливо чинил. В этом занятии он проводил большую часть времени. Иногда он склонялся над столом, брал большой лист бумаги и степенно писал там свое имя, старательно выводя каждую букву и росчерк, усложняя и приукрашая его, пока не получалось что-то вроде арабеска, где не найдешь ни начала, ни конца, и эти сплетения он оставлял сохнуть.

Еще чаще он закидывал свою правую ногу на левую, ставил свою табакерку на стол, выбирал какую-нибудь из тех мух, что летали вокруг него, и внимательно следил за нею глазами, пока не потеряет ее крылатого следа, потом возобновлял это упражнение, и кончалось тем, что он засыпал, склонив голову на плечо и раскрыв рот.

Проснувшись, он заботливо оправлял свое жабо и свои манжеты, обходил вокруг комнаты, рассматривал заставленные книгами полки, как бы для того, чтобы через их внешность хорошенько проникнуть в то, что они могли содержать, и придавал задумчивое выражение своему лицу, казалось, хранившему ответ самых значительных мыслей.

Аббат Юберте сделал из библиотеки совсем иное употребление. Ленивые переплеты раскрывались в его деятельных руках; книги вышли из витрин и заполнили стол, покрывшийся быстро исписываемою бумагою. Он сгибался над текстами и возвратил к своему назначению эти прекрасные орудия науки.

И там же каждый день он давал уроки Николаю де Галандо. К десяти часам молодой человек приходил со своими тетрадями под мышкой. Аббат, сидевший там с зари, отодвигал свои бумажонки и улыбался своему ученику, а тот кланялся ему и садился перед ним, внимательный и удивленный.

III

Николаю де Галандо было ровно четырнадцать лет, когда он попал под руководство аббата Юберте. Аббат, с его крупным вульгарным лицом, был человек сердечный и разумный. Задача превосходного воспитания прельщала его неопытное усердие, и он взялся за дело более из чести, чем из-за денег. Он горел желанием сообщить своему ученику то познание людей и вещей, которое, чувствовал он, было в нем самом.

Хотя и призванием, и рясою обреченный науке, он все же из-за этого не замыкался от мира и от предлагаемых им красот природных и безвредных. Он постигал земные величия и все разнообразное зрелище жизни. Он думал, что не был плох и что не было зла в том, чтобы принять разрешенные радости, и особенно те, которые нам дает наблюдение вселенной, и в частности тех мест, где мы находимся. Поэтому он любил цветы, растения и деревья, мягкую нежность воздуха или его колючую живость, текучесть и томность вод, сладость плодов.

Он переносил это любопытство даже и в прошлое и находил удовольствие в том, чтобы при помощи истории, морали или искусств представлять, как люди жили прежде, и особенно в древности. Обычай и привычки человечества интересовали его не меньше, чем зрелище характеров и игра страстей.

В отношении женщин его теория была особливо превосходною. Не оставаясь в неведении

опасностей, в которые вовлекает нас грех, и ни одной из его губительных приманок, он все же не думал, что для спасения достаточно закрыть глаза. Он был уверен, что точное познание всемирной жизни есть во всяком случае наилучшее условие для того, чтобы хорошо направлять нашу собственную жизнь; что прежде всего необходимо быть человеком, держаться в единении с творением и держаться в прямом подчинении творческому делу.

С этой целью он никогда не проявлял той глупой недоверчивости, которую обыкновенно парализует добродетель, и придерживался того мнения, что можно пользоваться всем, подчиняя свои желания голосу разума.

В этом смысле он хотел направлять своего воспитанника; он желал бы образовать в нем идеи правильные и здоровые обо всем и с первых дней старался войти в этот юный разум таким образом, чтобы, раз навсегда проникнув в его мысль, он мог осветить ее глубины светом ровным, верным и полезным.

Аббат Юберте чувствовал, что в этой задаче ему очень полезно его тонкое понимание душ. Оно было тем более изощренно, что им он был обязан несчастью, а этот жестокий наставник внушает тому, кто ему покоряется, ясновидение, необходимое, чтобы проникнуть в те лицемерные извороты, которыми ищет мир нас погубить.

Это ясное понимание людей позволило ему дать себе отчет в том, что он слишком поздно явился в Понт-о-Бель, где влияние, уже решительное и всемогущее, навсегда отметило разум юного Николая де Галандо печатью более чем прочною. В его руки вложили глину уже просохшую, которую рука его уже не могла обмять по-своему. Надлежало бы оросить эту душу, умягчить ее и вылепить заново, но для этого несколько часов обучения, все, что ревность г-жи де Галандо позволяла своему сыну ежедневно, было недостаточно, — в лучшем случае можно было, самое большее, украсить этот разум, но недостижимо было его переплавить.

Аббат скоро увидел положение, принял свое решение и ограничился возможным.

Под его благоразумным руководством Николай достигнул довольно значительных успехов, так что наконец давал надежду стать если не эллинистом, то, по крайней мере, довольно сильным латинистом.

Не без раздумья аббат решился направить его на этот путь. Он был уверен, что частое обхождение с древними возвышает тех, кто ему предаются, и сообщает им, неведомо для них самих, нечто такое, что надолго отразится в их личностях и в их нравах. В этом они удивительно укрепляются и воспринимают это как отличающую их привычку, и в то же время, помимо их воли, от этого остается в их языке известное постоянное достоинство, всегда не лишенное благородства. С этой целью аббат питал юного Николая сущностью лучших текстов, оставляя случаю заботу прорастить их в его памяти и довольствуясь тем, что вложил в своего ученика прекрасный материал для мысли.

«Я вверяю ему, — думал аббат, когда, окончив урок и закрыв книги, они прогуливались по саду, — я вверяю ему светильник Психеи, правда погасший, но его искра может возгореться».

Было хорошо; самшиты пахли горько, звонил колокол к завтраку, и аббат, возвращаясь в замок, не забывал в сенях выбросить лист или цветочек, что он жевал своими толстыми губами, — он не смел предстать перед г-жою де Галандо с этим украшением, которое он сам считал изящным, сельским, но слишком фамильярным.

Аббат Юберте очень наблюдал за собою во время этих завтраков, чтобы не обнаружить своего пристрастия к качеству мяса или к смаку плодов. Г-жа де Галандо, казалось, не обращала никакого внимания на то, что она ела. Даже один раз, когда подали кусок

испорченной дичи, она съела все, что у нее было на тарелке, и Николай поступил так же, потому что по отношению к своей матери он держал себя в странном порабощении подражания. Казалось, что г-жа де Галандо сохраняет необычайную власть над своим сыном. Было ясно, что Николай таков, каким он был, не только потому, что так он был зачат и рожден, но особенно потому, что материнская власть делает его тем, чем она хочет, чтобы он был.

Николай де Галандо в четырнадцать лет был довольно высок и тонок, вследствие того внезапного роста, которым он был вдруг выведен из детства. Противоречия телесному развитию, выражение лица оставалось ребяческим. Голубые глаза озаряли нежное и бледное лицо, и оно казалось почти простоватым, — так оно было удлинено, такие расстояния были между его чертами, что это поражало наблюдателя и смущало его. Длинные ноги поддерживали слабое туловище. Большая правильность движений согласовалась с обхождением вежливым и церемонным. Не было в нем никакого юношеского огня, и какая-то словно бы усталость делала его нерешительным и как бы сомневающимся. Ему достаточно было немного вещей для занятий и немного места для жизни.

Маленькое число увиденных им предметов дало ему только малое число идей. Одна господствовала над ним — во всем угождать своей матери. Его почтение к ней, более чем сыновнее, было безмерно. Вне этого он обнаруживал особенную заботливость к хорошему порядку в своей одежде и в тех маленьких привычках, к которым он, казалось, был очень привязан.

Его мать внедрила в него, среди других, привычку к искреннему благочестию и отвращение к греху, отвращение, впрочем, чисто словесное, несколько не реальное. Он знал в общем существование вины, но почти совсем не понимал, как она совершается, потому что ему недоставало случаев учинять иные вины, кроме самых простительных, — ведь не было в нем злобы, и он был почти не в состоянии грешить с необходимым для этого намерением отяготить проступок и изощрить обиду.

Так провел он с самим собою свое уединенное и суровое детство и не испытывал он большой нужды сливаться с окружающим. Сады в Понт-о-Беле были единственным поприщем его упражнений телесных и душевных. Часто он проводил большую часть своего дня в комнате, куда г-жа де Галандо обыкновенно удалялась, чтобы работать, размышлять и молиться. В ее единственном и строгом обществе он вырос, занятый тем, что делалось между этих четырех стен, без отношений с внешним миром, из которого, действительно, почти ничего не доходило до него.

Он не имел, впрочем, никакого средства, которое помогло бы ему вообразить то, что выходило за пределы его непосредственного наблюдения. Поэтому он думал, очень естественно, что все живут как он и что вся жизнь состоит, как и у него, в том, чтобы вставать в определенное время, прилично одеваться, вести себя благопристойно и однообразно, молиться Богу и, в конце концов, быть счастливым. Не то чтобы он был лишен рассудительности, но она упражнялась на событиях незначительных и всегда одинаковых, и непрерывное их повторение как бы спаяло их в одно единство, около которого он постоянно вращался все в том же кругу.

Его окутали со всех сторон, и он так и держался — без нетерпения, без любопытства. Вежливый и кроткий, он пребывал замкнутым в навыках существования без неожиданностей и без желаний. Он удовлетворялся очень малым; он не знал себя по воспоминаниям, так как ничто не менялось ни в нем, ни вокруг него. И не было ни одной из тех детских радостей или печалей, которые надкалывают душу тайными трещинами и позже становятся источником наших вкусов и наших чувств.

Аббат Юберте скоро распознал все это, и, видя из окон библиотеки, как Николай скромно

прогуливается по садам, шагом ровным и мерным, вокруг прудов, он думал, вдыхая своими вывернутыми ноздрями запахи земли, деревьев и воды: «Конечно, этот молодой человек не получает даже от этого прекрасного сада удовольствия, которое он должен был бы в нем получить. Он не восхищается цветами и никогда не постигнет в них гармонического порядка; в этих аллеях он видит только место, удобное для ходьбы, где ничто не затрудняет шага; и даже в тех стихах Вергилия, которые мы с ним только что изучали, он схватил только смысл слов, не уловив того, что кроется под их внешностью. Но, идя таким образом по ровному месту, не рискуешь ни вывихом, ни падением. Его аппетит правильно изощряется в этом здоровом и однообразном движении. Николай пообедает хорошо и заснет глубоко; его сон будет пуст, потому что он не внесет туда образов, которые его восхищают или тревожат. Он думает мало, но он думает хорошо. На месте этого старого садовника со скребком он никогда не вообразит кого-нибудь из тех богов, что посещают смертных, приняв обычный вид, под которым надобно уметь признать их, а эта ветхая служанка, черпающая воду из фонтана, никогда не вызовет в нем желаний, чтобы из воды, над которой она склоняет свое морщинистое лицо, вышла какая-нибудь неожиданная нимфа, сладострастная и зыбкая».

IV

Годы пребывания аббата Юберте в Понт-о-Беле не были потеряны для Николая де Галандо. Если его натура не изменилась в основании, его разум украсился видимостью приятных познаний. Он даже научился рассуждать довольно хорошо о том, что знал, и кое-как поддерживать беседу. Он научился немного по-гречески и основательно по-латыни и приобрел поверхностное знание истории. Аббат поздравлял себя с тем, что извлек наилучшее из этой натуры и придал ей такое украшение, которое она могла вынести без разрушения своих соответствий.

Г-жа де Галандо боялась вначале каких-нибудь посягательств отвлечь ее сына от того прямого авторитета, который она притязала сохранить над ним. Мало-помалу она успокоилась, видя, что аббат Юберте действует умеренно, и даже почувствовала к нему расположение и выказывала его, обходясь с аббатом по-семейному и с особенным уважением. Она ценила, что он разгадал ее намерения и, войдя в ее виды, способствовал осуществлению ее предположений. Сказать по правде, г-жа де Галандо любила своего сына так ревниво, что хотела его совсем сохранить для себя. Да и привязана она была к нему не только связями страсти, но и крепкими узами прочного сыновнего плена. Она думала, конечно, что она одна призвана сделать его счастливым и не допускала ни на минуту мысли, что он может быть счастлив где-нибудь без нее. Мысль, что он оставит ее, всегда была для нее невыносимой. Какая ему надобность, например, поступить на службу или напомнить при дворе о службе его предков? И совсем в глубине ее души мысль, что он когда-нибудь женится, была ей равным образом отвратительна.

Аббат Юберте иногда касался этого предмета в разговорах с г-жою де Галандо, и даже по мере того, как Николай входил в годы, он чаще настаивал на этом. Он указывал матери на средства сохранить сына под своим крылом и удержать его в Понт-о-Беле, представляя ей, что леньность сердца вредна и что любовь матери, как бы велика она ни была, не заменит жениной любви, как бы она ни была переменчива; что Николаю скоро исполнится двадцать два года и что следует об этом позаботиться.

Аббат с некоторым лукавством делал обзорные девицы, которые могли бы подойти для Николая. Г-жа де Галандо, столь сдержанная обыкновенно, теряла тогда всякую меру. Иногда она сурово или сухо опровергала увещателя, но чаще ее раздражение попадалось в ловушку, и ее гнев снабжал аббата портретами, в которых христианское милосердие, отставленное в

сторону, уступало место рвению более жгучему.

Она придавала своей речи резкость невообразимую, терзая даже тех, кого она не знала, забывая, что уже пятнадцать лет она почти не выезжала из Понт-о-Беля и что она говорит о девицах, которых никогда не видела, но которым она приписывала мнимые странности. Для аббата стало очевидно, что г-жа де Галандо распалена недоверием и ненавистью к лицам ее пола, столь же удивительными, как для мужчин наиболее угрюмое презрение.

Однажды, отправившись в город по делам к епископу, она встретила у него девицу де Пентель и ее отца. Они жили в Мете, который перешел к ним по наследству от г-на д'Естанса, их родственника. Девица де Пентель была красива и мила. Восемнадцать лет, богата и прелестна. Когда старая лошадь рысью опять повлекла карету дорогою в Понт-о-Бель, аббат Юберте, сопровождавший г-жу де Галандо, начал с нею один из своих обычных разговоров, изображая ей приятности этой девушки, удобный случай заключить такой достойный союз и множество различных и хорошо сошедшихся условий. Г-жа де Галандо сначала ничего не говорила, потом вдруг разразилась:

— Знайте, аббат, — и она ударила его по колену ладонью своей костистой руки, — мой сын не женится; теперь, по крайней мере, — прибавила она, чтобы исправить действие своих слов. — Нет, аббат, никакой свадьбы, ни с этой Пентель, ни с другою в настоящее время.

Аббат склонился перед грубостью объяснения.

— Благодаря моим заботам, — продолжала г-жа де Галандо, — мой сын еще не знает женщин, почти не видит их; я разумею тех, которые могли бы привлечь его взоры, хотя вкус мужчин так низок и так уродлив, что самая несчастная замарашка, самая грязная пастушка, самая безобразная неряха могут также возбудить их желание, и то, что меньше всего оправдывает это желание, делает его не менее яростным.

Это было сказано с какою-то злобною горечью. Аббат молчал. Г-жа де Галандо опять заговорила:

— Николай чист. Его чувства спят. Поймите меня, господин аббат, в той, которая их разбудит, он увидит только средство их удовлетворить. Поэтому я не хочу видеть, как два существа будут связаны только обоюдно новизною их одного для другого. Юность их начнется с этой чувственной приманки, которой грозит опасность погибнуть в их зрелом возрасте, и оставит она им только сожаление о связи, которую создала страсть, а разум, может быть, уже не будет одобрять. Ну что ж, разве я сохранила моего сына от внешних бед этого рода для того, чтобы приготовить ему эту опасность под моею собственною кровлею. Нет, нет, господин аббат, я хочу для нашего Николая супружества, основанного на мудром уважении, на дружбе сердец и на согласии чувств... Эта маленькая Пентель, без сомнения, нежная и скромная, я с этим согласна, но она слишком красива... Моя невестка совсем не будет такою. И, чтобы все вам сказать, я все же предпочту, если эти разумные обстоятельства не представятся, чтобы брак моего сына покоился только на основах приличий и интересов. Счастье скорее может найтись в отношениях равного состояния и сходного нрава, чем в самозабвении чувства, которое сеет на своем пути только тревоги и бедствия. Нет, мой сын не женится по прихоти. Конечно, я его предостерегала от заблуждений и увлечений плоти, но в его юном возрасте им еще очень подвластны, и потому не соглашусь я играть его судьбою, как в кости. Позже, да, позже, когда рассудок займет в его душе то место, которое я там приготовила посредством религии и добродетели, он может выбрать с моею помощью подругу своей жизни, которая теперь сумела бы стать только орудием его удовольствий. Тогда уже он не будет повиноваться в своем выборе пылкости крови и неумеренности желания; но в ожидании этого, мой дорогой аббат, я не хочу согласиться ни на то, чтобы защита и ручательства таинства служили поощрением излишеств природы, ни на то, чтобы церковь сделать предлогом всех плотских вожделений.

Она замолчала и стала смотреть в окно. Карета огибала придорожный крест; видны были обширные поля пшеницы, которая тянулась, золотясь, до какой-то невозделанной пустоши, в конце которой, за лесом, различались острые вершины башенок в Ба-ле-Прэ.

Аббат чувствовал себя еще лишний раз разбитым. У него, правда, была мысль вовлечь в это епископа и сделать для г-жи де Галандо вопросом совести ее упрямство; но он говорил себе, что все это мало поможет, так как он льстил себя уверенностью, что обладает всем влиянием на нее, какое можно иметь, а потому никто не достигнет лучшего там, где он потерпел неудачу. Притом же не похоже было на то, чтобы Николай сколько-нибудь желал чего бы то ни было, и он казался совершенно счастливым.

И аббат спрашивал себя после всего, — да и что бы мог делать с женщиной этот большой олух, который употребил вчера более трех часов с видимым удовольствием на то, чтобы делать круги и рикошеты в бассейне, швыряя туда камни и плоские кремешки. Не лучше ли будет, в общем, воспользовавшись добрым расположением г-жи де Галандо, добиться приобретения кое-каких книг, недостающих в библиотеке, и жить в согласии с нею? И он хорошо поступил, так как вскоре наступило такое событие, что все его влияние не было достаточно велико, чтобы заставить ее принять его последствия.

V

После этого знаменательного разговора между г-жою де Галандо и аббатом Юберте жизнь в Понт-о-Беле продолжалась с тем же обычным однообразием. В уме аббата осталось от этого разговора довольно ясное представление о тайне характера г-жи де Галандо. Он уловил на деле ее странный материнский эгоизм. Не заблуждаясь относительно того, что склонность к этому эгоизму свойственна всем матерям, он и не воображал, что она может быть так последовательна, так методична и принципиальна, что она в состоянии подкрепить себя рассуждениями, очень похожими на разумные и как бы нисходящими с большой высоты; потому что г-жа де Галандо была принципиально ревнива, и ревность ее доходила до того, что становилась не столько духовною, сколько, если можно так сказать, материальною.

В самом деле, уверенная в разуме своего сына, она не была уверена в его чувствах, а через них он ускользал от нее и мог подвергнуться опасности чьего-нибудь чужого господства, против которого она была бы бессильна. Отсюда это отвращение, тонкое и вместе с тем сильное, к женитьбе Николая, и эта забавная разборчивость, которую она охотно проявляла. Аббат, благодаря своей тонкости, распутал довольно хорошо этот моток чувств, кроме одного пункта, объяснить который ему было трудно.

Он не давал себе точного отчета в изумительном омерзении г-жи де Галандо к плотским связям. Ее брачные отношения с образцом мужей должны были бы оставить ей идею об этом не столь отталкивающую. Было странно, что такой порядочный и церемонный человек, как покойный граф, сделал для нее потребности тела достойными какого-то горького ужаса, который она обнаруживала в своих разговорах. Как эта добродетельная вдова узнала худшие излишества страсти? Одно только зрелище безобразнейших распутств могло бы своим срамом предупредить ее до такой степени против низменных опасностей любви.

Церковь, учение которой она знала основательно, потому что была усердною читательницею книг по богословию и казуистике, разве не позволяла довольно охотно своим пасомым предаваться естественной любви? Она осуждает только бесстыдство и бешенство страсти, и вот именно в этом г-жа де Галандо искала основания отвратить от любви своего сына, замедлить его знакомство с женщиною до того срока, который она определила для его зрелости, но который она, конечно, захотела бы отложить и далее, как будто бы боясь не

только за себя — делиться любовью, чем была встревожена ее ревность, но еще и за него — пробуждения в нем инстинкта, который она рассматривала как что-то весьма постыдное и недостойное.

Г-жа де Галандо несколько раз возвращалась к этому предмету в разговорах с аббатом, и здесь-то он и узнал о ней то, что мы сказали. Аббат довольствовался тем, что наблюдал и слушал, не идя дальше в изыскании причин этой странной мании, без сомнения давних и, наверное, интересных. Он ограничивался тем, что она хотела ему открыть, когда непредвиденное событие дало ему возможность увидеть больше.

Это было в первые дни осени. Аббат Юберте любил это время года за некоторую меланхолию, очарование которой он испытал, и за какую-то туманную тревогу, которую она приводила с собою и которая бесконечно нравилась его душе. Сверх того, лето несколько тяготило его, толстого и грузного. Другая еще маленькая причина делала для него милым это время года. Тогда созревал плод, которым он предпочтительно лакомился. Аббат страстно любил груши. А на шпалерах в Понт-о-Беле груши были изумительные. Покойный граф, охотно смаковавший их, велел насадить груши разных пород, и аббат пользовался этою счастливою предусмотрительностью. Считая себя немного обделяемым за столом, он наверстывал это в саду. Конечно, кроме предпочитаемого им, он не забывал и других плодов и никакими не пренебрегал. Он желал бы даже отведать те, о виде и вкусе которых он читал в рассказах путешественников, американские гуявы и канарские бананы, плоды из Индии и те плоды, которые едят, сидя на коралловых рифах, на берегу фосфоресцирующего моря, морские офицеры, с секирою на боку, окруженные гримасничающими дикарями, нагими или украшенными перьями, с луком в руке и с кольцом в ноздрях. Но таких не было, и он довольствовался плодами наших садов.

Смородина и малина забавляли его своею остротою и ароматом; он ценил вишни, самые кислые и самые сладкие, самые плотные и самые мягкие; яблоки ему достаточно нравились. Что касается персиков, они радовали его бесконечно, преизобилующие соком и те, в которых сладкая влажность пропитывает весь плод насквозь и разливается в каждой из его фибр; но груши казались ему достойными предпочтения.

Он находил в них разнообразие необычайных вкусов. Они отзывались поочередно дождем, палым листом и муравьем. У них мясо зернистое или нежное, кислое или сочное; они обладают каждая особенною личностью; их вкус индивидуален; их зрелость продолжительна, начинается она летом, наполняет осень своими нежными неожиданностями и длится до зимы; они пестреют и лоснятся, как рыбы, и подгнивают, как дичь.

Бедный аббат стал жертвою этой неумеренной страсти к грушам. С той поры как приближалось любимое время года, он уже не переставал каждый день посещать шпалерники. Он в них знал почти каждую ветку, он следил за каждым плодом, переживал их гибель, если ветер обрывал их до срока или если осы подбирались к ним. Иногда он поднимал упавшие и с сожалением рассматривал их, держа в своей белой руке, которую они заполняли своею незаконченною или болезненною полнотою. познавши их на дереве, он признавал их и в корзинах, когда их подавали на стол. Не раз он испытывал горькое разочарование, если гж-а де Галандо или Николай брали то, что он в своих мыслях приберегал для себя. Поэтому случалось ему иногда, из предусмотрительности, спасать от тех неискушенных ртов один из этих прекрасных фруктов, замеченных им во время прогулки, прослеженных в их росте и желанных в их зрелости. Для этого он спускался рано утром в сад и после многих колебаний и сомнений наконец отправлял в свой карман предмет своего вожделения и уносил покражу к себе в комнату.

Эти частые спасения преобразовали один из пузатых ящиков аббатова комода в настоящую фруктовую. Вечером, возвратившись к себе, сняв брыжи, завязав над ушами платок двумя полотняными рожками, в рубашке и босой, перед тем как лечь в постель, он открывал

пахучую мебель, потом, глазом и пальцем выбравши в своем запасе свой грех, он деликатно ел его с гримасами лакомки, меж тем как от свечки рисовалась на стене его тень, фамильярная и прожорливая.

Однажды за столом, когда аббат Юберте подстерегал для завершения трапезы превосходную грушу сорта «дамское бедро» и, подняв нож, готовился ее взять, вошел старый слуга и шепнул что-то г-же де Галандо. Она разрезывала плод, ее лицо внезапно окрасилось; резким движением, нахмутив брови, она закончила разделение двух половинок; они одновременно упали на тарелку.

Г-жа де Галандо встала, и аббат и ее сын видели в окно, как она разговаривала с каким-то крестьянином, стоявшим перед нею. Он рассказывал что-то, делая широкие жесты. Николай и аббат смотрели, ничего не говоря, на эту пантомиму. Человек был отпущен, г-жа де Галандо возвратилась в замок. Было слышно, как она прошла через сени и удалилась в свою комнату.

Спустя несколько минут она велела позвать аббата Юберте, и он тотчас же отправился к ней. Он нашел ее сидящею в кресле и совершенно спокойною. Он ждал, чтобы она заговорила первая. Казалось, что она колеблется, отыскивая верный тон и средства выразить свою мысль в точной мере. Аббат заметил эту необычную принужденность, когда она заговорила и сказала ему:

— Господин аббат, этот крестьянин только что сообщил мне, что мой брат умер.

Аббат сделал движение изумления, которое она истолковала, как попытку выразить соболезнование, и остановила его жестом.

— Мы не были очень близки, господин де Мосейль и я. Одна только кровь соединяла довольно плохо то, что с общего согласия мы развязали. Я не скажу вам, откуда идет этот разрыв. Он произошел давно. Я могла бы вам сказать, что интересы разделили нас, а вы могли бы мне возразить, что всякая неприязнь прекращается смертью. Но было большее. Господин де Мосейль был гнусный человек; он заставил меня ненавидеть меня самое. Я не хочу даже вспоминать о нем. Когда я покидала Ба-ле-Прэ, чтобы выйти замуж за господина де Галандо, я дала клятву никогда не возвращаться туда. Я сдержала слово; я его сдержу.

Аббат склонился молчаливо. Она опять заговорила:

— Когда умер мой отец, я не явилась на его погребение. После этого вы можете понять, что мой брат мог жениться и опять жениться без того, чтобы я при этом присутствовала как при его двух свадьбах, так и при его двойном вдовстве, потому что обе его жены умерли раньше его. Теперь пришла его очередь; я в это вовсе не буду вмешиваться. Однако следует принять меры приличия; мои чувства меня от этого освободили бы, если бы я не должна была дать моему сыну пример исполнения известных обязанностей. К вашему посредству, господин аббат, я прибегаю, чтобы их исполнить. Вы поедете в Ба-ле-Прэ. Я вполне доверяю вам. Вы там устройте все возможно лучше и, возвратившись, дадите мне в этом точный отчет. Крестьянин, который там, на кухне, довезет вас в своей тележке. Поезжайте же и возвращайтесь как можно скорее, потому что мы приобрели, мой сын и я, привычку к вам и нам трудно обойтись без вас.

Часом позже аббат Юберте оставил Понт-о-Бель, уносимый жесткою рысью руанской лошади, а когда, проехав пять миль, он прибыл в Ба-ле-Прэ, он уже знал в общем из уст крестьянина, какое зрелище его там ожидало. Он понял из рассказов парня, что смерть г-на де Мосейля была только пагубным следствием жизни распутной и буйной, дурные слухи о которой дошли уже до его ушей, а нынешняя катастрофа подтвердила справедливость общей молвы.

Еще в свои юные годы Юбер де Мосейль показал себя развратником и пьяницею, а следовательно, скотски-грубым, потому что вино и сладострастие навлекают на человека презрение его самого и других. Г-н де Мосейль презирал себя очень, потому что он не переставал пить и любодействовать. Его существование сплошь состояло из низких попок и грязных любовных приключений, предметы которых брались все равно где, без всякого выбора и без всякой сдержанности. Кутила распущенный и циничный, он бодро переносил беспорядочность своей жизни. Женился он первый раз вскоре после смерти своего отца на молодой буржуазке, Люсьене Вальтар, дочери некоего Вальтара, что вышел из мужиков и старался казаться благородным; он прельстил ее своим видом дворянчика и барскими повадками. Как только она попала в его руки, он стал обращаться с нею жестоко и бил ее, пока она не умерла, что случилось после четырех лет замужества, в 1717 году.

Вдовец едва заметил эту смерть и продолжал свое существование, неистовое, буйное и изменное, занимаясь только тем, что осушал бочки с вином да гонялся за девчонками.

Только пятидесяти семи лет, в 1731 году, он женился вторично на девице Анне де Бастан. Ничто не могло отвратить эту очаровательную особу, спокойную и кроткую, от опасности повторить судьбу бедной Люсьены Вальтар. Ни то, что она узнала о г-не де Мосейле, ни то, что она могла видеть, ничто на нее не действовало. Девица де Бастан любила его.

В нем еще было нечто, за что его можно было полюбить, потому что в нем еще оставались следы мужской красоты, он был высок ростом, имел прекрасный цвет лица и умел быть веселым, когда случалось, что он не разъярен вином и похотью. Итак, ничто не отвратило от него нежную и чувствительную девушку, даже и то, что, когда он приехал к ней во Френей, где она жила у своих родственников, г-на и г-жи дю Френей, он заснул в своем кресле; парик у него растрепался, одежда была в беспорядке, язык заплетался, и несло от него вином. Она его любила и вышла за него замуж, — она была сирота и вольна распорядиться собою.

Сначала казалось, что, польщенный внушенною им страстью, г-н де Мосейль стал вести себя лучше. Он исправил обычный беспорядок своих одежд, уменьшил свои выпивки и оставил в покое кабацких затычек, пастушек с поля и судомоек, с которыми он в былое время привык обходиться. Свадьба состоялась. Г-н де Мосейль, казалось, день ото дня укреплялся в своих добрых намерениях. Г-жа де Мосейль забеременела и произвела на свет девочку, которой дали имя Жюли.

Г-жа де Мосейль медленно оправлялась после родов. Ребенок был здоров. В кормилицы ему дали козу и взяли ухаживать за нею и водить ее на пастбище маленькую безобразную нищенку, бродившую часто около Ба-ле-Прэ: ей г-жа де Мосейль подавала милостыню и интересовалась ею. Больная не покидала еще своей комнаты. Мосейль, ухаживая за нею, проводил около нее долгие часы, и надобно было, чтобы она заставляла его уйти и заклинала его заняться чем-нибудь, так как она видела его красное лицо и руки со вздувшимися синими жилами.

Однажды вечером, в сумерках, когда ее муж по ее настояниям вышел, она оставалась одна в своей комнате, открытое окно которой выходило в сад; ей показалось, что она слышит шум под своею оконницею, и, нагнувшись, она увидела под стеною маленькую хранительницу козы, схваченную за горло; сквозь лохмотья ее одежды видна была ее тщедушная и отвратительная нагота; а на нее набросился, уронивши треуголку, со сбившимся набок париком, с бельем наружу, кошмарным видением г-н де Мосейль, грубый и ужасный, готовый изнасиловать дурнушку.

Г-жа де Мосейль, ошеломленная, услышала слабый стон и глухое сопение, на которые она ответила вверху пронзительным криком; и она отчетливо увидела, как поднялась к ней голова ее испуганного мужа, ужасно ругаясь, и как он, вскинувшись одним прыжком, убежал, спотыкаясь, через капустную грядку. Г-жа де Мосейль внезапно упала навзничь и оставалась

довольно долго без сознания, а в наступающей ночи восходило, ироническое и насмешливое, носовое, дребезжащее бляение козы, привязанной веревкою к колу, около которого она кружилась, с опущенными рогами и вздувшимся выменем.

Г-жа де Мосейль, тяжело поранив себя при падении, промучилась несколько недель и, наконец, умерла, оставив мужа неутешным. Он быстро худел, его брюхо опало, и он погрузился в молчаливую меланхолию, которая все возрастала и кончилась тем, что нашли ипохондрика хрипящим на траве, под опущенными ставнями той самой комнаты, где за шесть лет до того умерла его жена. Он лежал в кровавой луже с искромсанным животом и перерезанным горлом.

Когда пришли установить обстоятельства смерти г-на де Мосейля и поднять его труп, то сначала думали, что совершено преступление, потому что не было оружия, которым могли быть нанесены его ужасные раны. Только потом нашли его в руках девицы Арманды де Мосейль, или, точнее, под ее подушкой, куда привели по следу кровавые отметины.

Девица Арманда, сестра Юбера де Мосейля и Жаклины де Галандо, была жалкое создание. Давно уже слабоумная, она блуждала, несчастная, по Ба-ле-Прэ, одетая в рубище, убранные мишурою. На ее большой голове, толстогубой и слюнявой, возвышались сложные прически, которые она воздвигала своими дрожащими руками и для которых она употребляла все, что ей попадалось. Она втыкала туда перья из старой метелки, поднятой ею где-нибудь в углу, или куриные крылышки, найденные на птичьем дворе. Из ее рта постоянно текли слюни двумя струями, которые соединились под подбородком и падали оттуда капля за каплей при каждом ее движении. При этом угрюмая и плаксивая, так что слезы размывали румяна, которыми она мазалась. Она терла мокрыми руками накрашенные щеки и блуждала так, запачканная и нелепая, таская с собою старый раздувательный мех, воображая, что извлекает из него музыкальные звуки, или вертя целыми часами какую-нибудь бумажную мельничку, украденную ею у ее маленькой племянницы Жюли.

Маньячка похищала, в самом деле, все, что попадалось ей под руку, и прятала обыкновенно свои покражи в соломенном тюфяке или в каком-нибудь закоулке своей комнаты. Ее встречали блуждающею в саду или в коридорах или спускающеюся с лестниц на своем сидении, а иногда видели, как она усаживалась на дверном пороге и, подвернув юбку, прохлаждалась голым телом на камне. Злобная и взбалмошная в то время, когда еще владела рассудком, она осталась в безумии лукавою и мстительною.

И вот к этому-то созданию переходило отныне попечение о маленькой Жюли. Ей было восемь лет, и она была свежая и милая.

Аббат Юберте разговаривал об этом положении с г-ном дю Френеом, который жил в ближайшем соседстве с Ба-ле-Прэ, куда он и прибыл раньше аббата, по первому известию о событии, предупредить о котором г-жу де Галандо он же и послал. Человек приятный и добрый, но недалекий, несмотря на свои пятьдесят и один год, он казался совсем растерявшимся от смерти своего двоюродного брата и был очень рад прибытию аббата Юберте, которому сообщил только что рассказанные нами подробности.

Г-н де Френей, давно знавший г-на де Мосейля, никогда не переставал видаться с ним, несмотря на его пьянство и распутство. Во Френею же г-н де Мосейль встретил свою вторую жену, несчастную Анну де Бастан. Дю Френей совсем не думал, принимая по привычке этого распутного толстяка, что он когда-нибудь внушит этой кроткой девушке такую истинную страсть. Мосейль забавлял чету дю Френею, потому что и в своем бражничестве он сохранял проблески разума и следы ума. Он нравился им каким-то прирожденным шутовством, которое смешило до слез г-жу дю Френей. И потому г-н де Мосейль иногда бывал там. Ведь это был почти единственный дом и единственные люди его положения, которых он часто посещал, изгнанный отовсюду и сосланный в кабачки, да и там всего чаще

наедине с бутылкою, потому что, наконец, все стали бояться его задирчивого опьянения и стало вокруг него пусто.

Он ужинал иногда с г-ном и г-жою дю Френеями, и они, выйдя из-за стола, принимались один за свою скрипку, другая за свой клавесин, а Мосейль сидел где-нибудь в углу гостиной. Этот грубый человек любил музыку и живо чувствовал ее. Он отбивал каблуком такт, напевал тихонько мотив своим надсаженным голосом, потом, воодушеваясь, поднимался наконец с волнением и восторгом, меж тем как оба музыканта согласно постепенно преобразовывали концерт и ускоряли его движение, так что, начавшись в ариозо, он переходил в сарабанду, а Мосейль принимался прыгать, делать пируэты и представлял им комедию импровизированного танца, которая веселила их бесконечно.

Однажды вечером, когда они одни за своими инструментами играли, чтобы доставить друг другу взаимное удовольствие, как часто имели обыкновение делать, они увидели, что дверь внезапно распахнулась и вошел Мосейль; угрюмый, растрепанный, колени запачканы землею, без шляпы, он во весь дух прибежал во Фрней рассказать своим друзьям о том, что только что произошло под окнами его жены. Он рыдал и икал. Г-н и г-жа дю Фрней, испуганные его иступлением, проводили его обратно в Ба-ле-Прэ и по тому состоянию, в котором нашли бедную Анну, поняли, как велико несчастье. Они остались у ее изголовья и ухаживали за нею до того дня, когда она умерла, не соглашаясь увидеть мужа и, говоря, что она слишком положила на свои силы, надеясь, что может перенести причуды его природы, что предпочитает умереть, так как чувствует себя неспособною исполнить долг, который на себя взяла и который не может выполнить. Вследствие этого трагического происшествия, чета дю Фрнеев разорвала все отношения с г-ном де Мосейлем и только из-за маленькой Жюли, оставшейся сиротою, дю Фрней снова появился в Ба-ла-Прэ.

Уже вечерело, г-н де Мосейль покоился на своей постели между двух зажженных свеч. Никого не было возле него, комната казалась пустою. Г-н дю Фрней и аббат принялись искать Жюли, — она исчезла с утра. Проходя коридором, они увидели свет сквозь щель двери девицы Арманды. Слабоумная была заперта в своей комнате, и оба они полюбопытствовали посмотреть в замочную скважину. Она стояла, странно причесанная, и, подняв свои юбки, нагая до пояса, занималась тем, что ставила себе клистир и, обеими руками держа за свою спиною шприц, искала для него в стене опорной точки. Эти господа удалились, пожимая плечами, и наконец нашли Жюли.

Девочка спала, совсем одетая, на своей постели; она еще держала в одной руке закушенное яблоко, на котором виднелся поверхностный след ее маленьких зубов; другою рукой она крепко-накрепко сжимала старую банку из-под румян. Она забавлялась, расцвечая себе щеки, как — видела она — делала ее тетка. Это был славный сон, комический и нежный. Они не стали будить ее.

Было условлено, что Жюли отправится завтра с г-ном дю Фрнеем, у которого она будет проводить две трети года, и что аббат постарается склонить г-жу де Галандо брать ее к себе на остальное время.

На следующее утро похоронили г-на де Мосейля. Несколько человек крестьян, балагуривших и подталкивающих друг друга, собрались во дворе Ба-ле-Прэ. Вынесли гроб и уже собирались идти, когда девица Арманда совершила свой выход. Ей удалось вырваться на волю, и, одетая и намазанная, она захотела принять участие в церемонии. Четыре мужика, по приказу аббата, схватили ее. Она отбивалась, кричала, но тщетно; ее уgomонили и видели, как, она удалялась, яростно передвигая под короткою юбкою высокими сапогами со шпорами, в которые она обулась.

Небольшая толпа провожающих вышла из церкви и направилась к кладбищу. Жюли шла скромно, под руку с г-ном дю Фрнеем. Несколько фермеров шли за ними. Дорога была

ухабистая. Было слышно, как за изгородью бляла коза. Это была старая бородатая коза с дряблым выменем, бывшая когда-то кормилицей Жюли; тут г-н дю Френей и аббат заметили, что за кортежем плетется безобразное и спотыкающееся создание. Они признали в нем зловещую карлицу, которая никогда не покидала окрестностей замка и время от времени появлялась там.

Наконец пришли на кладбище. В яму, вырытую заранее, опустили г-на де Мосейля. Земля сыпалась с лопат тяжелыми комьями. Когда обряд окончился, присутствовавшие разошлись. Стояло там большое дерево, бросавшее тень на могильный холмик. Его бурая земля была как пятно среди зеленой муравы. Аббат Юберте и г-н дю Френей, оставшись одни, сели на траву; там перелетали стрекозы, и, где они прыгали, гибкая былинка легко вздрагивала. Жюли забавлялась, гоняясь за ними. Аббат смотрел на нее, всю светлую под солнцем. Было жарко, г-н дю Френей вынул машинально из своего кармана буксовую флейту в трех кусках; он ее вытер, сложил, тихо дунул в нее, потом тихо заиграл ариетту. Маленькая Жюли остановилась послушать, вся светлая, стоя под солнцем, и, так как был полдень, вокруг нее не было тени.

VI

Г-жа де Галандо не приняла сразу предложение аббата Юберте и г-на дю Френей относительно ее племянницы Жюли де Мосейль; даже наоборот. Она наотрез отказалась принимать ее к себе на три месяца, которые ребенок не будет проводить во Френе. Аббат чувствовал себя в большом затруднении, тем более что его чувства участвовали в этом вместе с сознанием его долга. Он ощущал в своем сердце искреннюю жалость к осиротевшей малютке. Какие девочка должна сохранить странные воспоминания о людях, среди которых жила, между отцом-ипохондриком и теткою, пестро-лоскутною и нелепою, слабоумие которой вырождалось иногда в яростные припадки, когда она каталась вся в пене, после чего становилась каждый раз еще более опустившейся идиоткой.

Аббату казалось необходимым удалить Жюли как можно скорее от этих впечатлений, опасных и мрачных. Ее пребывание во Френе, в этом доме, ласковом и веселом, наполненном запахом печений, благоуханием эликсиров и музыкальными концертами, легко заставит ее забыть мало-помалу печальные и злые зрелища Ба-ле-Прэ. С другой стороны, чтобы исправить влияние легкомысленного попечительства г-на и г-жи дю Френей, он самым живым образом желал для Жюли влияния возвышенного и сурового разума г-жи де Галандо, которая не преминет внушить ей прочные заповеди чести и добродетели и все необходимое из религии для укрепления в девочке добрых начал.

Аббат убеждал г-жу де Галандо, как ценно будет ее влияние на ребенка. Он знал, что ее гордость не была нечувствительна к могуществу, которое приписывали ее добродетели, и через это надеялся он подчинить ее мало-помалу своим намерениям. Николай вторил ему своим молчаливым желанием. Аббат растрогал его участью его маленькой двоюродной сестры, и Николай, сердце которого было лучше, чем разум, испытывал к ней интерес милосердия. Он присутствовал при спорах между его матерью и аббатом, оставаясь при этом, как всегда, в стороне, потому что, привыкнувши издавна не действовать самостоятельно, он не был способен действительно вмешаться во что бы то ни было.

Г-жа де Галандо уклонялась от всякого решительного ответа.

Тем не менее, время не терпело, так как аббат Юберте скоро должен был покинуть Понт-о-Бель. Епископ, уважавший ученость и верность аббата, брал его к себе секретарем. Г-н де ла Гранжер должен был ехать в конце осени в Италию, где король поручил ему вести

секретные переговоры, и он увозил с собою г-на Юберте, который перед своим отъездом употреблял все старания, чтобы ввести маленькую Жюли в Понт-о-Бель. Он открылся в этом г-ну де ла Гранжеру и просил его совета.

Г-жа де Галандо очень почитала своего епископа, который, в согласии с аббатом, решился воспользоваться своим могуществом, чтобы внушить г-же де Галандо во имя веры то, что она отказывалась сделать во имя родства, и, чтобы с этим покончить, он взял на себя ускорить дело.

Поэтому г-н де ла Гранжер предупредил г-жу де Галандо о своем посещении под предлогом проститься с нею перед его путешествием, и в один прекрасный день, около трех часов, епископская карета въехала во двор в Понт-о-Бель.

Епископ был встречен у кареты аббатом Юберте и Николаем де Галандо. Николаю было тогда двадцать четыре года, и он был очень смущен и застенчив в своем парадном одеянии, надетом ради этого случая. Обменялись учтивостями. Епископ извинился, что сопровождавший его каноник не выходит по причине ломоты и оцепенения в икрах. Г-н Дюрье показал, в самом деле, вид совершенного подагрика. Его тучность заполняла сплошь оконце дверцы, которую он закрыл, когда, после обычных приветствий, опять уселся на заднем месте кареты, где его и оставили.

Все направились в замок. Епископ шел маленькими шагами своих коротких ног. Он был быстрый и живой и, при своем малом росте, имел властный вид. Говорили, что он способный человек и ловкий царедворец. Он прошел большую школу происков и познания людей и вывертывался из всех трудностей к выгоде своих друзей и к замешательству своих врагов. Так как он познал основательно церковническую интригу, то и удостоился того, что его сочли способным справиться с тончайшими делами римской политики. Он чувствовал всю значительность и всю цену выбора, который остановился на нем. Поэтому в своих успехах ультрамонтанских сомневался он не более, чем в удаче предприятия более скромного, которое привело его сегодня в Понт-о-Бель.

После первых любезностей разговор принял семейственный характер, и г-н де ла Гранжер пожелал посетить сады. Беседа продлилась и там. Епископ шел рядом с г-жою де Галандо, и она в первый раз пожалела о состоянии запущенности и небрежения в котором находились из-за недостаточной подрезки и чистки грабины и аллеи.

Пришли на перекресток аллеи. Епископ, немного запыхавшийся, остановился и, оглядевшись вокруг себя, поднял свои тощие руки:

— Конечно, сударыня, что бы вы ни говорили о том, что есть, и что бы вы ни думали о том, что было, это место остается по-прежнему отменно прекрасным, и я понимаю сожаления нашего аббата, вскоре покидающего эти спокойные осенения.

И затем он дал понять, что могущественные интересы заставляют его увезти в Рим г-на Юберте. Он настойчиво говорил о колебаниях аббата, о его привязанности к его воспитаннику.

— Потому что, сударыня, наш аббат вел скромно и верно большое дело. Он сделал из вашего сына, при вашей помощи и под вашим наблюдением, дворянина благочестивого и доброго. Я не сомневаюсь, что г-н Николай сделался бы таким и сам собою и что ваших советов было бы достаточно, чтобы направить столь счастливо одаренную натуру, но аббат способствовал, со своей стороны, тому, что к сердцу, которое вы образовали, присоединился разум, над питанием и укреплением которого он работал наилучшим образом.

Разве Николай не был напоен античною словесностью, не был превосходным латинистом? Епископу не надо было иного доказательства этому, чем те прекрасные Цицероновы

изречения, которыми они обменялись при его выходе из кареты. Николаю больше нечему было учиться.

— Вот это все делает человека, — заключил г-н де ла Гранжер, — притом способного не только поддержать честь своего дома, но еще и возвысить ее.

Г-жа де Галандо, выражая приличные случаю сожаления, согласилась довольно охотно на отъезд аббата, который уже несколько недель не переставал тревожить ее из-за маленькой Жюли и которого она начинала находить несносным.

Стояла там каменная скамья. Епископ и г-жа Галандо сели на нее, чтобы продолжать беседу. Легкий ветер колыхал седые волосы г-жи де Галандо, и г-н де ла Гранжер, с немного покрасневшим от свежего воздуха носом, слушал с тонким видом, как она восхваляла подробно свои материнские труды.

— Да, сударыня, если аббат имел свою долю в добром воспитании вашего сына, — возразил, когда она кончила, лукавый прелат, пользуясь уклоном разговора, благоприятным его проекту, — вы имеете в этом вашу долю, и самую прекрасную, которая является примером вашей высокой добродетели. Ах! Я понимаю, сударыня, вашу законную удовлетворенность и ваше счастье быть освобожденною от великой обязанности. Теперь, когда это прекрасное дело окончено, вам было бы приятно, моя дорогая дочь, возвратиться в ваш внутренний мир, но добро ненасытно. Не думаете ли вы, что другие заботы вас призывают, и останетесь ли вы глухи к их голосу?

— Я всегда освобождал вас от дел внешних, — продолжал епископ, улыбаясь, — но Бог сохранил для вас одно, которого вы не ждали. Бог сам позаботился о новом заполнении вашего досуга. Он знает все наши нужды, и даже те, о которых мы сами не думаем. Вам надо взять вашу племянницу Жюли де Мосейль.

Удар был жесток. С первых слов г-жа де Галандо заартачилась с сухостью и решительною надменностью. Епископ ничуть не смутился; он выдерживал более жестокие схватки, участвовал в более сильных столкновениях и хорошо знал все пути. Он пошел сначала по пути укрощения. Потом, не достигнув успеха, он заговорил, в свою очередь, надменно и сухо, выпрямившись во весь свой маленький рост. Его руки, проворные и убеждающие, жестикулировали перед глазами г-жи де Галандо, и она видела, как мелькала перед нею кругообразно золотая точка епископского кольца, и не отвечала ничего. Тогда г-н де ла Гранжер разгорячился. Он сулил ропот в обществе, говорил о скандальности этого отказа, из расчета требуя большего, чем хотел, потом вдруг ограничил обязательство тремя месяцами, чего и добился. Определили время побывки каждый год: от половины июля до половины октября.

Епископ начал тогда восхвалять ребенка. Г-жа де Галандо, внезапно поднявшись со скамьи своего поражения, быстрыми шагами пошла к замку. Г-н де ла Гранжер следовал за нею на своих коротких ногах, распотешенный этим внезапным бегством и этим гневом. Встретили Николая и аббата Юберте. Аббат только что осведомил своего воспитанника о своем решении и о предполагаемом путешествии; оба плакали. Они пошли позади епископа, который немного отдышался, идя рядом с г-жою де Галандо, наконец замедлившею шаг и обуздавшею себя. Время от времени слышно было, как бедный Николай шумно сморкается.

Подошли к карете. Все встали вокруг, когда дверца отворилась, и все увидели толстого каноника-подагрика, сидевшего с непокрытою головою на задней скамейке, а на коленях у него Жюли, которую епископ тайком привез с собою, — она надела себе на голову парик и на нос — очки бедного г-на Дюрье, а тот, красный и растерявшийся, не знал, какой ему принять вид и как избавиться от надоедалки.

В этом-то забавном положении г-жа де Галандо познакомилась со своею племянницею.

Условились, что она проведет на этот раз два или три дня в Понт-о-Беле и что ее проводит во Френей, откуда она приехала, аббат, перед тем как ему отправиться к новому месту службы у г-на де ла Гранжера, который, простившись со всеми присутствовавшими, ступил на подножку.

Толстый кучер стегнул лошадей; колеса завертелись, оставив на дворе Понт-о-Беля перед г-жою де Галандо, между балагурящим аббатом и смущенным Николаем прекрасную маленькую девочку, белокурую и своенравную; сквозь очки, которые она, заупрямившись, не захотела отдать, малютка смотрела на исчезавшую большую карету, где г-н каноник Дюрье признавался епископу, что эта милая барышня де Мосейль была суший дьявол во плоти; и это показалось бы ему еще гораздо более вероятным, если бы он услышал за собою громкий хохот девочки над тремя большими кучами помета, свежего и дымящегося, оставленного на мостовой в некотором расстоянии друг от друга гнедыми лошадьми г-на де ла Гранжера.

VII

Этот первый приезд Жюли в Понт-о-Бель совпал с приготовлениями к отъезду аббата Юберте. Николай казался очень огорченным и проводил время в полной праздности. Его ограниченная и ленивая жизнь поддерживалась в равновесии несколькими опорными точками, и, когда главной из них не стало, он почувствовал словно вывих.

Конечно, г-жа де Галандо оставалась, но она уже давно сложила с себя на аббата заботу заниматься ее сыном. Г-н Юберте добился того, что заинтересовал его своими работами; он открыл перед ним обширную область науки о древностях, и если Николай не погружался в ее глубины, то все же довольно охотно пробегал по ее поверхности. Как только аббат уехал, он прекратил занятия, избегал даже библиотеки и коснел в лености; это несколько обеспокоило г-жу де Галандо, так как она не знала против нее никакого лекарства и даже кое в чем себя упрекала, чему, однако, ее уверенность довольно быстро положила конец. Тем не менее она готова была пожалеть о том, что с такою заботливостью и с такою бдительностью отвращала сына от всех занятий, которые были приличны его возрасту и которым она противилась всею силою своей трусости.

В самом деле, Николай де Галандо не знал ничего из области тех занятий, которыми обычно развлекались местные дворяне, находившие в охоте и верховой езде свое главное удовольствие. Его мать постоянно восставала против охоты. Ей казалось неудобным, чтобы он удалялся от нее на целые дни, поневоле являясь при этом с соседнею молодежью. Еще более, чем опасных зачастую случайностей травли, боялась она шумных обедов и ужинов после охоты. Она опасалась, что сын ее будет возвращаться оттуда с головою, полною лая собак, звука рогов, брани доезжачих и вольных разговоров товарищей; а ими он не замедлил бы обзавестись, и они принуждали бы его или убегать из Понт-о-Беля, или вводить туда их ватагу, присутствие которой для г-жи де Галандо было бы отвратительно и которая своим оскорбительным несходством тревожила бы ее жизнь, возвышенную, уединенную и суровую.

Она боялась, что кроткий и скромный Николай приобретет в этих сношениях ту грубость, о которой она хранила прискорбное воспоминание, так как от проявлений этой грубости в близких людях страдала в далекие теперь времена своей юности.

Итак, Николай де Галандо не научился ни владеть оружием, ни ездить верхом, так как мать боялась лошадей из-за постоянных опасностей, представляемых их норомом. Самые кроткие из них подвержены неожиданным капризам, и она часто напоминала Николаю, что благородные лошади, возившие так величественно ее и ее мужа в славной четырехколесной карете, однажды понесли по дороге из Сен-Жан-ла-Виня и после бешеной скачки по полям

вывалили их в поле люцерны, причем граф упал ничком, а она, во всем своем убранстве, упала на спину, вверх ногами. Этот пример служил ей доводом, с помощью которого она внушала Николаю осторожность и отвращение к наездничеству и его последствиям.

Отрезав ему таким образом все выходы, она держала его всецело при себе. Она рассуждала при этом, быть может, более последовательно, чем справедливо, потому что необходимы страсти, чтобы питать ими наше одиночество, будь то занятость значительными явлениями внутреннего мира или же пылкий интерес к мелочам, нас окружающим. Но Николай де Галандо имел скорее привычки, чем страсти. Это они были постоянною тканью его мыслей и обычными причинами его действий; их совокупность, упорядоченная и завершенная, составляла для него жизнь ровную и замкнутую, из которой он и не пытался выйти.

Николай де Галандо действительно был свободен от всяких душевных крайностей. Он не испытывал ни одного из тех глухих движений, которые ведут нередко ко внезапным отступлениям, неожиданным и приводящим в замешательство. Даже его религиозность не развивалась порывами и не углублялась, и его мысль о Боге довольствовалась заученными упражнениями, ничего к ним не прибавляя и ничего не отнимая. Его существование казалось очерченным заранее, как тень на старых каменных солнечных часах, на которых его отец некогда любил наблюдать вращение дневных часов.

Все то, что выходило за пределы повседневных обстоятельств, казалось ему пустым и неясным. Собою он занимался умеренно, а другими не занимался вовсе, но если он имел в голове мало образов и мыслей, то в сердце у него были чувства твердые и постоянные. Он любил искренне и сильно свою мать; поэтому, когда наступала пора возвращения Жюли в Понт-о-Бель, он разделял дурное настроение г-жи де Галандо по отношению к этой малютке, и девочка встречала от него так же мало братского привета, как родственного приема от тетки. Но это чувство, надо сказать, длилось недолго, и Николай, кроткий, простой и добрый, не вкладывал в него того постоянства и упорства, какие вносила в свои отношения г-жа де Галандо.

На другой день после приезда Жюли в замок она прогуливалась в садах под наблюдением одной из двух старых служанок г-жи де Галандо. В Понт-о-Беле жили только старые люди; поэтому Жюли была первая юная особа, которую часто видел здесь Николай. Девочка шла печально; слышны были шаги ее бойких ножек на песке сквозь тяжелую поступь древней горничной, которая порой кашляла и тяжело тащилась по дорожке.

Жюли было несколько трудно держаться в тех рамках, в которые хотела ее поставить ее тетка. Конечно, г-жа де Галандо согласилась принять свою племянницу по настояниям г-на де ла Гранжера и из боязни скандала, который ее отказ непременно бы вызвал, но она исполняла этот долг неохотно, и Жюли болезненно ощущала на себе дурное настроение, вызванное этим обязательством. Ее буйная веселость ударялась крыльями о сухость тетки, которая с самого начала сурово укрощала ее.

Да, конечно, далеко было угрюмому пристанищу в Понт-о-Беле до любезного дома во Френе, полного песен и звуков клавесина. Девочка вскоре поняла это.

Г-н и г-жа дю Френей нежно лелеяли сироту, и малютка их обожала. Они отвечали ей безумною любовью и предполагали даже совсем оставить девочку у себя, что стоило им очень надменного письма от г-жи де Галандо с форменным отказом, настолько сильна в душах любовь к противоречию. Содержание письма было таково, что г-н и г-жа дю Френей с тех пор отпускали Жюли без надежды навестить ее хотя бы один раз, пока она оставалась в Понт-о-Беле. Это их печалило до того, что г-н дю Френей целых три дня не дотрагивался ни до скрипки, ни до флейты, а его жена в то же время не открывала клавесина, не взбивала сливок, не толкла сахара.

Перемена была крута для Жюли. Там ей все сходило; здесь ей ничего не спускали. Г-жа де Галандо, высокомерно и не терпя возражений, наложила на нее свое иго. Она сберегла для нее, если можно так выразиться, нечто от своей еще не использованной суровости. Послушание Николая позволяло ей быть уверенной в легкости господства над ним и в бесполезности по отношению к нему какой бы то ни было строгости; поэтому с Жюли она употребляла тот запас жестокости и резкости, которые были до сих пор излишними. Можно было ждать возмущений, но их вовсе не было. Перед этим сильным принуждением ребенок склонялся, отчасти от беззаботности, но более от мягкости и также от легкой приспособляемости к обстоятельствам, свойственной юным существам, — склонялся так, что г-жа де Галандо была обманута в своих ожиданиях. Она не находила в Жюли ничего, что заслуживало бы того нерасположения, которое она к ней питала. Это отсутствие сопротивления не вознаградило ее за то, что она не нашла здесь удовлетворения своим планам.

Эти перемены создали из Жюли двойственное существо, как следствие ее двойственного пребывания во Френе и в Понт-о-Беле. Она приобрела два порядка привычек, которые преобладали в ней попеременно и сделали из нее позже чувственную и легкомысленную Жюли на ужинах маршала де Бонфора и одинокую и степенную г-жу де Портебиз, доживающую жизнь в сельском замке Ба-ле-Прэ.

Это быстрое послушание, если оно и противоречило тайному желанию г-жи де Галандо, заставило ее необыкновенно уважать свою систему воспитания и удовлетворяло, по крайней мере, ее тщеславию. Таким образом, одна покорила тому, что ее слушают, другая тому, что она слушается. Жюли торопилась выучиться тому, что от нее требовалось, и подчинялась этому добровольно. Только она скучала, и ее розовое личико не озарялось улыбкою, как тогда, когда она пачкала себе щеки свежим вареньем г-жи дю Френей или забавлялась, выпиликивая нестройные звуки на скрипке г-на дю Френея. Она была весьма озабочена новыми благопристойностями, которые надо было ей соблюдать, и это принуждение придавало малютке очаровательную и комическую важность. Еще блуждал в ее глазах остаток веселости, готовый перейти в улыбку, но она тщетно искала в глазах других ему опоры и поддержки, а когда она встречала суровый взор тетки, то ее порыв кончался полуужимкою ее пухлых и розовых губ, очаровательною и в то же время пристыженною, с выражением смущения, разочарования и немного злости, словно решимости, раз что ее улыбки не желают, наслаждаться ею наедине с самою собою.

Она находила в предметах и в людях, окружавших ее, тысячу способов ими забавляться. Дети изо всего изобретают особенные события. Камешки, травы, повороты аллей, форма цветников, мебель, домашняя утварь служили ей для того, чтобы извлекать из них особые удовольствия, в которых погода участвовала не менее, чем другие обстоятельства, таинственные и ей одной понятные.

Те немногие люди, что в Понт-о-Беле составляли ежедневное зрелище жизни, стали ей привычны, и она распознала их с прирожденной ей тонкостью. Если, например, общий характер г-жи де Галандо поневоле ускользал от ее детского разума, то она инстинктивно и по привычке приобрела столь точное знание ее физиономии, что наперед читала по ней необходимость остеречься ее раздражения, которое она различала в чертах старой дамы по гримаске губ или по особенному миганию глаз. Поэтому она удивительно быстро увертывалась, благоразумная и в то же время дерзкая, с природным и неодолимым талантом к передразниванию. Она упражнялась в подражании походке и повадкам тетки или вскарабкивалась на стул, подставляла зеркалу свое личико, которое шутовскою гримасою карикатурило лицо ее суровой родственницы. Она простирала эту забаву до наглости, не отказываясь от нее даже в присутствии г-жи де Галандо, которая ничего не замечала.

Как и следовало ожидать, кузен Николай также не избежал пересмешничанья. Жюли быстро схватила его скучающий и беспечный вид, его повадку зевать и судорожно подавлять эту

зевоту, его вялую походку, его манеру волочить по песку свою трость, заложа руки за спину и зачастую горбясь, всю неуклюжесть его высокой фигуры. Именно так прогуливаясь в этом саду, ленивый и вечно нерешительный, Николай часто встречал свою кузину Жюли.

Она не подходила к нему и не заговаривала с ним и делала вид, что не видит его, но смотрела на него исподтишка, быстрым и беглым взглядом. Чаще всего, когда он встречал ее, она опускала голову и притворялась играющей и столь внимательною к своей игре, что слегка высовывала изо рта тоненький кончик своего розового язычка, чтобы потом высунуть его во всю длину за спиною Николая, удалявшегося мелкими шагами, заложа руки под фалды своего кафтана, откуда кончик носового платка, который рассеянный молодой человек оставлял торчащим из кармана, казалось, отвечал на гримасы ребенка.

Обычная прогулка Николая де Галандо нередко приводила его к скамье, где Жюли играла некоторое время днем. Эта скамья опиралась спинкою о трельяж, отделявший аллею от площадки, обставленной высокими деревьями. Углубление образовывало нишу, и несколько планок трельяжа, поломанных в этом месте, давали ребенку возможность проходить. Плющ устилал почву под деревьями своими листьями, сжатыми в темно-зеленую чешую; он взбирался на стволы мускулистыми и мохнатыми жилками. В этом месте было темно и прохладно; что нравилось малютке.

Нередко она пряталась в чаще этого убежища, заслышав издали неровную на песке походку Николая. Она замечала, что он никогда не забывал, проходя мимо, искать ее там глазами; потом он удалялся, обычно не оглядываясь; но однажды, быстро обернувшись на легкий шум, он заметил выглядывавшее из-за трельяжа, позади которого Жюли тайком наблюдала за ним, ее шаловливое личико; смеясь и застигнутая врасплох среди своего любимого развлечения, она непочтительно показывала ему язык, высунутый чуть не на аршин.

Жюли, размышляя о последствиях своей дерзости, сидела на скамье, смущенная и тихая. Как ни ловко умела она предупреждать порывы дурного настроения тетушки Галандо, ей не всегда удавалось их совсем избежать. Она была знакома с розгами.

Это бывала целая церемония, и те три раза, что она их уже получала за время своего пребывания в Понт-о-Беле, оставили в ней воспоминание очень жгучее. Торжество происходило так. Старый садовник Илер, за которым посылали для этого случая, входил, держа свои сабо одною рукою, а другою пучок веточек, в залу, где г-жа де Галандо восседала с очками на носу, прислонясь к спинке большого кресла. Илер, добрый малый, выбирал из связки самые сухие хворостинки, которые тотчас же ломались; но у Жюли тем не менее, когда она опускала юбку, слегка горел зад, а щеки пламенели от того, что она плакала заранее, без слез и без страха, лишь бы дать тетке высокое понятие о строгости наказания. Поэтому, завидя, что Николай, возвращаясь, замедлил шаг и остановился перед скамьею, она стала бояться к вечеру обычного наказания.

На самом деле Николай чувствовал себя весьма смущенным; он шевелил песок концом своей трости, чтобы придать себе духа. Жюли, которая уже решила, что ей теперь делать, лукаво поглядывала на него; потом внезапно счистила своею маленькою рукою листья и песок, покрывавшие скамью, и, отодвинувшись на край, как бы давая место пришедшему, она оправила на себе платье и внимательно посмотрела на нетерпеливые кончики своих ножек, висевших, не касаясь земли.

Смущение Николая де Галандо возросло до того, что, не зная, ни что делать, ни как уйти, он уселся, ничего не говоря, на самый краешек скамейки, размахивая руками, и его доброе лицо было красно от неловкости положения.

Жюли не говорила ни слова. Она сидела очень прямо, очень скромно, сдержанная и лукавая. Слышно было только постукиванье друг о друга ее каблучков. В промежутке этих звуков

дерево иногда вздрагивало своею верхушкою. Сухая веточка упала с вершины, словно из невидимого пучка розог. Николай осторожно поднял ее и положил между ними обоими, потом он встал, снова сел и, наконец, внезапно удалился, не без того, чтобы отвесить низкий гюклон кузине Жюли.

Николай стал приходить почти каждый день. Жюли больше не убегала. Он с интересом наблюдал, как она предавалась забавам, которые она для себя изобретала. Иногда ее там не было, но она вскоре выходила из-за трельяжа. Она приносила листья или корни плюща, камешки, сухие ветки, которыми играла при нем, мало-помалу освоившись с этим молчаливым посетителем. В Понт-о-Беле почти не говорили. Николай отвечал односложными словами на вопросы матери. Жюли, найдя в своем большом кузене благосклонного слушателя, болтала. Он внимал ей почтительно и покорно, не всегда отвечая на бесчисленные вопросы девочки, потому что он был ленив умом и так рассеян, что быстрые скачки ее мысли застигали его врасплох.

Жюли была бойка на слова и чиста сердцем. Она подружилась с этим большим мальчиком, бывшим на пятнадцать лет старше ее; но из тонкой детской прозорливости она приберегала эту дружбу для тех минут, когда они бывали в саду одни. При г-же де Галандо она оставалась равнодушною и ничем не обнаруживала этого товарищества. Разве только обменяется с Николаем понимающим взглядом, так что почтенная дама, сидя весь день взаперти у себя в комнате, ни за что на свете не подумала бы, что воспитанник аббата Юберте предпочитал великим авторам библиотеки общество девятилетней девочки и забавлялся с нею, сидя на старой скамье в конце парка, плетением гирлянд из плюща, выравнивая его словно лощеные листья, между тем как Жюли смеясь поглаживала своими робкими пальчиками его гибкие и мохнатые стебли.

Надо сказать, что Николай и Жюли не всегда оставались на том же месте, где они встретились. Часто они обходили кругом по парку, вдоль внешней ограды. Жюли шла впереди, а он послушно следовал за нею всюду, куда ей хотелось, на солнце, которого он очень боялся, и даже под дождь, который пугал его еще более и под которым Жюли любила гулять, чтобы чувствовать, как его капли смачивают ее волосы и текут по шее; погода, которая более двух месяцев была прекрасною, начала портиться. Приближалась осень и время, когда Жюли должна была возвратиться во Френей, чтобы провести там зиму и весну.

То был дурной день для Николая, когда г-н дю Френей приехал за Жюли. Г-жа де Галандо приняла его холодно и сухо простилась с племянницею. Николай не смел ничем обнаружить своего сожаления о своей маленькой подруге. Он проводил ее до кареты и, простясь с нею, убежал в сад и сел на опустевшую скамью. Мох и мрамор ее были влажны и сыры. Только что шел дождь, и Николай, опустив голову под листьями, которые сыпались густо, отяжелелые, поднял у ног между ними сердечко плюща, еще зеленое и блестящее, на котором трепетала дождевая капля, потом, когда опять начался ливень, он встал и медленно возвратился в замок.

VIII

Когда через год приближалось время возвращения Жюли в Понт-о-Бель, г-жа де Галандо начала горько жаловаться. В течение года она не выказала никакой заботы, чтобы иметь сведения о своей племяннице, и Николай, раб всех настроений матери, ни разу не посмел предложить ей, что он съездит за вестями во Френей, чего он весьма желал.

Г-жа де Галандо резко порицала тамошний образ жизни и тужила о том, что Жюли переймет там, должно быть, такие привычки, которые, конечно, заставят ее утратить то небольшое из

добрых правил, что она старалась ей внушить. Все это, разумеется, должно было испариться при звуках скрипки и клавесина и среди ароматов печений и варений, и г-жа де Галандо ворчала на этих людей за то, что они взялись воспитывать девочку, обучая ее вместо всякого дела пенью и приготовлению сладостей, не позаботившись, наверное, показать ей хотя бы цифры или азбуку. Дело не в том, конечно, чтобы сделать из Жюли ученую. У нее не будет ни времени, ни случая читать или считать, ибо, выросши, она не должна будет блистать умом или искусством управления. Ее ждет скромный брак с малым достатком и со множеством хозяйственных забот. Приданым ее будет только ее часть в Ба-ле-Прэ, доходы с которого невелики, да и те ей придется делить с теткою Армандою, а это может подойти лишь мужу посредственного положения.

Поэтому г-жа Галандо находила полезным учить племянницу порядку, бережливости, хозяйству и шитью, всему, что прилично для бедной девушки, да еще несколькими религиозными истинами, чтобы она могла принять свою судьбу такую, какую устроит ее Бог, насколько он позволял, по-видимому, ее предвидеть.

Николай не мешал матери говорить. Про себя он предполагал обучать Жюли. Не считая себя настоящим учителем, он находил себя способным преподавать ей начала чтения и письма и открылся в этом плане матери. Это пришлось ей по вкусу, так как она видела в этом больше занятие для сына, чем пользу для племянницы. Согласие было дано, и теперь можно было видеть Николая в аллеях парка с книгой в руках, повторяющим грамматику или чертящим на песке концом трости образцы заглавных букв. Г-жа Галандо с удовольствием смотрела на то, как он брал на себя эту роль педагога, а на свою долю сохраняла заботу направлять поведение своей племянницы и делать ей нагоняи, подстерегать ее промахи и возвращать ее к дисциплине, что не заставило себя ждать.

На другой день после того, как Жюли снова вступила во владение своею комнаткою, она проснулась рано утром. В своей постели она принялась с полузакрытыми глазами мурлыкать песенку, потом она мало-помалу запела ее. Ее чистый и звонкий голос раздавался в свежей утренней тишине. Жюли по рассеянности думала, что она еще во френее. Она быстро опомнилась и замолчала, совсем смущенная, но слишком поздно, так как г-жа де Галандо, уже проснувшись, услышала ее из своей комнаты, которая была рядом, и тремя сухими ударами в стенку дала ей понять всю неблагопристойность ее поведения.

Жюли, раздосадованная выговором, прикусила свою губу, розовую и пухлую, и оставила на ней отпечаток своих тонких зубов. Она вступала в очаровательный возраст, росла и начинала расцветать; в ее лице, нежном и круглом, проступало другое, еще неопределенное, но обещавшее стать прелестным; ее полное тельце уже мило утончалось, вся ее неопределенная фигура, казалось, скоро найдет для себя точные соотношения. Ей кончался десятый год.

Она скоро заново познакомилась с Понт-о-Белем, с его привычками и с его обитателями. Она с какою-то природною ловкостью старалась держаться незаметно, делать мало шума и занимать мало места. Надобно было видеть, как она проворно взбиралась, свежая и таящаяся, на звонкие лестницы, пробегала по длинным коридорам и в обширной комнате, где она занималась шитьем перед глазами г-жи де Галандо, примостившись на высоком табурете, посасывала с печальною и хитрою гримаскою кончик своего пальца, уколотого острием иглы.

С одним только Николаем она опять становилась такою, какою была в действительности, — девочкою резвою, живою и насмешливою. Верный знак дружбы для детей — забывать, что находишься уже не в их возрасте. Как только это равенство установлено, они пользуются им к своей выгоде с удивительною легкостью. Поэтому взваливала она на Николая тысячи занятий, весьма простых и совершенно натуральных в понятии маленькой девочки, но делавших весьма комичным этого большого юношу, скромного и нескладного; например,

целые часы он забавлялся с нею постройкою на песке миниатюрных садиков со стенами из кремешков и с деревьями из веточек.

Поистине очаровательно было видеть кузена Николая за работою, — руки запачканы землею, да так, что он едва осмеливался в таком виде возвращаться в замок, а близ него, раскрытая на кремешках аллеи, латинская грамматика, которую честный малый приносил с собою каждый день в надежде натвердить из нее кое-какие правила этой причудливой головке.

Только после долгой игры Жюли соглашалась сесть на скамью, чтобы слушать урок. Она принималась за склады с большою серьезностью и усердием, все время следя краем глаза за своею ногою, которую она покачивала мерно, так, чтобы незаметно коснуться до чулка своего рассеянного наставника и запятнать его пылью. Ее лукавство кончалось тем, что она громко смеялась, а смущенный Николай даже не знал, над чем она так смеется. Хорошо или худо, урок продолжался, пока Жюли не соскальзывала тихонько со скамьи. Это был конец урока, и тогда начинались забавы.

Жюли вкладывала в эту игру оживление и пылкость необычайные. Она никогда не утомлялась этим развлечением, которому ее кузен подчинялся со снисходительностью и терпением бесконечными. Он прятался за деревья как раз так, чтобы его можно было увидеть; он бегал крупными шагами как раз так, чтобы его можно было догнать или чтобы, догнавши малютку, не причинить ей обиды и досады, почувствовать ее неловкость, чего она не могла терпеть. Из-за этого между ними возникали ссоры, яростные и забавные, потому что Николай показывал, что замечает плутовство Жюли, и противился ее прихотям.

Даже случалось иногда, что он заупрямится по-настоящему, и вот два товарища заспорят. Николай забывал свой возраст и обращался с Жюли так, как будто бы ей было столько же лет, что и ему. Тогда начинались крики, гнев, они дулись один на другого, и оба оказывались при этом одинаково упрямыми. Потом, наконец, здравый смысл возвращался к Николаю, и он оглядывался на себя с удивлением и смущением, — такой длинный, скорчивший сердитое лицо, грозящий кулаками, как десятилетний мальчуган, похожий на цаплю, поссорившуюся с коноплянкою.

Чувство этого несоответствия клало обыкновенно конец раздору, и Николай соглашался на то, чего хотела от него Жюли. Вследствие таких примирений девочка добивалась того, что ее забавляло больше всего на свете, а именно, прогулки к зеркалу вод или тотчас же, или на другой день.

То было одно из самых приятных мест в садах Понт-о-Беля. Покойный граф велел выкопать там пруд, не очень обширный, но довольно глубокий и такой чистый, что в нем отражались окружавшие его прекрасные деревья. Четыре покатые склона муравы окаймляли его четыре края. Узкая песчаная дорожка огибала его, и Жюли, очень любившая пройти по ней, получала на это позволение только с условием не выпускать руки Николая.

В этом он оказывался неуступчивым как из осторожности, так и ради удовольствия держать в своих пальцах ручонку, в которой он так живо чувствовал нетерпение и любопытство. Когда круг был окончен, Жюли хотела начинать сызнава. Чтобы не ссориться, простодушный Николай предлагал ей идти к тому, что называлось «малым бассейном». Жюли бросала последний взгляд на сонную воду, где цепенели ленивые карпы, просвечивая сквозь воду, голубоватые и зыбкие, словно полумертвые в своей мясистой бронзе.

Малый бассейн лежал повыше большого, в некотором от него расстоянии. Он был украшен по углам морскими изображениями, а в центре — тритоном, который подносил витуку раковину к губам, непомерно надувая при этом щеки.

Г-жа де Галандо, не любившая бесполезных издержек, оставляла эту гидравлическую игрушку разрушаться мало-помалу, но, открыв полусломанные трубы, можно было еще

добиться, чтобы тонкая струйка воды начала просачиваться из засоренной раковины. Этого было достаточно, чтобы позабавить Жюли, но не для того, чтобы наполнить бассейн, который летом совсем высыхал, так что ил его лупился под ногами.

Жюли спускалась туда, затем, взобравшись на спину тритона, ждала и хлопала в ладоши, когда Николай поднимал за железное кольцо каменную плиту и вводил туда нечто вроде ключа, приспособленного для этого употребления. Обвив шею своими маленькими руками и прижавшись своею щекою к щеке морского чудовища, она слушала со страстным вниманием.

Статуя, более или менее долгое время молчавшая, казалось, оживлялась, наконец, шумом таинственным и неразличимым, закипавшим в ее бронзовом теле. Вода медленно входила в нее, тихо поднималась с легким журчаньем, словно зыбкое внутреннее кровообращение. Мало-помалу она достигала груди, как бы разливалась там, потом с глухим рыганием проходила горлом, наполняла рот и выливалась в раковину, откуда стекала кристальными струями и ясными капельками.

Тогда Жюли топала ногами от радости, и, чтобы увести ее оттуда, Николаю приходилось закрыть трубы и обещать ей возвратиться вскоре к этому очаровательному удовольствию.

Время шло, близилась половина сентября, и Николай не пропускал ни одного дня своего добровольного служения. Лишь иногда мать спрашивала его, далеко ли подвинулось обучение Жюли. Она предполагала, что уроки кратки и непостоянны, и не думала, чтобы сын посвящал им более времени, чем было надо; она была довольна исполнением принятой на себя Николаем обязанности, и это ей казалось в ее сыне признаком серьезного характера. Николай, наоборот, заботливо скрывал свою дружбу с кузиною. То был потайной уголок его существования, и он ревниво оберегал эту маленькую тайну, так сильно занимавшую его сердце.

Впрочем, ему нечего было бояться нескромности. Сад был пуст. Старый садовник Илер один бродил по саду. Старик полыл или скреб дорожки. Поработав утром на огороде, днем он возился с граблями под окнами замка. Впрочем, о его близости давал знать резкий звук его работы. Притом же он ненавидел г-жу де Галандо за то запустение, в котором она держала сады, и почитал только память покойного графа. Он был неистощим в похвалах прежнему порядку жизни в замке, пришедшему теперь к такому умалению, словно графиня не боялась, что им всем перережут горло, раз она хотела жить с таким малым числом людей в таком большом доме и настолько далеко от деревни, что там не услышали бы криков о помощи.

Что касается г-жи де Галандо, то она все реже и реже выходила из дома. Воскресная обедня — и больше никуда. Хотя она и чувствовала себя очень хорошо и была и раньше совершенно здорова, но она впадала в болезни воображаемые, боялась холода, жары, дождя, солнца и ветра. Эта прирожденная недоверчивость возрастала с годами и дошла до того, что превратилась в какую-то манию, заставлявшую ее опасаться приближения людей вследствие эпидемий, которые они могли занести, сами того не зная, принося с собою заразу от других. Поэтому отказывалась она принимать у себя священника, который, по своему долгу, посещает больных. Когда из города приезжал по какому-нибудь делу нотариус, г-н Ле Васер, искусный делец, которому она доверяла и поручала значительные дела, она заставляла его клясться, что он недавно, у изголовья умирающего, не составлял завещания или не подписывал дарственной. Так жила она взаперти, беспокойная, законопаченная, и, вопреки всему, в довольно суровой обстановке, мало заботясь о своих удобствах, без всякого истинного снисхождения к себе самой, но зато с тысячью предосторожностей против неведомых зол, предупреждаемых рецептами, которыми была полна у нее книга и набита голова.

В самом деле, она обнаруживала странное пристрастие к лечению себя всевозможными лекарствами, охотнее прибегая к знахарю, чем к врачу, тем более что ее крепкое здоровье

нуждалось в лекарствах менее, чем ее причуды — в снадобьях. Она употребляла много времени на изготовление их во всех видах — отварах, мазях, примочках, пластырях, — целая своеобразная аптека. У нее была близ спальни настоящая фармацевтическая лаборатория, где она запиралась для составления панацей, действие которых она изучала на себе. Этим она занималась целые дни.

Итак, Николай и Жюли могли проводить дни как им хотелось, не опасаясь где-нибудь на повороте дорожки досадной встречи с г-жой де Галандо, от которой Жюли получала лишь наставления да резкие выговоры, а иногда и лекарства, ибо в известные дни тетка своевластно прописывала ей настойки из трав и соки растений, заставлявшие ее делать гримасы и без которых она обошлась бы превосходно, так как она была от природы здорова, свежа и крепка в своей розовой юности.

Сам Николай, в его годы, не был избавлен от материнского врачевания. Время от времени рано утром можно было видеть его, когда он, в халате, придерживая руками живот, поспешно пробежал по коридорам в уборную.

В дни принятия слабительного г-жа де Галандо не выпускала его совсем из замка, и он, праздный, торчал у окон, меж тем как Жюли гуляла в садах одна. Он пользовался этими вынужденными уединениями, чтобы писать аббату Юберте. Г-жа де Галандо читала письмо, обсуждала его содержание и стиль, и, вложив в него же листок с благодарностью аббату за семена, которые он присылал ей из Рима, где он находился еще вместе с г-ном де ла Гранжером, она заканчивала свое послание следующими словами: «Что касается племянницы моей, Жюли де Мосейль, о которой вы были добры спрашивать, то я могу сказать лишь весьма немного. Это маленькая особа, довольно посредственная, ничего не обещающая, хотя она и оказывается более сдержанною, чем можно было ожидать. Мой сын, занимающийся ее обучением, уверяет, что учиться ей будет нетрудно. Впрочем, ее пребывание здесь на этот раз подходит к концу. Не позже чем через неделю г-н дю Френей приедет за нею, чтобы привезти ее к нам опять в будущем году».

IX

Возвращение Жюли во Френей встречалось каждый год с радостью. К этому готовились за несколько недель. Г-жа дю Френей изобретала самые вкусные сласти. Буфеты наполнялись ароматными тарелками и благоухающими банками. Самое прекрасное в пристрастии г-жи дю Френей к сладостям было то, что ни она, ни ее муж до них не дотрагивались. Оба они не любили сладкого, и все эти вкусные вещи шли к столу соседей. Г-жа дю Френей раздавала их всем, кто желал, и можно было видеть нищих и бедных крестьян, вошедших во двор замка, чтобы выпросить кусок хлеба, а выходявших оттуда с набитым ртом и с котомкою, полною самых тонких лакомств.

Г-н дю Френей сам первый смеялся над этой придурью своей жены и охотно подшучивал над нею, что сердило ее и заставляло краснеть, пока она, наконец, не соглашалась с тем милым безрассудством, которое муж ее вкладывал в песни, в ариетты и в рефрены.

Он также праздновал на свой лад возвращение малютки. Он с разнеженным лицом настраивал свою скрипку, повертывался на каблуках и насвистывал плясовую песенку, которая замирала на его устах по мере его приближения к Понт-о-Белю, так как г-жа де Галандо его сильно пугала, и он всегда опасался, что из-за какой-нибудь причуды эта дама откажется без оговорок отдать ему милую племянницу, с которою ей, конечно, нечего было делать, — ни ей, ни этому длинному простаку Николаю.

Едва Жюли выходила из берлина, [5] зацелованная, облелеянная г-жою дю Френей, которая осыпала ее нежными именами и страстными ласками, ее вели в приготовленную ей комнату, покойчик элегантный и кокетливый. Конечно, не нашли бы во Френе больше пропорций Понт-о-Беля, но все там было, наоборот, красиво, удобно и нарядно, устроено по вкусу того времени, уставлено изящною мебелью, обито светлыми тканями.

Гостиная-ротонда выходила окнами в длинный сад, в конце которого г-н дю Френей соорудил павильон для музыки. Колонны поддерживали восьмиугольный фронтон. Здание было украшено лепными орнаментами и гирляндами и снабжено пюпитрами для игры на различных инструментах. Г-н дю Френей проводил там много часов, занимаясь музыкою. Жюли приходила часто побродить вокруг; она слушала гармонию, что просачивалась наружу сквозь высокие окна, она видела, как г-н дю Френей стоит, прижав скрипку к жабо, и как взмахивают его превосходные кружевные манжеты вслед за движением смычка. Он замечал девочку и делал ей знак войти.

Она входила в павильон не иначе как с почтительным любопытством и на кончиках своих маленьких ножек, ничего не трогала и приподнималась та цыпочки, чтобы посмотреть на черные щели виолончелей и на окошечки контрабасов.

Время от времени несколько любителей собирались к г-ну дю Френею, чтобы дать концерт. Там бывали г-н де Пинтель и г-н Ле Васер. Они с таинственным видом вводились в маленькую залу, и каждый садился на высокий стул перед пюпитром. Соответственно их числу они составляли трио, квартет или квинтет. Жюли любила смотреть, как они отбивают такт подошвою, вскидывают головою от удовольствия и подмигивают, дойдя до удачного пассажа.

Иногда г-н Ле Мелье, бывший советник парламента, живший недалеко от г-на дю Френея, приходил сыграть соло что-нибудь на рылейке. Он в самом деле отлично играл на этом деревенском инструменте, и Жюли очень забавляли извлекаемые им из рылейки гнусавые звуки. В эти дни девочка ложилась поздно, потому что г-н Ле-Мелье являлся во Френей только вечером. Он проводил свои дни библиотеке, разбирая воображаемые процессы, потому что он не мог утешиться, после того как в раздражении продал свою должность и в досаде удалился в свое сельское изгнание. Чтобы рассеять свою тоску, он один представлял собою весь парламент: он выслушивая стороны, направлял следствие, кассировал, отсрочивал, зарегистривывал, утверждал, брал на себя ведение дела, прения и приговоры, отдавал заключения после больших и бесполезных изысканий по этим выдуманым тяжбам и этим небывалым преступлениям, которые в его воображении становились наиболее сложными и по возможности наиболее запутанными. Потом, еще одушевленный этими одинокими заседаниями, он обедал быстро и один, брал свою рылейку и, чтобы размять ноги, играл на ней бесконечные пляски, которые он танцевал в воображении, если только не отправлялся во Френей провести вечер в обществе.

Он пускался в путь, полями и дорожками, уже в темноте. Рылейка на перевязи, запертая в кожаном мешке, растягивала избыточные складки его толстого дорожного плаща. Собаки лаяли на дворах спящих хуторов. Болонка г-жи дю Френей, отлежавшая себе бока под юбкою своей хозяйки, поднималась на лапы и, показывая сквозь шелковистую шерсть розовую морду, яростно тьякала на дверь гостиной,

Она открывалась, и видно было, как в сенях г-н Ле Мелье освобождается от своих уборов и снимает подбитые мехом калоши, потому что осенняя грязь останавливала его не более, чем осенний дождь или зимние снега.

Несмотря на позднее время, отправлялись в павильон. Г-н дю Френей нес фонарь. Г-жа дю Френей и Жюли, закутанные, шли за ним. Сад светился темною белизною, серебристою тенью под звездным небом. Снег хрустел под ногами. Фонарь раскачивал свой движущийся

ответ. Слышен был звонкий смех Жюли, потом павильон освещался a giorno. [6]

Г-н Ле Мелье вынимал тогда из своего мешка рылейку. Она появлялась, бокастая и пузастая, круглясь толстым жуком, звучным и спящим. Он подвязывал ее себе к животу ремнем, потом поворачивал ручку и заставлял ворчать бас и среднюю струну.

Павильон оглашался музыкою хрупкою и скрипучею, неровною и хриплою, и г-н Ле Мелье начинал исполнять свой бесконечный репертуар. В полночь, по инстинкту, он вынимал из своего бокового кармашка толстые часы, подносил их к своему уху и заводил на бой. Они вызванивали тонкий звон, отдаленный, деревенский, если можно так сказать, как будто бой часов доносился ветром, умаленный и ослабленный, с какой-нибудь сельской башни, там, в ночи.

Тогда г-н Ле Мелье возвращался в дом, надевал свой плащ и свои калоши и уходил крупными шагами, выпивши сначала один или два стаканчика ликеров г-жи дю Френей. Одну минуту была слышна снаружи его походка, потом шум затихал. Становилось совсем тихо, а немного погодя раздавался отдаленный лай собаки, и г-н дю Френей говорил:

— Вот собака с хутора приветствует г-на Ле Мелье; он повернул на дорогу.

И пока г-н Ле Мелье быстро шагал через обледенелое поле, г-н дю Френей осторожно брал Жюли, заснувшую в кресле, и тихонько уносил в ее комнату, где г-жа дю Френей укладывала ее спать так, что девочка и не просыпалась.

Итак, Жюли очень нравилось жить во Френе. Г-жа дю Френей заботилась о ней всячески, и, между прочим, одевала ее кокетливо, к чему девочка уже не была безучастна. Жюли возвращалась каждый раз из Цонт-о-Беля с платьями, которые суровая г-жа де Галандо заказывала ей по старой моде и которые ей шили две старые служанки, не знавшие искусства приукрасить простую ткань и освежить вышедший из моды покррой. Г-жа дю Френей, наоборот, заботилась о том, чтобы одежда ребенка подчеркивала ее природную прелесть. Поэтому она сама тщательно принаряжала ее. На этом она не останавливалась и равным образом беспокоилась о ее росте, о ее стройности и о цвете ее лица и была озабочена тем, чтобы девочка правильно развивалась. При ее возвращении она неукоснительно подвергала ее роду испытания, ощупывая и поворачивая ее во все стороны, чтобы дать себе точный отчет в состоянии всего ее маленького тела.

Жюли покорялась этому обзору охотно и терпеливо. Она любила наряды, рано заметив, что старые друзья г-на дю Френея уже заглядываются на ее красивое личико. Они помогали принаряжать ее, даря ей маленькие прибавки к ее туалету и кое-какие мелкие драгоценности.

Так все шло хорошо, пока ей не исполнилось тринадцать лет. В этот год она вернулась из Понт-о-Беля сильно подурневшею, и все старания г-жи дю Френей не могли ничего в этом изменить. Она выросла на несколько дюймов, но ее тело и ее лицо были, так сказать, в беспорядке. Рост ее шел нестройно. То был невыгодный возраст, и в Жюли эта невыгодность была примечательна. Вместе с этим она стала печальною. Тщетно старались развлечь ее. Она, столь общительная, замкнулась в себе. Прежде такая милая, она стала хмурою, и добрая чета дю Френеев отправляла ее в Понт-о-Бель с некоторым беспокойством. Жюли уверяла, что хочет поступить в монастырь, и они боялись, как бы наставления г-жи де Галандо не толкнули ее на этот путь.

Бедному Николаю пришлось подчиняться в продолжение трех месяцев печалю своего маленького друга. Он пользовался этим, чтобы обучить ее чему-нибудь. Это ему удалось. Вскоре она бегло читала и писала. Прежние игры не возобновлялись. Николай очень хотел найти что-нибудь для развлечения печальной кузины, но он был несколько беден на выдумки и не находил необходимых пособий ни в себе, ни в других. Поэтому Жюли возвратилась во

Френей такую, какую выехала оттуда.

Однако г-н дю Френей, хотя и порядочный человек, но знаток в девочках-подростках, не замедлил заметить перемену, которая мало-помалу совершалась в Жюли и могла бы остаться неприметной для менее опытного взгляда. Он находил ее интересною под ее преходящею личиною дурнушки. Таящаяся красота, скрывающаяся прелесть, прячущееся очарование являлись ему дремлющими в этом лице, еще не определившемся и, на взгляд всех других, ничего не обещающем. Г-н дю Френей подстерегал неожиданность этого близкого расцветания, блеск которого он предвидел и аромат которого предчувствовал, и он усмехался про себя, когда г-жа дю Френей жаловалась на нескладность Жюли, довольствуясь при общем неведении смакованием прелестной поры этого предвесенья, когда девочки становятся девами.

Зима еще прошла для Жюли в каком-то отвращении ко всему, которое ничто не могло победить и которое сказывалось в ее общей унылой неловкости и бледноватой томности. Она оставляла в глубине шкапов красивые платья, которые добрая г-жа дю Френей заказывала для нее, и упрямо носила скромные одеяния, вышедшие из-под неискусных ножниц древних горничных в Понт-о-Беле. Случалось, что она целыми днями сидела в своей комнате взаперти, и напрасно г-жа дю Френей снизу лестницы надрывалась звать ее отведать какую-нибудь конфетку или сказать свое мнение о каком-нибудь лакомстве. Жюли не отвечала, и г-жа дю Френей возвращалась к своим печам, безнадежно помахивая своими прекрасными руками, обсыпанными мукою.

Г-н дю Френей с интересом следил за этими преходящими невзгодами. Иногда удавалось ему привести с собою Жюли в музыкальный павильон. Она грустно садилась на табурет, он становился перед нею и брал свою скрипку.

Вместо того чтобы рассеять меланхолию девушки мелодиями живыми и легкими, он питал ее, наоборот, песнями наиболее нежными и наиболее томными. Он баюкал ее долгим, страстным ропотом и старался играть с нежностью и с чувством. Вся эта любовная музыка наполняла маленький звучный павильон. Мало-помалу смеркалось, и г-н дю Френей продолжал в сумраке играть наизусть. Когда он приостанавливался, темное молчание отвечало ему потрескиванием какого-нибудь деревянного инструмента, или даже он слышал иногда долгий вздох Жюли. При свечах потом он видел ее лицо, еще влажное от слез, — поплакали очаровательно-прекрасные глаза. Она перечувствовала в эти тревожные дни всю меланхолию, которую ее существо, от природы, могло выделить, перечувствовала как бы для того, чтобы наперед освободиться от нее навсегда. Это были ее единственные слезы, и позднее жизнь уже не исторгала их. Ни удовольствия, ни страдания никогда не вызывали ее слез. Даже сладострастие опьяняло ее, не разнеживая, и она всегда предлагала любви только улыбку своих прекрасных уст.

Однажды, когда г-н дю Френей поднялся в комнату Жюли, чтобы предложить ей послушать музыку в павильоне, он нашел дверь полуоткрытою и толкнул ее, не делая шума. Девушка де Мосейль стояла спиною к нему, с зеркалом в руке. Ее волосы вились на затылке. Она была в корсете, и г-н дю Френей увидел, отраженные в стекле, тонкую улыбку и очаровательную грудь, на которую она смотрела и на которой она трогала удивленным пальцем рождающиеся выпуклости ее маленьких персей, прекрасно сформированных.

Г-н дю Френей тихо затворил дверь, спустился, напевая, с лестницы и вышел в сад. Погода была мягкая. На деревьях вспухали почки. Март кончался в теплых ливнях и в жарком солнце. Г-н дю Френей чувствовал себя легким и резвым и решился горячо взяться за то, что он называл про себя весною Жюли.

Случай представился превосходный.

Во всей округе только и говорили, что о прибытии в город на постой Королевского Лотарингского полка, — тревоги войны и передвижения войск привели его сюда. Г-н Ле Мелье, присутствовавший при входе в город этой кавалерии, не уставал говорить об этом и повторял на своей рылейке военные наигрывания. В самом деле, очень хорош был этот Королевский Лотарингский полк, единственный во всем государстве, который носил белые сумки на своих штандартах. Он состоял по уставу из пяти эскадронов, четыре — тяжелой кавалерии и один — легкой; каждый эскадрон образовывал роту, которою командовали капитан, штабс-капитан, первый поручик, второй поручик и два подпоручика; рота состояла из одного вахмистра, одного квартирьера, восьми ефрейторов, одного кадета из дворян, ста пятидесяти двух строевых, двух трубачей, одного литаврщика с его литаврами, одного фельдшера и одного кузнеца.

Это было великолепное зрелище, которое вызвало весь город к окнам и воротам, чтобы видеть, как они рано утром проходят по главной улице. Они двигались в полном порядке. Копыта лошадей извлекали искры из мостовой. Среди них было много лошадей в яблоках. Строй заполнял улицу во всю ширину и даже захватывал тротуар. Тучные крупы задевали стены домов. Пахло кожей и теплою шерстью. Когда солдаты вышли парадом на площадь, их стало видно лучше. Показался полковник, маркиз де Видрекур. Он носил эполеты из серебряной плетеной тесьмы (вперемежку нити с узлами и прямые нити) без шитья и блесков; подполковник носил такую эполету только на левом плече, тогда как эполета первых поручиков была ромбическая, в клетку из шелка огненного цвета.

Всадники носили камзол синего королевского сукна, с золотистыми отворотами и обшлагами, плащ светло-серого сукна, стеганный синим, жилет и штаны белого сукна, попоны на лошадях также из синего сукна. Волосы были покрыты маленькими мешочками из почерненного опойка, называемыми в просторечии жабою. Мужчины носили шляпы с четырех углах; передний — круто поднятый, так же как и задний, левый — горизонтальный и правый — наклоненный, чтобы стекал дождь.

Солдаты были очень хорошо приняты. Все постоянно наведывались на их квартиры. Дамы развлекались рассматриванием барачков, лошадей на привязи, штандарта, охраняемого всадником со шпагою в руке. Они не боялись ходить по конскому помету, чтобы поближе ознакомиться с привычками лагеря, офицеры которого принимали их радушно. Что касается офицеров, то спорили из-за удовольствия их столовать, и не один из них находил там хороший ужин, хорошую постель и остальное.

Между ними оказался некий г-н де Портебиз, с которым г-н дю Френей познакомился некогда в Париже, во время одной из своих поездок к инструментальным мастерам столицы, где он запасался музыкальными приборами. Он, остановившись в одной гостинице с офицером. Они понравились друг другу Г-н дю Френей продолжил свое пребывание в Париже и возвратился оттуда довольно пристыженный, с карманами, опустошенными в игорных притонах, куда его ввел его новый приятель, увлекавшийся ими не менее, чем девицами, завсегдайками этих мест, всегда готовыми вытащить обратно выигранное у счастливого понтировщика.

Г-н де Портебиз таковым быть перестал. Встретясь снова с г-ном дю Френей, он не скрыл от него своих неудач, откровенно виня в них неумеренное пристрастие свое к игре и к женщинам. Эти превратности не слишком испортили его хорошее настроение. Он был еще, перевалив за сорок лет, довольно красивый и полный мужчина, с хорошою выправкою, не дурак поест и выпить, и очень естественно, что именно ему г-н дю Френей открыл проект дать через неделю после Пасхи бал господам офицерам полка. Толстый Портебиз, как его звали, живо откликнулся на это и предложил взять на себя подробности торжества.

Приготовления шли своим чередом, и все было устроено к назначенному дню.

Танцевали при фонарях. Длинная галерея зеленых трельяжей была построена в саду

Фрелей. В нее вели четыре портика, через которые входили и выходили. Обитые бархатом банкетки стояли у стен. Пять больших люстр сияли среди листвы, и гирлянды из зелени переплетались на потолке. В одном конце возвышалась эстрада для музыкантов. Весь сад был иллюминирован. Лампочки очерчивали форму цветников, и, так как ночь была на редкость мягкая и прекрасная, все прошло как лучше нельзя желать.

Кареты привозили дам из города и из окрестности. Офицеры и дворяне учтиво толпились вокруг них, и от всего этого раздавался радостный шум шагов, смеха и музыки.

Бал только что был открыт г-ном де Видрекуром и визави г-жою дю Фрелей, когда вошла Жюли.

Она стояла, освещенная под портиком из листвы, запыхавшаяся, потому что она прибежала сюда одним духом, вся смущенная и словно готовая заплакать. Ее высокий и узкий корсаж обрисовывал ее талию, длинную и тонкую над пышностью фижм. Ее нагие и теплые плечи слегка дрожали. Ее лицо было очаровательно и весьма соответствовало свежести всей ее фигуры. Она оставалась там, неподвижная и краснеющая, потом легкая гримаска ее прекрасных губ разрешилась в улыбку. Она держала в руке маленький закрытый веер, который она открыла, и вошла в бальный зал движением прелестным и смелым.

Ее появление было встречено удивлением и восторгом; как было узнать маленькую Жюли в этой прекрасной девице де Мосейль? Ее непредвиденная красота развернулась внезапно. Г-н дю Фрелей ликовал. Вокруг нее толпились. Г-н де Видрекур отпустил ей чисто военный комплимент. А толстяк Портебиз, который еще накануне обращал на Жюли столько же внимания, как если бы ее совсем не было на свете, теперь объявлял каждому, желавшему его выслушать, что он ослеплен этим чудом, и от него-то девушка выслушала первые любезности. Весь вечер он не отходил от нее, и под руку с нею, когда окончился бал, отправился на луг посмотреть на сельский праздник, где танцевали слуги и крестьяне.

Там г-н Ле Мелье был зачинщиком веселья. Вскарабкавшись на бочку, украшенную лентами и обвитую плющом, важный сановник неутомимо играл на рылейке. Он отмечал такт ногой и головой, а вокруг него суетились пары, и в ночи, светлой от факелов, слышался по земле стук сабо и грубых башмаков, сливавшихся в воздухе с ворчанием баса и гнусавым звуком других струн рылейки. И г-н Ле Мелье, не переставая, до утра заставлял бесноваться весь этот народ под звуки своей славной рылейки от Ганна.

Х

На другое утро во Фрелее спали долго, а толстый Портебиз спал плохо, едва несколько часов, так что, проснувшись и побривши бороду, он вышел подышать свежим воздухом и развеять то, что еще оставалось от этого плохого сна.

Покинув трактир, в котором он остановился, предпочтя его со своей стороны более приятным помещениям, предложением и удобствами которых воспользовались другие офицеры, он направился по улице, которая вела к месту прогулок.

Она была почти пуста, и редкие прохожие, попадавшие на ней, не тревожили ни его задумчивости, ни его дурного настроения. Первая рассеялась, но второе еще длилось, и на учении, куда он должен был отправиться, оно выразилось в суровом брюзжании, в крепких побранках или в замахивании тростью над спинами неловких, оказавшихся недостаточно проворными, вдевая ногу в стремя или взнуздывая лошадь. Причиной его неудовольствия были не столько проступки по службе или вчерашняя усталость, сколько отвратительное

впечатление, которое он получил перед зеркалом, пока цирюльник брил ему бороду. Обыкновенно Портебиз охотно забывал свои годы. У него было крепкое здоровье и хороший аппетит, и он не чувствовал никакой телесной слабости; но эти волосы, пробивавшиеся у него на подбородке, жесткие и уже седые, предупредили его утром, что ему уже не двадцать лет. По большей части он не заботился об этом; но сегодня он не чувствовал себя равнодушным к этому и сделал горькую гримасу дерзкому зеркальцу за то, что оно противопоставило его притязаниям лицу, которое их уже не оправдывало.

Он видел в зеркале круглое красноватое лицо, морщинистые веки, отяжелелый рот, нечистый подбородок. По правде, изо всей его прежней наружности остались только живой огонь глаз, прекрасный и смелый изгиб носа и мощная ширина лба. Когда он стоял, он, в общем, имел еще приемлемый вид, потому что он ловко нес свою тучность, но все же он сожалел о своем лице былых лет, красотой которого он столько побеждал, а эти победы привели к тому, чем оно стало теперь. Обычно эти мысли мало занимали его, и если он думал сегодня о неудобствах зрелого возраста, то только потому, что вся прелесть юности предстала ему накануне вечером в образе девицы де Мосейль.

Не то чтобы толстяк чувствовал себя влюбленным. Он уже давно от любви отказался ради наслаждения, а чаще всего распутство заменяло ему и то, и другое; но он испытывал к Жюли живой интерес и был бы не прочь заинтересовать ее в свою очередь, быть может, просто потому, что все интересовались ею. Г-н де Видрекур, полковник, говорил о ней, не умолкая, и в течение нескольких дней в городе только и было разговоров, что об удивительной красоте девицы де Мосейль, так что если бы г-жа де Галандо и Николай жили в меньшем отдалении от всех и каждого, то они могли бы кое-что услышать об этом.

Да и дю Френеи не более думали об этих толках. Они вернулись к своему обычному образу жизни, но Жюли так и осталась словно преображенная. В ней теперь жила очаровательная веселость; казалось, что этот вечер огней и танцев озарил и оживил ее некою новою жизнью.

Она сбегала с лестниц вихрем, смеялась всему и пела во весь голос. Г-н дю Фрней из музыкального павильона, где он бойко исполнял на скрипке самые живые пьесы своего репертуара, видел, как она пронесится взад и вперед по саду походкою легкою, как бы летящую. Она наклонялась, срывала цветок, долго нюхала его и кокетливо искала ему место у своего корсажа или в волосах; тогда очаровательно было смотреть на нее; внимательная и нерешительная, затем довольная, она поворачивалась на каблуках и исчезала за грабиною. Добрый г-н дю Фрней, прервавший было игру, опять брался за смычок, а потом без причины принимался хохотать один, сам с собою, да так, что в окнах павильона звенели стекла, ибо у этого лукавого человека смех был легкий, шумный и словно весь растворенный благоволением и добротою.

Г-жа дю Фрней также была восхищена этою счастливою переменою. Прекрасная и очаровательная в своей юности, она любила красоту и юность в других. От ее юности и красоты в ней осталась зрелость мягкая и нежная. Ее лицо сохранило свои прежние красивые черты, а искусные румяна удерживали на ее щеках цветы, которые некогда цвели на них. Она была похожа на свой собственный пастельный портрет.

Неожиданная красота Жюли изумляла г-жу дю Фрней. Она не уставала любоваться ею, и по десять раз на день, охваченная желанием видеть ее, искала ее в саду или в доме, поднималась в ее комнату узнать не там ли она.

Г-н дю Фрней, вместе с женою смеявшийся над этим радостным волнением, в котором жила теперь Жюли, заметил очень пронизательно, что наивысший расцвет этого волнения довольно правильно совпадает с часами, когда толстый Портебиз появлялся в замке.

Из его прежних отношений с г-ном дю Фрнеем и из принятого им с такой готовностью

участия в устройстве бала возникла некая близость между ним и четою дю Френею. Его прибор всегда был на столе, и он оставался ужинать запросто, так что зачастую он приходил после полудня и проводил там почти весь свой день. С довольно ловкою откровенностью он рассказал г-ну и г-же дю Френей о своем восхищении перед Жюли, уверял, что никогда не видывал более красивого лица, столько свежести и прелести, сообщал им городские разговоры о ней, присоединяя к этому свои похвалы, тщательно стараясь при этом накинуть сверх того, что могли говорить, чтобы придать своему хвалению тон шуточного преувеличения, вид игры или забавной шалости, который позволял бы ему настаивать на своей влюбленности в девицу де Мосейль, но чтобы при этом не могли подумать ни о чем серьезном и не могли бы принять это иначе, как развлечение незначительное и не имеющее последствий.

Г-н дю Френей, человек простой и бесхитростный, был обманут этими уловками ложного добродушия и поддался тому, что он считал ребячеством. В его голове не вмещалась мысль, что Портебиз — уже в летах, разорившийся в картежах, имеющий сомнительную репутацию, но в сущности добрый малый, — стал бы притязать на нечто, выходящее из границ дружеской любезности, с Жюли, которой он годился в отцы. Что касается г-жи дю Френей, то она, видя, что Жюли забавляют частые посещения и комплименты офицера, предоставила им полную свободу. Муж и жена, таким образом, каждый с своей стороны, потворствовали этой неосторожности. Они были добрые люди, общительные и веселые, и не подозревали и не предвидели ничего опасного в этой комедии; поэтому они предоставили Портебизу все случаи приближаться к Жюли, насколько ему этого хотелось.

Первое, что использовала в себе самой Жюли, было кокетство, и эта склонность девушки, сказать по правде, направила склонности Портебиза и поощрила его намерения. Он начал являться во Френей без определенной цели, чтобы рассеяться от скуки, навеваемой на него однообразием службы и тем, что в городе он находил мало возможностей следовать своим привычкам и имел мало средств, чтобы их удовлетворять хоть как-нибудь, потому что в это время карман его был совсем пуст и дела шли так плохо, как никогда.

Пребывание во Френею было для него, стало быть, весьма кстати. Стол был хорош, хозяева гостеприимны, а присутствие красивой девушки прибавляло к этому некий интерес, природы которого, думая об этом, он не объяснял себе, но действие которого он чувствовал. Вскоре, однако, он, мало-помалу, стал предвидеть в том, что вначале и сам, быть может, считал забавною шалостью, некий поворот и неожиданные возможности, и с тех пор он все свои заботы направил на то, чтобы хорошо сыграть партию, в которой он если ничего не выиграет, то, по крайней мере, ничего не проиграет.

С другой стороны, верно то, что Жюли легкомысленная и наивная, видела во всем этом лишь удовольствие быть восхваляемою и предалась естественной страсти женщин сознавать, что ими любуются, и слышать, как им это говорят; но ее партнер, дерзкий и испорченный, хотел, под прикрытием невинной игры, завести дело возможно дальше, раз что ему представился некоторый шанс превратить в приключение то, что вначале было лишь невинным кокетничаньем девочки, чувствительной к ухаживаньям единственного человека, который их мог расточать перед нею.

После первых подходов Портебиз принялся действовать планомерно, но вскоре он заметил, что говорит на языке, намеков которого Жюли, очень невинная и совсем неопытная, вовсе не понимала. Портебиз привык говорить с женщинами или с девицами, освоившимися с любовью; но Жюли ничего не знала, и, прежде чем ее соблазнить, надо было сделать ее способною к тому, чтобы стать соблазненною.

Оставались неожиданность или случайность. Он не прочь был ими воспользоваться, но с такою неопытною особою, как Жюли, он чувствовал в этом риск. Было, конечно, в ней некоторое предрасположение к сладострастию, которое сказывалось в ее движениях и в ее

обращении какою-то нескромностью, очаровательною и совершенно естественною. Жюли внушала мысль о наслаждении; но было неизвестно, чувствует ли она к этому влечение или желание и позволит ли ему необходимое для этого дерзновение.

Итак, Портебиз принял единственное решение, которое ему представлялось. Так как он не мог рассчитывать для привлечения к себе Жюли ни на свой возраст, ни на свою наружность, ибо мало вероятия было в том, чтобы она когда-нибудь испытала по отношению к нему одно из тех чувств, невольных и страстных, которые делают из вчерашних незнакомцев завтрашних любовников, то он мог надеяться лишь на неосторожность кокетства или на любопытство невинности, и он поставил себе долгом пробудить и подстрекнуть их.

При этом-то и присутствовали, ничего о том не подозревая, г-н и г-жа дю Френей; г-н дю Френей смотрел из музыкального павильона, как Жюли и любезник прогуливались в саду или исчезали за грабинами; г-жа дю Френей подавала им отведывать свои самые совершенные торты и самые вкусные сласти и оставляла их наедине, облокотившимися о стол, перед корзинами и чашами, болтать на полной свободе.

Вечером в гостиной они усаживались за ширмами. Г-н дю Френей дремал, перелистывая партитуру. Г-жа дю Френей наполовину засыпала над рукодельем. Звонкий смех Жюли или шумная веселость Портебиза время от времени будили их, и они поздравляли друг друга взглядом, с маленькими знаками удовольствия, видя, что Жюли занята, весела и радостна. Когда Портебиз уходил, они не уставали при свечах, поднимаясь спать, хвалить того, кто именовался в доме фамильною кличкою «Толстый Друг».

Толстый Друг не из того был теста, из которого сделаны любовники робкие и томные, вздыхающие, молящие, покорствующие, жалующиеся; развращенность его была широка и деятельна. Он мало разговаривал о чувствах и не растекался в тонкостях; совсем наоборот, речь его была прямая и острая, почти грубая, так что через него Жюли знакомилась не столько с упоением любви, сколько с реальностью ее осуществления.

Ученица делала большие и быстрые успехи. Толстый Друг подвигался вперед смело и цинично, и в короткое время он подвинулся так далеко, что мог уже помогать своему преподаванию рассказами, распутными и вольными, которые он тайком всовывал в руки Жюли и полный набор которых у него имелся в чемодане. Странно, что он не пытался перевести с нею на дело то, чему он ее учил этими разными способами. Он имел свое особенное мнение о любви и требовал от нее многого; он хотел от нее всего сразу. Молоденькая глупышка мало прельщала его, и он был не в таких летах, чтобы довольствоваться проказами школьника, а темперамент его не позволял ему забавляться с коварством старика.

Меж тем Жюли проворными пальцами перелистывала книжонки, которыми ее снабжал Толстый Друг. Вечером, в постели, она переворачивала их беглые страницы. Свеча горела до поздней ночи, и она засыпала, ласкаемая сладострастными образами. Она изучила все уловки, которыми обманывают опекунов и мужей, — задвинутые или отодвинутые задвижки, переодевания и маскарады, тысячу любовных плутней, интриги, в которых любовь видит удовольствие, свидания и хитрости, дерзость и тайну наслаждения, подробности устройства домов свиданий, описание интимных ужинов, — все, что галантная изобретательность придумывает, чтобы обострить и облегчить желание. То были книги игривые, вольные или шаловливые, нескромность которых Портебиз пояснял ей потом, прикрашивая ее анекдотами из своей личной жизни — приправляя ее своею смелою и забавною резвостью, — странные уроки, где смешивалась распущенность и веселость и от которых Жюли становилась мечтательною или принималась громко хохотать, уединенные разговоры, которые добрейший г-н дю Френей истолковывал для себя как невинную идиллию девочки и старого беззаботного холостяка, в сущности доброго малого, несмотря на свое прошлое игрока и гуляки.

Однако дни проходили, и Толстый Друг начинал чувствовать нетерпение. И вот он решил помочь Жюли лучше представить себе все то, чем он наполнил ее ум, и подставить ее взорам самый образ ее мыслей. За книгами, которые он ссужал ей украдкой, последовали гравюры, которые он приносил ей тайком.

Он имел портфель, довольно туго набитый рисунками всех родов, от галантного до эротического, от уловок кокетства до практики наслаждения. Он показывал их Жюли, один за другим. Он весьма облегчил свою задачу, поселившись в самом Френе и рассчитывая воспользоваться пребыванием под одною и тою же кровлею. Наконец, он откровенно объяснился с Жюли, которая теперь отлично понимала, чего он хочет. Он предложил ей наслаждение, обещая сохранить тайну.

То было среди грабин. Толстый Портебиз сделал все, что полагается, стал на колени, говорил о пламенном своем чувстве, был настойчив и страстен. Жюли выслушала его. Из музыкального павильона слышалась скрипка г-на дю Френея. Воздух был мягкий и теплый. Девушка де Мосейль имела у корсажа прекрасную розу, которая от резкого движения Портебиза осыпалась наполовину. Жюли с насмешливым реверансом убежала из засады, громко смеясь, и Толстый Друг поднялся, рассерженный и раздосадованный, тем более что приближалось время, когда Жюли надлежало возвратиться к г-же де Галандо.

Однако первым уехал Портебиз. Несколько дней спустя после события в роце Королевский Лотарингский полк получил приказ сняться с лагеря и оставить свои квартиры. Портебиз был разъярен этою помехою, которая сразу положила конец его проектам. Он ругался и чертыхался, укладывая свой багаж, сожалея не об опасном посеве, которым он отравил юную душу, но о своей злополучной заботливости, с которою он так хорошо подготовил Жюли к любви, и о том, что сорвать с нее плод суждено, без сомнения, другим.

Карета, отвозившая девушку де Мосейль к г-же де Галандо, отправилась в путь в то же утро, когда королевские лотарингцы выступили в поход, так что на одном перекрестке повстречала полк. И так, надо было подождать, пока он пройдет, чтобы продолжать путешествие. Эскадроны производили сильный шум среди утренних полей. Литаврщики чередовались с флейтчиками и трубачами. Сухой топот лошадей звенел по камням. Порою какая-нибудь кобыла ржанием звала одного из толстых першеронов, запряженных в карету. Полковник, узнав г-на дю Френея, подъехал к дверцам кареты приветствовать его. Г-н де Видрекур повторил Жюли тот же комплимент, что и в вечер бала. Доблестный маркиз был мало разнообразен и повторял этот комплимент всем женщинам, придумав его однажды и считая с тех пор бесполезным утруждать себя придумыванием нового.

Жюли смотрела на проходящие роты. Всадники были очень красивы на своих лошадях, одноцветных или в яблоках. Серебряные пуговицы на синем сукне с золотистыми отворотами блестели на солнце. Мешочки из лакированной кожи, в просторечии называемые жабами, тряслись на загорелых затылках. Четырехугольные шляпы возвышались над воинственными лицами. Она улыбалась проезжавшим мимо офицерам.

Портебиз ехал в хвосте, так как Толстый Друг командовал последнею ротою, и он, в свою очередь, приблизился к карете, гарцуя на своей великолепной саврасой лошади. Жюли еще раз увидела его широкое красноватое лицо со сморщенными веками, с отяжелелым ртом, с большим надменным носом и живыми глазами.

Она облокотилась о раму окна, к корсажу у нее была приколотая роза, как та, что была у нее в грабиновой роце, и, когда Портебиз прощался с нею, она со звонким смехом протянула ему полуосыпавшийся цветок. Портебиз взял его и небрежно вдел в петлицу шляпы. Девушка де Мосейль чувствовала на своем лице горячее дыхание нетерпеливого скакуна, которого всадник едва сдерживал, потом, после краткого: «До свиданья, мадемуазель Жюли!», оборванного свистом хлыста, она видела, как животное взметнулось, поднялось на дыбы,

копытами вверх и крупом вниз, и как г-н Портебиз, пустив ее в галоп, возвратился на свое место, не обернувшись в ее сторону.

Когда г-н дю Френей, печальный, возвратился из Понт-о-Беля, где он оставил Жюли на три месяца на попечении г-жи де Галандо, то жена ожидала его и, ничего не говоря, провела его в спальню девицы де Мосейль. Комната была пуста и уже приведена в порядок, шкапы замкнуты, постель убрана, и, войдя в нее, г-жа дю Френей подняла подушку. Маленькая книжка лежала на белой простыне. Г-н дю Френей взял брошюру и рассеянно раскрыл ее. Она была покрыта пятнами и отпечатана на плохой бумаге, как те сборники «Рассказов Добрай Няни», что продают коробейники. Он прочитал несколько страниц: по мере того как он читал, лицо его выражало остолбенелое изумление; потом, всплеснув руками, он выронил книжонку, и она упала на пол, открытая на титульном листе, с заглавием крупными буквами: «Советчик Любовников», и под заставкою в виде цветочной корзины: Елевтерополис, год 2000; но удивление г-на дю Френей еще удвоилось, когда его жена показала ему гравюру, где он увидел пастуха и пастушку лежащими на холме, среди посохов и котомок, в положении творящих обряд любви, изображенном столь натурально, что ничего не терялось для взгляда, а внизу, крупным, им хорошо знакомым почерком, который они тотчас признали, следующие слова, начертанные несколько раз: «Милая Жюли, почему бы нам не поступить так же!»

XI

Николай де Галандо ждал на переднем дворе приезда Жюли. Время от времени он вынимал часы и подносил их к уху, так как ожидание казалось ему долгим. Никакой шум не тревожил тишины во дворе. Трава слабо пробивалась на солнце, между плитами песчаника. Эти плитки впервые привлекли внимание Николая. Они были разных цветов, много было серых, несколько синеватых, а местами были почти розовые. В одном углу два голубя клевали что-то. Николай, прогуливаясь, приблизился к ним; тогда они тяжело поднялись, низко пролетели над самою его головой, шумно махая крыльями, и опустились в противоположном углу, где его шаги снова спугнули их, и так продолжалось до тех пор, пока они, растревоженные, не улетели совсем. Николай, оставшись один на дворе, стоял неподвижно, словно оцепенев от зноя.

Наконец щелканье бича и громохание колес возвестили приближение кареты. Г-н дю Френей нежно поцеловал Жюли, и Николай один остался лицом к лицу с нею.

Два голубя, прилетевшие снова и усевшиеся на крыше служб, тихо ворковали.

Николай не узнавал своей кузины в этой красивой особе, веселой, смелой, со свободными манерами, которая стояла перед ним румяная, с алыми губами, в вырезном корсаже, полуоткрывавшем ее пленительную, расцветающую грудь. Перед ним уже не было маленькой прошлогодней плаксы. Его обычная робость возросла до явного смущения, и он стоял, растерянно лепеча что-то. Он объяснял ей, что г-жа де Галандо не совсем здорова и что он очень огорчен, отпустив г-на дю Френей и не сообщив ему, по поручению своей матери, извинений в том, что она не может его принять.

Г-жа де Галандо в самом деле сильно постарела и чувствовала себя довольно плохо. Какой-то бродячий лекарь, введенный в замок несколько месяцев тому назад одною из старых служанок, которой он свел с ноги мозоль, продал г-же де Галандо порошки, которые он называл чудодейственными и помогающими от всех болезней, и злополучное действие порошков было одною из причин недомоганий и того, что она слишком занята сама собою и не в состоянии заботиться о Жюли.

В новой красоте своей племянницы она не увидела ничего иного, как признак хорошего здоровья; она заметила превосходный цвет ее лица и совсем не различила прелести его очертаний.

Счастливые пропорции ее тела показались ей следствием роста; она не распознала в них сладострастной прелести. По этому правильному телосложению она сочла ее жизнеспособною, не угадывая того, что она готова для любви, и, осмотрев ее и сделав несколько замечаний, довольно едких, о покрое ее платья и о вкусе ее уборов, она снова спрятала очки в футляр, опять скрестила руки на косынке и продолжала щупать себе пульс и высовывать язык перед зеркальцем, которое она держала под руками для этого употребления.

Вокруг нее соблюдали тишину. Жюли, сидя на стуле, смотрела поочередно на свои руки, которые были тонкие и полные. Николай, на другом стуле, напротив нее, представлял довольно жалкую фигуру, не зная хорошенько, как ему вести себя, пока не добрался наконец на цыпочках до двери, в то время как его мать по обычаю дремала. Жюли, не смея сойти с места, имела полную возможность думать о той скуке, которая ожидала ее в Понт-о-Беле. Чем ей можно будет заняться? И она принималась думать, что все-таки ее кузен Николай не так уж плох. Ему было ровно тридцать лет, он был худощавый, длинноногий. Он носил одежду цвета испанского табака, с полами, немного слишком длинными и чересчур широкими для него. Притом лицо у него было костлявое и кроткое, с правильными и простыми чертами, и в общем вовсе недурное.

На следующий день Николай показал себя поистине самым смущенным человеком в мире. Он плохо спал и чувствовал себя совсем расстроенным присутствием Жюли. Тем более что он во всем был нескор на решения. Пустота жизни приучает, когда ничто не случается, размышлять о мелочах. Нерешительность становится времяпрепровождением; неуверенность — какою-то одинокою игрою. Поэтому взвешивал он все обстоятельства, прежде чем решиться на то, чтобы принять их так или иначе. Эта мелочность разума не имела, надо сказать, даже того преимущества, что, сделав однажды выбор, он стоял бы на нем твердо. Он все-таки продолжал колебаться. Таким образом, Николай, в тридцать лет, оказывался самым слабым человеком — не только наряду с другими, но и перед самим собою. Надеть, например, чулки в полоску или чулки белые составляло для него вопрос, который долго держал его в колебании. Иногда он возвращался, чтобы переменить только что надетую пару, а так как он к тому же был рассеян, то случалось, что он опять выходил в одном чулке полосатом и другом — белом.

Он был всецело погружен в размышления о том, как ему вести себя с Жюли, когда встретил ее в саду. Встреча произошла, как раз когда он еще только решал этот вопрос, так что, захваченный врасплох, он церемонно поклонился своей кузине и крупными шагами удалился. Эта случайность определила его поведение, и в следующие дни он избегал оставаться наедине с Жюли и проводил время, запершись на ключ в библиотеке.

Причины смущения Николая перед девицею де Мосейль были многообразны. Главною было изменение в лице, которое делало из нее другую для него особу. Чувства, которые он сохранял ко вчерашней девочке, уже не шли к сегодняшней молодой девице. Он не знал, как и о чем говорить с нею и чем заменить былые игры или прошлогодние уроки, и оставался в недоумении, влекомый к ней их прежним товариществом и отдаляемый от нее отсутствием того, чем бы его можно было возместить. К этому присоединялся еще смутный страх. Аббат Юберте, покидая Николая, счел своим долгом предупредить его о некоторых опасностях, которые он встретит, может быть, на своем пути. Он внушил Николаю, конечно умеренно и сдержанно, мысль о том, что есть нечто опасное в обществе женщин, и Николай, неповинный в падении, не был чужд сознания о существовании греха. Мало-помалу, однако, он успокоился и вышел из своего убежища.

Ловкая Жюли позаботилась о том, чтобы не обращать никакого внимания на своего кузена. Она рассчитывала на свою красивую наружность. Толстый Портебиз много раз говорил ей об ее очаровательности и восхвалял ее прелести, и она доверчиво ждала их неизбежного действия; но пока она скучала. Николай медлил покориться ей.

Итак, она сама ускорила события.

Однажды после полудня она увидела своего кузена, сидящего на скамье, где некогда они привыкли встречаться. Николай казался погруженным в глубокие думы и чертил круги концом своей трости. Жюли вспомнила, что во время обедов он поглядывает на нее исподтишка, и нынче утром за столом она несколько раз поймала на себе его взгляд. Сегодня она была очаровательна. Г-жа де Галандо купила для нее несколько кусков ткани, простой, но светлой и веселых оттенков. Старые служанки сшили из нее платье по старой моде, как она носила в прежние годы, но она переделала его по-своему. В этом милом полотняном платье с цветочками, с просто закрученными волосами, она очень напоминала прежнюю маленькую Жюли, и она, с повадками девочки, скользнула, незамеченная, за скамью, где мечтал Николай. Она вошла в чащу молодняка. Плющ обвивал деревья и застилал почву своими зелеными сердцевидными листьями. Отверстие в трельяже было расширено; она прошла.

Она стояла за спиной Николая, задерживая дыхание. Вдруг, нагнувшись, она запрокинула его голову и положила обе свои руки ему на глаза. Потом она перешагнула через скамью и, усевшись на колени изумленному Николаю, обвила его шею руками и поцеловала его долгим поцелуем в обе щеки, шепнув ему на ухо:

— Какой ты глупый, бедный мой Николай!..

Несколько дней продолжалась бесконечная болтовня. Подобно тому как она разыграла роль взрослой барышни перед толстым Портебизом, так же играла она роль девочки с тощим Николаем. Они вернулись к братским и товарищеским отношениям былых дней, с тою только разницею, что в эти игры и в это баловство она вносила все самые опасные приемы кокетства под видом самого искреннего простодушия.

Как бы то ни было, Николай оказался по-прежнему в подчинении всем прихотям Жюли. Через несколько недель она сделала из него настоящего себе раба. Он блаженно шел повсюду, куда девушка хотела его повести, и испытывал к ней молчаливое обожание; когда она начинала говорить, он смотрел на нее с раскрытым ртом и опустив руки. Она знала теперь свое могущество и злоупотребляла им, забавляясь тем, как ее большой кузен бывал ошеломлен и смущен тем, чего она от него добивалась.

Так как она стала лакомкою, то он воровал для нее лучшие плоды со шпалер. Персики начинали созревать. Г-жа де Галандо старательно посылала их на продажу в город, оставляя только необходимое к столу в Понт-о-Беле. Николай подстерегал корзины в буфетной перед их отправкою на рынок. Старый садовник Илер, очень любивший своего молодого господина и во время чистки аллей подметивший кое-что из проделок г-на Николая и девицы Жюли, клал наверх самые лучшие плоды и смеялся своим беззубым ртом, когда потом уже не находил их там.

Жюли вкушала их своим прекрасным алым ротиком и любила освежаться ими. Она была подвижная и неутомимая и не давала Николаю ни минуты вздохнуть свободно. Они во весь дух гонялись друг за другом по аллеям, и Жюли в этих перегонках и преследованиях находила предлог упасть в объятия кузена. Она падала ему на руки, вся разгоряченная и запыхавшаяся; ее маленькие груди трепетали под ее корсажем в цветочках. Николай подхватывал ее вначале со смущением, а потом с увлечением. Он чувствовал исходящий от нее влажный аромат кожи, белья и юности.

Иногда, наоборот, она жаловалась на усталость и истому, притворялась, что не может

сделать ни шагу. Тогда он должен был поддерживать ее. Чтобы помочь ей, он охватывал ее гибкий стан. С трудом подвигались они вперед. Тогда Николай предлагал донести ее до скамьи. Она, жеманясь, соглашалась, становилась грузною, тяготела всею своею плотью, ощущаемою сквозь ткань, всем своим телом, неподвижным и словно отяжелевшим от сна.

Летняя пора, которая наступила и была очень жаркая, приостановила их забавы. Надо было найти игры более покойные, и Жюли изобретала самые сладострастные. Она стала томною, нежною и ленивою. Часто проводили они послеполуденное время под деревьями, растянувшись на ковре из плюща. Бродил там аромат горький и крепкий. Жюли наконец засыпала, и Николай рассматривал ее красивое успокоенное лицо, в котором уже не было ни лукавства, ни дерзости, а одна лишь свежесть самой прекрасной и нежной юности.

Наконец жара, все еще оставаясь сильною, немного спала в следующие дни. Николай провел часть послеобеденного времени у матери. Г-жа де Галандо чувствовала себя довольно плохо в тот день и должна была удержать при себе сына, чтобы продиктовать ему письмо к нотариусу, г-ну Ле Васеру, по поводу возобновления контрактов. Эти диктовки, повторявшиеся время от времени, были мучительны для Николая, так как он ничего не понимал в деловом языке, от которого мать старательно держала его вдали. Однако к четырем часам, окончив работу, он мог выйти, чтобы присоединиться к Жюли, которая должна была ждать его у Зеркала Вод малого бассейна.

Она была там, и Николай, вспомнив старого Илера, задрожал, завидя ее, так как перед тем, чтобы прийти сюда, она, должно быть, опустошила все розовые кусты, если судить по количеству роз, усыпавших землю под ее ногами. Были там розы пурпурные и красные, белые — махровые и простые — и огромные розы желтого цвета. Они образовали перед нею благоухающую грудку, откуда она брала по одной, чтобы сплести венок. Некоторые из них, слишком распустившиеся, осыпались, и она собирала лепестки их в тростниковую корзинку, где, улыбаясь, нюхала их. Иногда она бросала горсть их в лицо Николаю, сидевшему рядом, а он одним щелчком отряхивал их с кружев своей манжеты.

Когда она кончила, она принялась тихонько снимать свои башмаки. Николай с удивлением смотрел на нее. Сняты были и чулки, и показались ее стопы. Они были маленькие и белые, и когда, встав, она оперлась на них, то голубая жилка вздулась на розовой коже. Николай молча любовался ими. Они были трепетны и тонконервны, слегка пожимаясь от касаний песка; ноготь большого пальца был похож на маленькую лощеную раковину.

Когда она встала, она приподняла юбку, и Николай увидел ее голые ноги. Полные икры поддерживали гладкие колени. Выше колен показалась плоть бедра, еще более белая, уже таимая.

Она действовала с нескромностью покойною и улыбочивою. Благодаря обильным зимним и весенним дождям в бассейне оставалось немного воды. Дно было заткано мхом, зеленым и щекочущим. Жюли перешагнула через закраину. Она шла по воде осторожно, чтобы не замутить ее. В одной руке она держала венок из роз, а в другой — корзину с лепестками. Подойдя к тритону, она ловко вскарабкалась на цоколь, украшенный раковинами. Морской бог высился, зеленоватый и мускулистый. Его рука подносила ко рту извитую раковину. Казалось, что он смеется, выпятив грудь и надув щеки.

Жюли надела на голову статуи венок из цветов. Красота роз помолодила мрачную бронзу. Полными горстями бросала девица де Мосейль лепестки из корзины; они рассыпались и усеяли зыбкое зеркало, потом покорные лепестки, захваченные подводными течениями, оживляющими и самые застойные воды, сблизилась, перевилась и образовали подвижный арабеск. Наступил вечер, и над бассейном поднимался запах сумеречной воды и сладостный аромат роз, но Николай де Галандо видел только одну Жюли, как она, ухватив тритона за его металлическую руку, наклонялась к отражению двойного образа, где видела себя стоящею на

чешуйчатой спине чудовища, которое, казалось, похищало ее, смеющуюся и полунагую, под немые звуки своей торжествующей раковины.

XII

Конечно, приехав в Понт-о-Бель, Жюли предчувствием тамошней скуки была приведена к мысли заняться своим кузенком Николаем. Тем более что он был там единственным мужчиной, над которым она могла упражнять новую свою кокетливость и испытывать неизведанную силу своих чар. К этому присоединялись инстинкт и желание, чтобы на нее смотрели и ею любовались, потребность показать себя, почувствовать прикосновение и ласку, как у молодого домашнего животного, которое жметя к хозяину и ищет его руки. У нее была гибкая и сладострастная спина красивых зверей.

Удивительно и довольно исключительно было то, что между нею и ее кузенком никогда не было произнесено ни одного слова о любви. Все проходило в играх и забавах, к которым не примешивалось ни одного чувства, ни одного оборота, способного предостеречь Николая о той опасности, которой он подвергался вслепую, с закрытыми глазами; поэтому он простодушно предавался приятным волнениям, которые он испытывал в привычном обществе этой красивой девушки, хохотуны, резвой и живой. Добрый аббат Юберте, предупреждая его об опасностях любви, забыл научить его тому, что сладострастие принимает все формы, даже самые невинные, которые от этого не менее страшны.

При одном имени любви Николай уже остерегался бы ее приступов. Для защиты у него была суровость его воспитания, поддержка в прочном благочестии, все правила осторожности и благоразумия, которые ему так заботливо внушались, — но проделки Жюли не пробуждали в нем никакой тревоги. Его незнание чувственных неожиданностей делало его беспомощным перед ними. Он жил в постоянном волнении, в котором не отдавал себе отчета, а Жюли не давала ему передышки ни днем, ни даже ночью.

Полная свобода благоприятствовала им. Г-же де Галандо понадобилась комнатка, которую раньше занимала Жюли рядом с нею, чтобы расширить помещение, где г-жа де Галандо прятала свои банки и склянки. То была поистине аптекарская лавочка, всегда у нее под руками. Все там было старательно снабжено ярлычками и расположено в отличном порядке. У потолка висели большие связки сушеных трав. Был даже в углу комнаты целый набор клистирных шприцев разных размеров. Там носился запах ароматический и приторный, и этот запах, пропитавший одежды г-жи де Галандо, она повсюду носила с собою.

Чтобы разместить свои лекарства, она удалила Жюли в конец длинного коридора, в который выходило также и помещение Николая. Как только пробьет колокол, приглашая тушить огни, и замок погрузится в сон, начиналась беготня босиком, со свечками, по плитам коридора. Жюли изобретала тысячу предлогов, чтобы не дать лечь Николаю, и в полутьме, перед тем как каждому возвратиться в свою комнату, были слышны смешки и безмолвная возня.

Оставшись одна, Жюли раздевалась до сорочки и ночного чепчика, потом открывала окно и ждала.

Камины и чердаки замка привлекали множество летучих мышей. Едва смеркалось, они начинали сновать полетом быстрым и мягким. Они скрещивались, переплетались арабесками и разлетались под острыми углами. Они играли, легкие, проворные и таинственные, над прудами, и, казалось, на языке своих воздушных заклинаний призывали следовать за ними, и пытались расколдовать от его неподвижной зачарованности бронзовое крыло солнечных часов.

Свет манил их в комнату. Нередко одна из них влетала туда украдкой. Этого-то именно и ждала Жюли. Она тихонько открывала свою дверь и скреблась в дверь своего соседа, который, в халате с разводами, готовился было уснуть, когда, разбуженный, в крайнем расстройстве, прибежал на помощь к своей кухне.

Николай ненавидел летучих мышей и даже весьма боялся их; поэтому он входил к Жюли, согнув спину и втянув в плечи голову, неся длинную палку от метлы, с пучком пакли на конце, которою снимали паутину.

Тогда начиналась погоня в воздухе. Жюли, скрывшись за занавесками своей кровати, смотрела, просунув голову сквозь складки полога, что делал Николай. Он метался во все углы, махая руками на непрошенных гостей, так как зачастую в комнате были уже не одна, а две или три летучие мыши, взлетевшие к потолку и которых надо было выгнать. Они описывали быстрые круги. Их скорость казалась их глазам бедного Николая умножившимися. Он видел их множество; они представлялись ему неуловимыми, наводящими головокружение, потом вдруг все вместе исчезало, и оставалась только одна, за которой он гонялся до тех пор, пока палка наконец не достигала ее. Иногда она падала на пол, ушибленная, но еще живая, с тихими, жалобными вскриками. Последний удар приканчивал ее, и она умирала с затухающим трепетанием своих перепончатых крыльев. Чаще зверек падал сразу же, убитый и весь вялый, и оставался лежать на земле, словно опавший листок. Тогда Жюли выходила из своего убежища и со свечою в руке подходила исследовать жертву. Она смотрела на ее мохнатое тельце и на раскинутые, нежного, почти растительного строения, широкие крылья, когтистые, коричневые, прозрачные и сухие, а Николай брал с отвращением и за кончик их это тело и одним швырком выкидывал его за окно в ночную темь.

Было поздно. Жюли опять ложилась, а Николай не уходил без того, чтобы в прощании, длительном и шаловливом, не почувствовать под полотном тело своей пугливой подруги, гибкое, легкое и теплое.

От этих прикосновений руки Николая становились расслабленными и беспокойными. Приходила охота трогать и щупать. Он трепетал за столом под взорами своей матери, чувствуя на своей ноге ногу Жюли, которая коварно наслаждалась его смущением.

Что касается Жюли, ее смелость увеличивалась день ото дня, и наконец она довела ее до последних пределов дерзости. Иногда Николай искал передышки и убежища в комнате г-жи де Галандо. Он молча садился в кресло, внимательно рассматривая суровую обстановку, высокую темно-зеленую обивку стен, потом переводил взгляд на мать. Она читала или работала, сосредоточенная, в своих одеждах цвета дубовой коры, причесанная по старинной моде. Возле нее столик с витыми ножками был уставлен сосудами и склянками. Часто он заставлял старую даму, державшую в руках широкую стеклянную пробирку, которую она высоко поднимала и сквозь ее прозрачность, обращенную к окну, исследовала качество своей мочи. Потом она опять ставила на стол дрожащую реторту и снимала большие очки, которыми она помогала своему зрению, сделавшемуся с годами слабым и неясным.

Жюли, чтобы мучить Николая, злоупотребляла этой немощью своей тетки, пределы которой она точно измерила. Едва спасался он в комнату г-жи де Галандо, как она приходила туда и настигала его. Уже не было ему никакого покоя. Она постоянно наводила на него ужас быть пойманным в какой-нибудь скрытой игре, которую она затевала даже в присутствии своей тетки; Николай поистине не знал куда деться. Для приличия он брал какую-нибудь книгу. Г-жа де Галандо довольно часто употребляла большие *in folio*, содержавшие в себе поземельные росписи имения Понт-о-Бель и владений, к нему причисленных. Планы в них были выполнены в красках, с искусною точностью. Там было изображено верное расположение всех перечисленных местностей с их названиями и с их рубежами. Все там было представлено в подробностях: возделанные поля, новины, ручьи, луга и кустарники и даже

деревья — большими зелеными шарами. Эти превосходные карты были украшены извитыми картушами и пышным обрамлением. Г-жа де Галандо любила справляться с ними, и эти осмотры внушали ей некоторую гордость. Конечно, она улучшила и расширила это прекрасное владение с тех пор, как, по воле покойного графа, были изготовлены эти планы, обширные листы которых служили Николаю убежищем и ширмой против кокетливых уловок Жюли. За огромными развернутыми страницами Николай то краснел, то бледнел, а Жюли, подергивая его за уши или запуская ему за шею пальцы, смотрела из-за плеча кузена, как перед ее глазами проходили леса, луга, пруды и нивы, составлявшие это прекрасное графство Понт-о-Бель, владелец которого повиновался малейшему знаку ее пальчика.

В прежние годы Жюли с удовольствием ожидала того времени, когда ей надо было возвращаться во Френей; но на этот раз Николай и она были так заняты друг другом, что время бежало для них незаметно. Величавая красота и жары сентября месяца помешали им заметить, что он уже подходил почти к концу. Г-жа де Галандо сообщила им об этом однажды с угрюмым видом, перелистывая альманах. Ее раздражение против Жюли удвоилось. Не проходило обеда без того, чтобы она не причинила ей какой-нибудь обиды, и с любопытством следила за тем, какое это произведет впечатление на ее сына.

Дело в том, что старый садовник, раздраженный расхищением его роз, пожаловался г-же де Галандо на это опустошение, сваливая всю вину на Жюли, заставлявшую Николая делать все, что ей захочется, так как бедный молодой господин был слаб и кротче ягненка. Этот разговор разбудил ревность г-жи де Галандо не потому, чтобы она подозревала хотя что-нибудь из того, что происходило в действительности; но мысль, что Николай питает какое-то доброе чувство к своей кузине, как-то необычайно раздражала ее. Поэтому-то она и дала себе слово вывести все на чистую воду. Впрочем, в то время она была особенно раздражительна. Ее моча в стеклянной колбе казалась ей дурного качества и содержащую песок.

К этому присоединилась еще досада, испытанная ею, когда она узнала, что ее сестра, девица Арманда де Мосейль, которую держали взаперти в Ба-ле-Прэ, обманула надзиравших за нею и убежала в поля. Безумная в самом деле скрылась неизвестно куда, и г-жа де Галандо почувствовала большой стыд, узнав, что кюре деревни Нуаркур у Трех Ключей нашел ее утром, придя служить обедню, сидевшую на корточках, подняв юбку, над чашею с освященною водою, к которой она примешивала воды далеко не священные и откуда едва удалось ее вытащить, чтобы отправить ее в Ба-ле-Прэ. Кроме этих причин сильная жара изнуряла г-жу де Галандо — она плохо переносила ее, — тогда как Николай и Жюли наслаждались ею.

День Святых Космы и Дамиана, 27 сентября, был на редкость знойный и грозный; большие облака бежали на Понт-о-Бель, прерываемые внезапными сверканиями солнца. Сад был пустынен, даже скребок старого садовника притих. Жюли и Николай нашли его лежащим и спящим вблизи розового цветника. После хищения роз он стерег свои розовые насаждения. Жюли сорвала одну из уцелевших роз и шаловливо осыпала ее лепестки на потное и загорелое до черноты лицо спящего.

Они тихо шли по горячему песку. Жюли полураскрыла свою косынку. Они искали в саду местечка попрохладнее. Повсюду было душно. У маленького бассейна они сели. Раскаленный камень окраины ограждал круг сухого и хрустящего ила. Обкладка фонтана казалась в нем сварившейся. Тритон стоял словно оглушенный и остолбенелый. Он был весь испещрен каплями солнечного света, скользившими по его металлической коже. Николай пальцем коснулся шеи Жюли. Теплая влажность ожемчуживала ее. Она украдкой глянула на кузена сквозь полуопущенные ресницы. Он был бледен, и руки его дрожали. Порою отверделый ил трескался с сухим шумом. Вдыхали мягкий и приторный запах горячих листьев и раскаленной земли. Они задыхались, и Жюли предложила пойти в библиотеку отдохнуть. Они вернулись фруктовым садом. Жюли мимоходом сорвала со шпалеры

несколько виноградных гроздей.

Они прошли вдоль пруда, а потом под окном г-жи де Галандо, не замечая того, что старая дама глядела на них из окна. Дверь в ее комнату была открыта, и Жюли украдкой заглянула туда. Ее тетка спала в кресле. Она даже слегка храпела, что заставило племянницу рассмеяться.

В библиотеке, куда они вошли, было в самом деле прохладно и темно от запертых ставень. Как раз посреди комнаты стоял большой мраморный стол флорентийской работы, на котором мозаикой были изображены цветы и фрукты. Жюли положила принесенные виноградные кисти на один из его углов. Николай, тяжело опустившийся в кресло, молчал и следил взглядом за Жюли, бродившей взад и вперед. Когда она отходила вглубь, то он видел ее в голубоватом и мягком полусвете. От еле слышного шума ее шагов он дрожал и тихо и медленно закрывал глаза.

Жюли уселась на одном из углов мозаичного стола. Она проводила по нему руками и порою наклонялась, чтобы дотронуться до него своими горячими губами. Потом она вытянулась на нем во всю длину и осталась неподвижной в сладострастной позе.

Вдруг она села. Быстрыми пальцами она ощупала свой полураскрытый корсаж, который и расстегнула весь, и кокетливым движением плеч она освободилась от коротких рукавов. Она была в лифчике, шея и грудь ее были обнажены, и ее маленькие, упругие, белые и свежие груди вырвались на волю. Тогда она снова улеглась. Облокотясь на стол, она забавлялась тем, что дотрагивалась до мрамора кончиками своих грудей. С каждым прикосновением приятная свежесть разливалась по ее телу; особенно ощущала она ее между лопатками.

Наскучив эту игрою, она повернулась на спину, взяла одну из виноградных кистей и стала по одной есть виноградины.

Она ела их медленно, с разбором и лакомясь. Она держала кисть высоко над собою. Каждое движение ее руки, поднимавшейся и опускавшейся к губам, обнаруживало золотистую тень под мышками.

Кисть мало-помалу уменьшалась, и вскоре у Жюли в руке остался зеленый растительный остов в нежном своем строении, где каждая сорванная виноградинка оставляла словно каплю ароматной и сладкой жидкости.

Оставалась последняя виноградинка; она взяла ее пальчиками, с вызывающим смехом бросила ее в Николая и попала ему в лицо.

Он поднялся с кресла, очень бледный. Жюли закрыла глаза. Она ощущала на своей коже прерывистое дыхание, на своих губах чьи-то губы, чью-то руку у своих грудей; другая рука, более смелая и более близкая, углубившаяся в складки юбки, достигла мякоти бедра и поднималась вверх, дрожащая и холодная, слегка щекоча ее ногтями... Потом вдруг она перестала ощущать что-либо и открыла глаза.

В обрамлении двери, распахнутой настежь, стояла г-жа де Галандо. Она показалась Жюли непомерного роста, словно ее высокая прическа в старинном вкусе почти касалась потолка, потом она стала меньше, и Жюли увидела ее в трех шагах от себя, стоявшую неподвижно. Она слышала, как у Николая стучали зубы.

Одним поворотом поясницы она села на столе, свесив ноги. Чтобы не показать себя растерявшейся, она касалась розового кончика своей груди с видом внимательным и равнодушным. Ее приподнятая юбка обнажала ее бедро. Спрыгнув на пол, она секунду помедлила, надула губки, посмотрела попеременно на тетку и на своего двоюродного брата, потом, разразившись хохотом, прошла мимо г-жи де Галандо, сделала ей реверанс и

убежала, причем, запирая за собою дверь, она слышала звук сильной, звонкой и полновесной материнской пощечины по лицу провинившегося сына.

XIII

Тогда Николай, испуганный и оцепеневший, должен был присутствовать при ужасном зрелище матери, впавшей в неистовство и ярость. Вначале то были приступы гнева, бесконечные раскаты, сопровождаемые исступленными телодвижениями, потом из вулкана этого бешенства потекли более внятные ругательства и брань, а также слова, которые были ему непонятны и которые тем более ужасали его.

Сорок лет приличия, гордости и чинности рушились в этом внезапном потрясении, влагавшем в уста старой женщины такие слова, которые едва ли можно услышать от самых бранчливых селедочниц и от последних потаскушек. Все это поднималось в ней со дна ее памяти, как прилив нечистот, отлагавший на ее устах свою солоноватую и загнившую грязь.

То был язык, на котором, как ей приходилось слышать в Ба-ле-Прэ, говорили ее отец и ее брат, в самых отвратительных ссорах, в которых они бранились грубо, обрызгивая все вокруг себя грязью. Старик Мосейль не останавливался перед тем, чтобы при дочерях ругать их пьяницу брата и упрекать его в его развращенности. Он делал это, пользуясь самой низменной непристойностью слов, не заботясь о тех ушах, которые их слушали. Г-жа де Галандо слишком часто слышала в своей юности эти неблагородные домашние ссоры, где все называлось хуже, чем своими именами. Ее брат преследовал также и ее всевозможную грязью. Несчастный, ничего не почитавший, и ее уважал не более и терзал ее своими преступными речами и планами. Сколько раз приходилось ей затыкать себе уши и отталкивать от себя грубые и пьяные руки. Рассерженный ее отказом и ее презрением, цинический негодяй находил удовольствие в том, что, если не на деле, то, по крайней мере, на словах, выставлял напоказ перед сестрою всю изменчивость своих вкусов, — и именно вся эта грязь и вся эта вонь подступила сейчас к ее горлу путем какого-то внезапного возврата.

Она увидела у своего сына те же дерзкие и неопрятные руки мужчины, добивающегося своего наслаждения, то же мрачное, схваченное судорогою выражение лица, которое вызывается близостью наслаждения. Она дала себе клятву в том, что Николай избегнет общего низменного закона природы и что она сделает все, чтобы было так. А хитрость какой-то девчонки расстраивала все ее планы. Достаточно было куска живого и свежего мяса, чтобы превратить Николая в мужчину, такого же, как и все. Он ощупывал пальцами женскую грудь, вдыхал запах женского тела, искал на нем осязание место плотского наслаждения.

Итак, Николай был мужчина! И он также был заражен тем родом низменной страсти, удовлетворению которой они подчиняют все остальное. Чувственность родилась в нем, и ничто впредь не сможет остановить в нем ее развития, ни правила чести, ни предписания религии, ни какие бы то ни было соображения. Чему же послужило то уединенное воспитание, которое она дала ему? Что сделали из него ее заботы, ее предосторожности? «Вора, который обрывает у меня цветы, похищает фрукты ради какой-то развратной девчонки, похотливого негодяя, который нападает на девушку у меня на глазах! Ах, висельник, мошенник, тьфу!» Ибо в гневе своем она путала все вместе, и доносы садовника Илера, и то, что ей пришлось только что увидеть, — бегая назад и вперед перед Николаем, одуревши и забывая свои лета, свои болезни, свою растрепавшуюся прическу, из которой седые пряди били ее по виску.

Потом она плакала, говорила с ним почти нежно, пока не возникал какой-нибудь образ, пробуждавший снова всю ее ярость. Жюли также получила свою долю оскорблений. При

каждом из них Николай плакал вдвое сильнее, что еще более выводило из себя г-жу де Галандо. Она сердилась на Жюли, потом к своему гневу примешивала богословские выражения. Библейские изречения и обрывки псалмов вылетали у нее изо рта вместе с жаргоном казарм и непристойных мест. Брань продолжалась непрерывно два часа кряду. Она наступала на Николая и грубо встряхивала его за плечо.

Настал вечер. Поднявшийся легкий ветер стукнул ставнею. Г-жа де Галандо распахнула одно из окошек, седые пряди ее волос затрепетали. Ароматы деревьев неслись в комнату, а г-же де Галандо чудился в них запах греха. Жюли принесла его в своих волосах, в своем коварном теле маленькой девочки, в своих платьях. Этот запах созрел под тенью деревьев парка. Теперь он заполнял все пространство, и г-жа де Галандо затыкала себе нос, плевала на пол. Николай смотрел на нее с ужасом и не узнавал своей матери в этой фурии с грубыми движениями, с глухим и хриплым голосом. Он почти не видел ее, так как становилось все темнее, а г-жа де Галандо продолжала ходить в темноте, ступая тяжело и спотыкаясь, молчавшая теперь и словно разбитая чрезмерностью своей ярости, меж тем как Николай держался за болевшую щеку, сморкался, думал о Жюли и снова принимался плакать.

Он проплакал всю ночь. Г-жа де Галандо, уходя, заперла дверь на ключ. Тщетно пытался Николай раскачать замок; волей-неволей пришлось ему остаться там одному и без света. Замок казался вымершим. Ни одного звука. Наконец показалась заря, белесая и мутная, и Николай слышал в саду чьи-то шаги. Старик садовник Илер прошел несколько раз взад и вперед под окнами, не поднимая головы. Николай, не осмеливаясь окликнуть его, делал ему отчаянные знаки.

Свет быстро разливался по небу, розовому от зари. Николай, свесившись из окна, мог видеть поверх крыш служб уголок переднего двора замка. Серые, розовые и голубые плитки блестели от росы. Как и в день приезда Жюли, там прогуливались два толстых голубя. Он узнавал их шеи с отливом, их чванную походку, их мохнатые ноги. Он следил за ними взором. Третий прилетел и сел рядом с двумя первыми.

Вдруг они улетели вместе, словно их кто-то потревожил. Николай услышал стук колес, бубенчики крестьянской упряжи, которой он не видел. Повозка, должно быть, остановилась в другом углу двора. Стук деревянных башмаков раздавался порою по плитам, звенел колокольчик. Голуби появились снова, их было много, и они оживленно клевали; потом они собрались вместе и улетели все сразу, одним взлетом. Угол двора, вымощенный плитками, остался пуст под солнцем.

Николай де Галандо волновался. Слезы начинали вновь струиться по его длинному лицу. Жюли легкими шагами прошла по пустынному пространству. Он ясно различал ее черты. Он снова увидел ее беззаботное и свежее личико. Она была одета как накануне. Илер шел за нею. Она исчезла, прозвучал колокольчик, проскрипели колеса, раздался удар бича, и Николаю показалось, что длинный тонкий ремень его хлестнул его по лицу.

Он провел весь день у окна, не отрывая глаз от этого вымощенного уголка двора, где он увидел Жюли в последний раз. Он не дотронулся ни до одного кушанья, которые ему подавали на мозаичном столе, и оставался три дня запертым в библиотеке.

Вечером на третий день за ним пришел Илер и, не произнеся ни слова, отвел его в помещение г-жи де Галандо, куда старая служанка посоветовала ему входить тихонько. Мать его лежала в постели. Она взглянула на него, не узнав его, и лежала с погасшим взглядом, изменившимся лицом и искривленным ртом, без голоса и движения. Он узнал от служанок, что ее только что подняли в этом виде, упавшею ничком на пол.

Николай наполнил комнату плачем и воплями, рвал на себе волосы и бил себя в грудь вплоть до приезда врача, за которым послали. В ожидании пришел священник Понт-о-Бея с целью

причастить больную и совершить миропомазание. Не успели доехать до города, Илер встретил на дороге г-на Пордюбона, из Сен-Жан-ла-Виня, совершавшего свой объезд верхом на своем осле, и привез его, за неимением лучшего. Он был стар и болтлив, но не слишком невежествен. Он пустил ей кровь.

Г-жа де Галандо не умерла. Испытанное ею потрясение несколько недель продержало ее между жизнью и смертью, и она вышла из него разбитая параличом, не владея конечностями, но голова ее была нетронута, и, к несчастью для Николая, вместе с чувствами к ней вернулась и вся злоба ее обиды. Возмездие было ужасно. Г-жа де Галандо не переставала упрекать Николая в том, что она называла его проступком, и твердить о неблагородстве и низости его. Поэтому у бедного малого составилось ощущение, что он великий грешник, и он жил под гнетом своего позора. В силу особенной казуистической тонкости, она запретила ему покаяться в этом грехе, говоря, что отпущение этого греха могло послужить ему предлогом забыть его и что истинное покаяние он найдет лишь в той постоянной нерешимости, в которой она держала его над адом.

Сколько раз, сидя у изголовья широкой кровати с колонками, на которой лежала его мать, он должен был подвергнуться допросу обо всей обстановке и всех подробностях его прегрешения. Ужасная женщина ожесточалась при этом мучительном воспоминании, и жаль было видеть это внимательное лицо, при этом неподвижном теле, в сотый раз слушавшее рассказ о приключении. Она осыпала его вопросами, никогда не обезоруживаемая ни наивностью, ни покорностью несчастного. Не говоря уже о том, что эти разговоры снова вызывали в ней гнев. Ее неподвижное тело не могло послужить ему выражением, и он весь переходил в ее искаженное лицо и изливался сквозь ее уста в виде упреков, ругательств и подозрений, так что эта спальня больной наполнялась крикливыми и бранными словами и позорными прениями этого бесконечного спора, в котором обсуждалось, каким способом поступил Николай по отношению к скрытной и чувственной девочке.

Тем временем Жюли была далеко. Старик Илер отвез ее во Френею вместе с письмом, в котором г-жа де Галандо требовала для молодой девушки замужества безотлагательно, а чтобы помочь этому, дарила ей в приданое десять тысяч эю, с условием, чтобы дело было сделано быстро. Она прибавляла: «Я не хотела отдать ее в монастырь, чтобы не запятнать ее присутствием Божий дом».

Г-н и г-жа дю Френею, которые с минуты находки книги и гравюры жили в постоянном страхе, были лишь вполнину удивлены скандалу. Они решили, что всего лучше выдать Жюли замуж и для этого воспользоваться подарком г-жи де Галандо. Сами они ничего не могли к нему прибавить, так как их достояние заключалось в пожизненном владении. Посоветовавшись друг с другом, они предложили Жюли двух женихов. Но они словно свалились с облаков, когда она заявила, что желает выйти замуж за толстого Портебиза. Вскрикнув, они оба пришли к той мысли, что, в конце концов, ему и надлежало исправить то зло, которое он причинил. Итак, Толстому Другу написали. В ожидании его ответа Жюли не выказывала никакого смущения. Портебиз принял девушку и деньги. Свадьба состоялась в ноябре во Френею. Молодые уехали в тот же день в Париж, и о них более ничего не было слышно.

Г-н дю Френею вернулся к своим музыкальным инструментам, а г-жа дю Френею к своим конфетам; но часто по вечерам, когда г-н Ле Мелье приходил к ним в гости, он заставлял их с печалью в душе и со слезами на глазах. Время шло; они состарились. Г-н Ле Мелье скончался от раны, которую ему причинил укус бешеной собаки на ферме однажды ночью, когда он возвращался домой пешком. Ночной голос рылейки раздражал животное.

Г-жа дю Френею несколько месяцев спустя заболела и больше не встала. Г-н дю Френею томился, и, наконец, его нашли мертвым, распростертым в музыкальном павильоне. Контрабасы и виолончели глядели на него с любопытством; было лето, дверь павильона была раскрыта настежь, и легкий ветерок незримо пальцами шевелил листы сонаты, еще

развернутой на пюпитре.

Эта кончина почти совпала со смертью г-жи де Галандо, в 1749 году. Три года спустя после происшествия с Жюли, Николай очутился в одиночестве в Понт-о-Беле. Г-н Ле Васер, уладив дела по введению в наследство, объявил ему, что, благодаря бережливости его матери, он был одним из богатейших владельцев в стране.

Как бы то ни было, Николай продолжал жить в Понт-о-Беле по-прежнему. Он не пытался ни выехать оттуда, ни разыскать Жюли. Он прожил так несколько лет. Его жизнь была самую правильною, какую только возможно было себе представить. Он не видал никого.

Обе старые служанки г-жи де Галандо скончались одна за другой. Старик Илер остался один. Он покинул свои цветники ради стряпни и варил яйца, которые г-н де Галандо ходил разыскивать сам на птичьем дворе. Он брал из деревни хлеб и немного мяса, которые он прибавлял к этому столу. Все вместе обходилось Николаю не дороже тысячи двухсот или тысячи пятисот ливров в год. Так все шло вплоть до смерти старика Илера, то есть семь лет, до 1756 года.

Когда старика похоронили, Николай, проводивший на кладбище своего последнего слугу, вернулся в Понт-о-Бель. Он шел медленно, опустив голову. Он вошел в сады через небольшую калитку, выходящую на дорогу и открывавшуюся невдалеке от пруда. Был март месяц; деревья отчетливо отражались в воде; на одном из них виднелось сорочье гнездо на раздвоении его обнаженных ветвей. Маленький бассейн был полон. Тритон, мокрый, блестел. Недавно прошел дождь. Большие лужи зеркалами отсвечивали в аллеях; шаги глубоко отпечатывались в размякшей почве, словно земля желала сохранить нечто от прохожего. Николай остановился перед скамьею, прислоненною к поломанному трельяжу. Он долго смотрел на высокие деревья. Стволы уходили вверх, прямые и гладкие. Плющ выстилал землю своею металлическою зеленью.

Г-н де Галандо стоял перед замком. Между двумя искусственными прудами — каменный столб солнечных часов. Все окна фасада были заперты ставнями, кроме окон библиотеки, остававшихся открытыми. Когда он вошел, шаги его отдались в вестибюле. Он спустился сначала в кухню. Старые стены поддерживали голый свод. Огромный камин зиял как портик. На вертелах висела паутина. Кастрюли выстроились в ряд неподалеку от котлов. Здесь и там большие грелки красной или желтой меди. Лежал на столе старый нож, и стояла корзина с несколькими яйцами.

Г-н де Галандо приблизился к очагу. Здесь варили и жарили сорок лет то, что он ел ежедневно. Огромные поленья дров горели в нем для обильного стола покойного графа; на углях согревали простые кушанья его матери. В углу от слабого огня осталась еще куча золы, где старый Илер пек яйца.

Николай ходил из комнаты в комнату. Чаще всего он отворял дверь, заглядывал, не входя, и вынимал ключ из замка. Скоро у него образовалась в руке большая их связка. Там был ключ от комнаты, в которой он спал, и ключ от спальни, в которой умерла его мать. Он вошел в нее на цыпочках. Широкая кровать с колонками была на прежнем месте. Он прошел по аптеке. Связки сухих трав крошились у потолка и осыпались вниз пылью. Склянки, пузырьки, бутылки серели, покрытые пылью. Стирались, пожелтев, чернильные надписи ярлычков. Аптекарский запах щекотал в горле.

В библиотеке, где он обычно проводил дни, он уселся в кресло и оставался около часу неподвижным; потом он встал, захлопнул раскрытую книгу и поставил ее на полку. Пола его кафтана по дороге задела угол мозаичного стола. Он вышел, запер дверь и спустился по лестнице.

Он сходил медленно со ступени на ступень, одною рукою придерживаясь за перила кованого

железа, а в другой неся тяжелую связку ключей. В вестибюле он взял трость, надел на голову шляпу. Выйдя наружу, он задвинул тяжелую щеколду. Огромный ключ проскрипел.

Он держал их все теперь в руке. Каждый ключ содержал в себе частицу его прошлого, — все они были тут, и малые, и большие, и блестящие, и ржавые; одного только не было, которого он, без сомнения, не посмел пойти и вынуть из замка в конце коридора, ключа от комнаты, где спала Жюли де Мосейль...

Г-н де Галандо пешком прошел пять лье, отделяющих Понт-о-Бель от города. Он пришел в город вечером и постучал прямо в дверь г-на Ле Васера, с которым он беседовал по секрету и довольно долго. Почтовая карета в Париж уезжала в девять часов. Он вошел в заднее отделение, сел, поставил трость между ногами, скрестил руки на костыле и оперся на них подбородком. Лошади тронули; бич почтальона щелкнул, и г-н де Галандо очутился в полной темноте, уносясь галопом по королевскому шоссе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

УЖИН С АББАТОМ ЮБЕРТЕ

I

Г-н Лавердон был человек значительный. Все единогласно отдавали должное его внешности, обхождению и даже рассудительности, так как его обработке подвергались лучшие головы в Париже. Он живо чувствовал ту честь, которую они ему оказывали, проходя через его руки, а руки у него были красивые, и он заботливо холил их, говоря, что они главное орудие его ремесла. Благодаря своим достоинствам он приобрел знатную и большую клиентуру. Он хвалился тем, что знает людей, и притязал на звание философа. Ему прощали эти притязания, потому что никто искуснее его не умел приготовить парик, завить его в локоны или в кудри или скатать его. Если он несколько кичился своею ловкостью, то еще более чванился он тем применением ее, которое выпало ему на долю, и он с самодовольством перечислял наиболее замечательные прически за время своей долголетней практики.

Между ними он отмечал некоторые случаи особенно значительные и, по его словам, оказавшие влияние даже на дела государственные. Так, он любил припоминать, что имел честь быть постоянным куафером г-на маршала де Бонфора, чьи громкие поражения обеспечили ему место и установили известность, и что г-н канцлер де Вальбен никому, кроме него, не позволял причесывать себя в торжественные дни. Как у всех болтунов, у Лавердона был свой любимый анекдот. Он касался герцога де Тарденуа, который пригласил его однажды утром, а вечером сделался министром и оставался им семь лет до тайного королевского приказа, ссылавшего его в его поместье, при отъезде в которое он заставил карету ожидать себя, вопреки неотложному повелению короля, пока Лавердон не кончил его причесывать и пудрить.

Если Лавердон чванился подобными высокими случаями своей практики, то бывали в ней и другие случаи, более интимные, которые он также любил припоминать, и его гребень, послуживший истории, не менее того послужил и любви.

Он высоко ценил свою клиентуру из модных людей. Их удачи преисполняли его гордостью.

Он следил за ними взволнованным взглядом и всегда был в курсе событий.

К этому изысканному обществу относил он и молодого Портебиза.

— Я не думаю, чтобы он пошел далеко по дороге славы, но он пойдет далеко в любви, — говаривал он.

Поэтому он весьма старался угодить ему, особенно ввиду того, что Портебиз был новичком в городе и не имел еще никакого видного приключения, которое могло бы его выдвинуть, но г-н Лавердон предвещал ему большое будущее, рассуждая, что он молод, строен и довольно богат.

Если г-н Лавердон любил деньги у других, то он не пренебрегал ими и для себя. Живя в достатке и в то же время не превышая своих средств, он умел придерживать деньги. Он одевался изысканно и прилично и на мизинце носил крупный бриллиант прекрасной грани.

В таком именно костюме г-н Лавердон стоял в этот день за спинкою кресла, а в кресле сидел Франсуа де Портебиз, в пеньюаре, занятый своим туалетом. Г-н Лавердон вертелся вокруг него, поправлял локон, прищуривал глаз; затем отошел на три шага. Оставалось только попудрить.

Г-н Лавердон этим славился. Разумеется, парики его были превосходны и на самый строгий вкус, но особенно его манера пудрить была ни с чем не сравнима. Человека, напудренного Лавердоном, узнавали сразу по какому-то оттенку скромности и дерзости, тонкости и смелости, причудливости и законченности.

Г-н де Портебиз прятал лицо в длинный картонный конус. Он ждал. Г-н Лавердон ходил вокруг него вкрадчивыми шагами, с коробкою в руке и с поднятою на воздух пуховкою.

Вначале то было неосязаемое порхание. Белокурый парик слегка побелел. Лавердон ходил взад и вперед, то с резкими, то с едва приметными движениями. Его бальные башмаки поскрипывали. Белое облако сгущалось мало-помалу, ароматное и подвижное; пышная пуховка производила целые вихри.

Легко, нежно облако спускалось и наконец рассеялось среди молчания, без которого г-н Лавердон боялся, без сомнения, что возмутит это волшебное действие. Потом он подошел на цыпочках к туалету, взял с него маленькое зеркало, смахнув с него рукавом белый налет, и таинственно шепнул словечко на ухо г-ну де Портебизу, который, высунув нос из картонного конуса, встал и сбросил с себя пеньюар, в то время как г-н Лавердон, отвесив поклон, убежал, еще весь проникнутый тем чудом, которое он только что совершил.

Франсуа де Портебиз все еще стоял с зеркалом в руке и любовался собою. Его лицо, тщательно выбритое, показалось ему приятным своею свежеею кожей и своим юношеским румянцем. Он нашел его достойным того, чтобы понравиться и другим, как ему самому, тем более что и платье его было от хорошего портного, и прическа удалась. С самого своего приезда в Париж он чувствовал себя вполне счастливым.

Мать его отказалась ехать вместе с ним и расстаться с уединением Ба-ле-Прэ. Она сослалась на свою привычку к простой и спокойной жизни; так же она отклонила предложение переселиться в Понт-о-Бель, где она нашла бы вместе с жилищем, отвечающим ее вкусам, и всевозможные удобства, как в комнатах, так и в садах, которые сын ее предлагал ей привести в порядок, если она захочет оказать им честь воспользоваться ими по ее усмотрению. Он все еще не мог забыть своего посещения наследственного Понт-о-Веля, откуда он прямо проехал в Ба-ле-Прэ, и не переставал расхваливать своей матери преимущества и красоты этого места, когда она прервала его похвалы.

— Не говорите мне об этом месте, — сказала она ему. — Я знала его раньше, чем вы родились, и не чувствую никакого желания опять его увидеть, даже и без тех дураков, которые жили там. Ваш двоюродный дядя Николай был из их числа, и его глупая мать тоже. Воспоминание о них испортило бы мне жизнь там, и мне все время чудился бы призрак этой старой ханжи и лицо ее придурковатого сына. Я до сих пор спрашиваю себя, чему же мог его научить его наставник, какой-то толстый аббат, живший там, когда я приехала туда маленькая, и которого звали, кажется, Юберте. Впоследствии, говорят, он приобрел некоторую известность в науке. Но все это было очень давно, сударь, — прибавила г-жа де Портебиз, кладя себе на тарелку крылышко пулярки, которую обносил на большом блюде маленький лакей Жан, впившийся красными пальцами в край фаянса.

Г-н де Портебиз сделал еще попытку вернуться к г-ну де Галандо, но мать оборвала его сразу:

— Оставим это, и позвольте мне вам сказать, что ваш дядя меня нисколько не интересует и что мы знаем о нем только одно, что может иметь для нас значение, так как это вас касается. Перед смертью он сделал лучшее из того, что мог сделать, потому что его кончина превратила вас в знатного сеньора. И мне сдается даже — уж раз мы об этом заговорили, — что вы слишком медлите воспользоваться вашим новым состоянием; не рассчитываете же вы употребить тот досуг, который оно дает вам, на то, чтобы жить в обществе старой провинциалки, питающейся по-крестьянски от плодов своей земли и своего сада, и не станете же вы ломать себе голову по поводу человека, которого вы никогда не видели. В самом деле, сын мой, вы хотите взять на себя совершенно излишние заботы. Что касается меня, то я считаю, что мы с вами квиты. Возьмите, однако, еще пулярки. Она изжарена в самый раз, и маленький лакей передаст вам ее, пока она еще дымится. Она с одной из ваших ферм; я велела взять ее там, потому что на моих фермах не вскармливаются подобные пулярки, и владения, доставшиеся нам от г-на де Галандо, гораздо ценнее тех, что вы унаследуете когда-нибудь от меня.

Дядя Галандо оставил, в самом деле, прекрасные земли, но наличными деньгами гораздо меньше, чем можно было рассчитывать. Г-н Лобен, преемник г-на Ле Васера, предупредил об этом г-на де Портебиза, когда последний явился повидать его по поводу наследства своего дяди. Нотариус сообщил ему, что г-н де Галандо после долгих лет экономии и значительных сбережений почти целиком растратил их в конце жизни суммами, уплаченными ему в Риме через некоего г-на Дальфи, банкира. Несмотря на эти изъяны, в шкапулке еще хранились значительные запасы, а источник доходов оставался нетронутым. Франсуа запасся необходимым, простился со своею матерью и отправился в Париж, куда и прибыл с легким сердцем и с тяжелыми карманами.

Первою его заботою было купить дом. Он выбрал на улице Бонзанфан, вблизи Пале-Рояля, дом удобный и не очень большой. Дом он наполнил хорошею мебелью, конюшню — хорошими лошадьми, а каретный сарай — хорошими каретами. Его кучер был толст и высок, умел искусно править и избегать тесноты и топей. Его два лакея хорошо знали свое дело. Одного из них звали Баском, другого — Бургундцем, хотя они и были — один пикардиец, а другой овернец. Они умело носили ливреи и обнаруживали обычные пороки своей профессии, пошлость и плутовство, скрытность и высокомерие.

С этою свитою г-н де Портебиз разъезжал по Парижу, по своей прихоти, с гуляний на бульвары и повсюду, где только ему хотелось быть.

По утрам он спал долго на мягкой постели, дивясь, что не слышит ни колокола, будившего его с зарею в Наваррском коллеже, ни сигнала седлать лошадей, который заставлял его вскакивать на заре и мчаться верхом, ноги в стремях, поводья в руке, в обществе своих друзей, господ де Креанжа и д'Ориокура.

Все ему казалось желанным. К тому же Париж в этот день был залит солнцем и особенно наряден. Резкий холодок осушил грязь. Солнце сияло. Улицы были оживлены. Он заглядывал в заледеневшие стекла карет, ехавших ему навстречу. Он видел изящных мужчин, нарядных дам. Распределение его дня казалось ему особенно приятным. Различные покупки, конечно, займут его. Он уже представлял себе манящие улыбки красивых продавщиц. Потом он отправился к графине де Герси, которая делала вид, что особенно благоволит к нему.

Г-жа де Герси жила на улице Филь-Сен-Томадю-Лувр. Он встретит у нее, наверное, г-жу де Мейланк, которая нравилась ему больше и которой он также нравился, так как сердцем г-на де Портебиза усиленно интересовались. Он казался себе словно ставкою для соперничавших между собою кокеток, и, чувствуя свою цену, как новоприбывший, он очень дорожил и твердо решил дебютировать не иначе как с блеском, которого г-жа де Герси не более была в состоянии ему доставить, чем г-жа де Мейланк способна была бы ему дать.

Им он был обязан встречей с кавалером де Герси, и у них-то оба молодые человека, встретившись снова, упали друг другу в объятия. Они не виделись с самого коллежа и с этого дня стали неразлучны, так что кавалер не успокоился до тех пор, пока не привел своего друга к своей матери. Г-н де Портебиз стал бывать в доме, и от него одного зависело войти с семьей в более тесные отношения. Кавалер находил это вполне естественным и подшучивал по этому поводу над своим другом, который, несмотря на явные авансы г-жи де Герси, однако, не решался.

Все, бывавшие у нее, замечали предпочтение, которое г-жа де Герси оказывала г-ну де Портебизу, и догадывались о той роли, которую она хотела бы заставить его сыграть. Он встречал там лучшее общество. Он там нравился. Там вспоминали его мать, прекрасную Жюли, и его отца, толстого Портебиза; но никто никогда не говорил ему о г-не де Галандо, а он знал через г-на Лобена, что его дядя провел более десяти лет своей жизни в Париже. Даже сам г-н де Кербиз ничего не мог ему сказать об этом, хотя старый дворянин был живою газетою и более пятидесяти лет заносил в записную книжку все, что касалось двора и города, особенно по части родословных. Его злоба знала как свои пять пальцев родословные всего того, что называлось светом, и не стеснялась при случае преподнести людям недостойные связи и стеснительных родственников. Он как раз сегодня только что отмочил хорошую штуку г-ну де Вальбену, который изо всей родни помнил только покойного канцлера, прославившего род, и умалчивал о Вальбене, торговавшем травами и клистирными трубками сто лет тому назад на углу улицы Труано под вывескою «Золотой Толкач».

Кавалер, находивший мало удовольствия в этих разговорах, отвел Франсуа в сторону, и они условились в следующий четверг отправиться на ужин к девице Дамбервиль из Оперы, вместо того чтобы слушать молодого Вальбена, красного от гнева, отвечавшего г-ну де Кербизу несколькими язвительными словами, которые старик предпочел не слышать, представляясь по своей привычке глухим, что позволяло ему притворяться незнающим слухов, передававшихся почти громко, о проказах г-жи де Кербиз, чьи жирненькие сорок лет соперничали с более обильными сорока годами г-жи де Герси, состязаясь в жеманствах, на которые г-н де Портебиз чересчур упорно совсем не хотел отвечать. И под их гневными взорами он простился с ними, не дожидаясь появления г-жи де Мейланк, встреченной им как раз на лестнице.

Г-н де Портебиз легкими шагами сбежал по лестнице до вестибюля, где он на стенных часах увидел, что еще рано и что у него остается время навестить этого аббата Юберте, о котором говорила его мать и адрес которого он достал. Он сказал его Баску, и тот запер дверцу и стал снова на подножку. Лошади тронули. Карета миновала Новый мост и через улицу Дофин направилась в улицу Сен-Жак, где обитал ученый муж.

Г-н аббат Юберте, член Парижской Академии надписей и Римской Академии аркад, начинал ощущать тяжесть годов, хотя он в свои годы сохранил еще много преимуществ того возраста, который был у него уже в прошлом. В семьдесят девять лет он казался лет на девять или десять моложе. Сохраняя легкость и проворство вследствие превосходного сложения и неизменно хорошего аппетита, он испытывал, однако же, какую-то тяжесть в членах и уже не так легко переносил вес своего тела. Иногда ему было трудно взбираться вверх по своей улице или подниматься к себе по лестнице на все этажи, возвращаясь после долгой ходьбы пешком по городу.

Если практика жизни наполнила его голову всевозможными мыслями о всевозможных предметах — а эти мысли он держал в полном порядке, — то она позабыла наполнить его карманы. Поэтому у него не было ни портшеза, ни кареты, и, чтобы попадать туда, куда ему хотелось, он должен был рассчитывать только на свои большие ноги, обутые в башмаки с пряжками и с железными гвоздями на подошвах. Его тяжелые шаги раздавались по лестницам, и он отчищал грязь о половики, так как ничто не останавливало аббата — ни снег, ни грязь, никакая непогода, и, следуя им, он согревался или освежался своим ровным и ясным расположением духа.

Его сотоварищи по Академии надписей ценили его за это счастливое настроение, а любителям было приятно видеть у себя в кабинете его лицо, озарявшееся при виде какой-нибудь редкости, достоинство и ценность которой он умел восхвалить лучше, чем они сами. Он был особенным знатоком медалей. Его рука словно испытывала радость от прикосновения к прекрасному нумизматическому металлу. Приятно было видеть, как он, чтобы лучше оценить рельеф, наклонял свою большую голову над раскрытою ладонью и с любопытством и уважением сгибал спину. Он сам обладал большим количеством довольно ценных медалей, но то, что они ему принадлежали, не заставляло его приписывать им никакой особенной ценности, кроме той, которая действительно принадлежала им по их совершенству или по их редкости.

Аббат Юберте состарился с того времени, когда он из Понт-о-Беля уехал в Италию, сопровождая своего епископа. Пока г-н де ла Гранжер интриговал в прихожих и в ризницах, готовый довести до благополучного конца королевские дела, как только он устроит свои собственные, аббат не терял времени. Он исходил Рим во всех направлениях. Он завязал там связи с виднейшими знатоками старины.

Г-ну Юберте удалось таким образом собрать довольно большое число медалей. Но все кончается, и приходилось возвращаться. Они уехали. Рим исчез на горизонте. Г-н Юберте уносил от него сильное впечатление. Он представлялся ему, со своими соборами и колокольнями, среди пустынной равнины. По ней пробегают мощеные дороги; длинные акведуки перерезывают ее своими каменными шагами, и чудится, будто слышишь их вечную и недвижимую гигантскую поступь.

Возвращение было мрачно. Дорогой приходилось переносить досаду и жалобы г-на де ла Гранжера и его обманутого честолюбия. Епископ от своего поражения сохранил рану и резкость ума, которые весьма тяжело отзывались на его епархии и от которых сам он в конце концов скончался.

Что касается аббата Юберте, то он, по-видимому, не уставал жить. С годами его врожденное дородство перешло в тучность. Его короткие ноги с трудом поддерживали его большой живот. Его четверной подбородок свисал на его брыжи; но, несмотря на его брюхо и на его отвисшую нижнюю губу, ум у него оставался не менее ясным и быстрым. Он сохранил свои трудовые

привычки. Его дородное телосложение было словно бочкою для старого вина, с запахом крепких выжимков. Его благодущие разливало тонкий аромат.

Своею тучностью он был обязан скорее врожденной склонности, чем сидячему, по преимуществу, образу жизни. Его продолжительные заальпийские поездки приучили его переносить и жар, и холод во всей их суровости.

Повсюду он жил здорово и весело, и даже москиты не касались кожи, обтягивавшей его полные щеки.

— Я прощал им, — говорил он, — потому что они довольно близко напоминали мне самого меня. Я охотно сравнивал себя с ними, и, отмахиваясь от их назойливого кружения, я все же извинял им эту надоедливость. Мы напрасно ненавидим их за их жужжанье и за их укусы. Мы принимаем за досадную хлопотливость то, что не более как следствие их инстинкта. Нашею кровью они стремятся поддержать свою жизнь и ту крылатую энергию, которая делает эту жизнь счастливою, подвижною и, если можно так сказать, универсальною. Они поступают так же, как я. Мой ум жужжит, как и они, над всеми предметами, возвращается к ним, подстерегает их, кружится над ними, не хочет от них оторваться, питается ими и своими легкими налетами радуется свое постоянное любопытство.

Аббат Юберте говорил правду. Любопытный от рождения, он сохранил это свойство и с вечно новым и вечно глубоким интересом относился к зрелищу жизни. Ежедневное повторение ее явлений нисколько не утомляло его.

Окончив свой труд, он обычно спускался с высот своего квартала в какую-нибудь местность города, намеченную заранее или которую он всего чаще предоставлял определить за себя случаю.

Аббат Юберте был неутомимый ходок. Он шагал, как ему хотелось, и останавливался, где ему вздумается, ничуть не стесняясь стоять среди улицы, если приходила ему охота к этому. Он рассматривал прохожих и окна лавок. Все предметы имеют неожиданные соотношения.

Так, фруктовец за своим прилавком забавно преображался для него в продавца масок на открытом воздухе. Разве вытянутые физиономии груш не уживались в мирном соседстве с пухлыми рожами яблок? Разве на щеках айвы не пробивается юношеский пушок?.. У баклажана харя пьяного виноградаря. Персик являет румяна светской дамы. Тыква изображает самого султана турецкого. Плоды гримасничают, насмеваются, улыбаются, и аббату нравилось наблюдать, как под их многочисленными личинами скрывается невидимый лик природы, который они разнообразят своими ликами.

И он шел, философствуя, таким образом, по-своему. От такого множества различных звуков поднимался большой гул, в котором сливались грохот колес, и щелканье бичей, и весь тот ропот, в котором словно дышит сам город, одним из преходящих дуновений которого он любил чувствовать себя.

Аббат Юберте любил Париж и все то, что могло содействовать его украшению и его возвеличению. Он радовался каждый раз, видя строящийся дом. Он ценил крепкое сложение лесов. Молоток каменотеса, рубанок столяра, пила плотника радовали его ухо. Лопатка каменщика, растворявшего известь, ласкала его слух. Разумеется, он уважал искусство живописи и те полотна, где художники пишут нимф и богов, но он не презирал и того, что более скромные ремесленники наивною кистью изображают на уличных вывесках, где они посильно стремятся представить каждому прохожему присутствие и существо различных ремесел и профессий.

Аббат не презирал ничего. Прогулка по укреплениям была, на его взгляд, не хуже прогулки по модным улицам. Он тем же шагом спускался по Куртиль, каким и по Кур-ла-Рен, и смотрел на

воду, струящуюся в фонтанах, думая, что наши дни не имеют иной цели, чем эта вода. Эти дни наполняют нашу память своею жидкою прозрачностью и образуют из нее словно прохладный бассейн, из которого мы пьем миражи, отраженные там жизнью.

Поэтому ни за что на свете аббат Юберте не пропустил бы ни одной церемонии, которые бывают народными праздниками в городе. Он стоял в первых рядах в те вечера, когда давались фейерверки и когда в воздухе так славно пахло порохом, который даже и в столь мирном виде ласкает обоняние народа.

Он любил смешиваться с толпою, чтобы внимательно прислушиваться к тому, что говорилось вокруг него. Он наслаждался силою и красочностью этих разговоров, и ему нравилось открывать вольными и как бы новыми те образы, которые, родившись на улице, ищут потом приюта и получают место в языке, впоследствии очищающем и штампуящем их. Он ценил эту древнюю и простонародную основу языка; поэтому он довольно справедливо говорил, что затертое изображение на монете не унижает высокого качества ее металла, что жизнь следует брать обеими руками, что грубое остроумие предместья имеет свою собственную цену не менее, чем самая тонкая медаль Агригента или Сиракуз. Таким образом, аббат намеренно и охотно в своих речах сплетал ученый язык с рыночным наречием. Он мог бы, смотря по обстоятельствам, обедать и у Лукулла, и у Рампонно, и у свинопасов в Поршероне, и во дворце в Тиволи. После ученых споров со своими сотоварищами по Академии о каких-нибудь научных или исторических вопросах он любил на обратном пути поглядеть, как нагружают подводу или как отъезжает ломовой и, запыхавшись, поднимался вверх по своей улице, припоминая оду Горация или брань встречного пьяницы.

III

Карета г-на де Портебиза грохотала по мостовой улицы Сен-Жак. Лошади тянули за постромки. Конец бича, взвиваясь, касался их гладких и нежных крупов с напрягшимися от усилия мускулами. Наконец кони остановились, и г-н де Портебиз вышел из кареты. Дом был с виду скромный, с узким фасадом, высокий, с тремя окнами в каждом этаже. Род сырого коридора вел в небольшой квадратный дворик. На нижней площадке лестницы играла оборванная девочка.

— Не здесь ли живет господин аббат Юберте? — спросил г-н де Портебиз.

Девочка не отвечала. Она не была некрасива, но ее свежие и вымазанные щеки резко блестели на лице. Она сделала движение, словно защищаясь от пощечины одною рукою, меж тем как в другой держала письмо, пряча его за спину.

Едва начав подниматься по лестнице, г-н де Портебиз услышал крик:

— Господин Юберте живет на самом верху, расписная дверь.

Дверь в квартиру г-на аббата Юберте являла довольно странное зрелище. Она была выкрашена в темно-красный цвет, и посреди ее была довольно грубо нарисована античная маска. Ее широкое лицо, курносое, с глазами в виде шаров, с разрисованными киноварью щеками, смеялось. Чудная фигура служила потайным окошечком. Изнутри можно было смотреть сквозь ее решетчатый рот. Дверь, впрочем, была приотворена. Г-н де Портебиз без церемоний ударил кулаком по носу фантастической головы и стал на пороге, не входя.

За дверью виднелась просторная квадратная комната. Пол блестел. Стены сверху донизу были уставлены книгами на деревянных полках. Легкий запах лука говорил обонянию, что

кухня была недалеко и что пища телесная уживалась рядом с пищею духовною. Квартира была, по всей вероятности, довольно тесная, если кухонные ароматы проникали до самой библиотеки. Г-н де Портебиз сделал несколько шагов и огляделся.

Внизу по стенам тянулся ряд обломков старинных камней. Там можно было найти обломки капителей, на которых виднелись еще завитки аканта, куски статуй и другие остатки скульптуры, а в одном углу, красуясь своею изящною формою, стояла высокая урна зеленоватой бронзы. Г-н де Портебиз набалдашником своей трости ударил по округлому брюху древнего сосуда, и из него раздался звук не то колокола, не то котла, после чего г-н де Портебиз ожидал появления какой-нибудь старой ворчуньи служанки или какого-нибудь грязного сторожа.

На звук кто-то шел. Появилась очень красивая девушка лет пятнадцати, темноволосая и живая. Косынка была завязана у ее тонкой талии. Белый чепчик открывал умное и наивное лицо. Из-под короткой круглой юбки виднелись стройные ноги в мягких туфлях и чулках со стрелками. В руках она держала медальный шкафчик и шерстяную тряпку. Она сделала прекрасный реверанс г-ну де Портебизу.

— Разве господина аббата Юберте нет дома?

— Нет, сударь, он вышел, но я не думаю, чтобы он долго не вернулся.

Г-н де Портебиз глядел на нее, изумленный ее молодостью и ее красотой. «Этому черту, аббату Юберте, — подумал он, — должно быть, по крайней мере, семьдесят пять лет, но тем не менее эта молоденькая экономка неожиданна. Обычай требует, чтобы они были стары и уродливы, а здесь ни того, ни другого. Более того, она очаровательна; прелестные ножки, каких не сыщешь на всем свете, и глаза способные всякого бросить к ее ногам. Добрый аббат, должно быть, в молодости любил юбки, и бьюсь об заклад, что он преподавал интересные правила нравственности покойному и почтенному дядюшке моему Галандо».

— Вам неприятно, что вы не застали дома господина аббата Юберте. Не надо досадовать. Если вам угодно осмотреть кабинет, то я сумею вам его показать.

Разумеется, у г-на де Портебиза, когда он ехал сюда, не было ни малейшего желания восторгаться ржавыми медалями, расписными вазами, бронзовыми ожерельями и вообще всем тем, что составляло кабинет г-на Юберте. Аббат владел довольно хорошим подбором древностей. Они заполняли всю его квартиру, состоящую, кроме библиотеки, еще из двух комнат и одной каморки, где спал г-н Юберте на широкой постели из красного ситца; ее высокий пуховик казался намеком на обширную фигуру спавшего.

Г-н де Портебиз рассеянно взглядывал на предметы, которые показывала ему молодая девушка. Она интересовала его гораздо больше, чем эти древности. В комнате темнело, и она зажгла свечу, которая освещала их. Она ходила по комнате, живая и приветливая, потом вдруг бежала к двери со словами: «Ах, я слышу шаги господина аббата!» — и снова возвращалась к г-ну де Портебизу.

— Прошу извинения, сударь, мне показалось, что это он. Но он так не любит торопиться, дорогой мой старичок. Уж если выйдет из дому, то он ходит, ходит... Не говоря о том, что он останавливается и беседует с каждым прохожим. Так-то, впрочем, и я с ним познакомилась. Я была совсем маленькая. Меня послали за молоком. Я приносила его в горшочке. Но возвращалась я домой не сразу и бегала с шалунами нашего квартала. Горшок с молоком я ставила на землю. Так однажды огромная собака, пробежавшая мимо, осмелилась выпить молоко. Я боялась вернуться домой и плакала, сидя на камне перед пустым горшком. Я осталась бы там до второго пришествия, если бы не аббат Юберте, за руку приведший меня к родным.

Вскоре г-н де Портебиз узнал многое о м-ль Фаншон от нее самой: как аббат Юберте кончил тем, что взял на воспитание сиротку, и как она жила у него шесть или семь лет с тех пор, как умерли ее отец и мать. И г-н де Портебиз был в восхищении от того, что маленькая молочница превратилась в эту приятную особу, стоявшую перед ним и болтавшую так мило, не переставая время от времени выбегать на лестницу, чтобы поглядеть через перила, не видно ли г-на аббата.

Г-на де Портебиза весьма забавляло все это, равно как и одна мысль, заставлявшая его улыбаться украдкой. Где могла ночевать м-ль Фаншон? В квартире не было другой кровати, кроме кровати аббата, но г-н де Портебиз не допускал мысли, чтобы молодая девушка могла делить квадратную подушку и красную перину с почтенным г-ном Юберте, тем более что она говорила о своем старом покровителе с чисто дочернею простотою, не допускавшею никаких подозрений.

— Вы не можете себе представить, сударь, до чего господин аббат был добр ко мне. Он брал меня с собою на прогулку. Случалось, он иногда забывал меня в какой-нибудь книжной лавке, так он был рассеян, но он вскоре заходил за мною. Когда он оставлял меня дома, то не забывал приносить мне фунтики мелких конфет или бумажные ветряные мельницы. Я дула, чтобы они вертелись; тогда он смеялся над тем, как я надувала щеки, и его, по-видимому, забавляло прислушиваться к тому, как хрустели у меня на зубах конфеты; как он защищался, когда я тянулась целовать его моими сладкими губами.

— Но, Фаншон, когда вы были маленькой, кто же надевал на вас платье, кто умывал вас, расчесывал вам волосы?

— Да все он же, сударь; я как сейчас вижу его. Он приносил большой таз с водой и с мылом, которое пенилось. Я кричала, пряча мой нос, закрывала глаза и уши. Потом он забирал мои руки в свои и тер их до тех пор, пока они не становились чистыми. Он осматривал их вплоть до ногтей. Ему я обязана постоянным старанием, чтобы они были у меня всегда чистые, хотя я и отчищаю, не колеблясь, старые медали и мои сковороды, так как господин Юберте любит покушать, и справедливость требует, чтобы я хоть немного отплачивала ему за те заботы, которые он мне посвятил, и чтобы я старалась угождать ему в его пристрастиях и в его забавах.

Г-н де Портебиз начинал уже вполне осваиваться с м-ль Фаншон и со всем, что ее касалось. В ней было что-то легкое, гибкое и тонкое. Все это сливалось в юную грацию, которая легко могла бы перейти в сладострастие, если бы оттенок чистоты и наивности не изливал на нее ту чарующую свежесть и невинность, которые на самом деле мешали придавать какой-либо иной смысл ее речам и задавать себе вопрос, что, собственно, понимала она под забавами аббата.

М-ль Фаншон в отсутствие г-на Юберте не раз занимала его посетителей, но среди них встречалось не много столь изящных, как г-н де Портебиз; поэтому и восхищалась она тонким кружевом его манжет и блестящим покроем его платья, не чувствуя при виде его никакой неловкости и скорее польщенная улыбками и вниманием, которые прекрасный господин уделял ее личику и ее болтовне.

— Тем не менее, мадемуазель Фаншон, вашему аббату, должно быть, нередко зато приходилось трудно с вами в первое время, так как вы не были еще опытной хозяйкой, если судить по тому, как вы дали выпить молоко большой собаке?

— Разумеется, сударь, тем более что я была такая трусиха, такая трусиха... В первый вечер он уложил меня спать в библиотеке. Потушив свечу, я лежала с открытыми глазами. Старые книги начали поскрипывать; им отвечали мыши. Я слышала, как они бегали мелкими шажками взад и вперед и совсем близко от меня. Одна из них что-то грызла своими острыми

зубками. Я чуть было не закричала. Наконец, не в силах выдерживать далее, я встаю, босая, в рубашке, и пробираюсь в комнату господина аббата, откуда сквозь дверные щели я видела свет. Он спал в своей громадной постели. От его тяжелого дыхания поднималась и опускалась простыня, доходившая ему до подбородка. Я успокоилась, прислушавшись к его храпу. Утром, проснувшись, он нашел меня свернувшейся комочком в кресле. Ноги у меня были как лед, и на другой день сделался сильный насморк.

— А что на это сказал аббат?

— На другой день к вечеру я нашла мою маленькую кроватку стоявшею в углу его комнаты. Чтобы очистить для нее место, он переместил свои китайские вазы и свои древности. Ах, что это была за кроватка, сударь! Я протягивалась в ней во всю длину и засыпала тотчас, а если просыпалась ночью, то засыпала вновь без страха. У потолка в лампе с тремя рожками горел в масле фитиль. Иногда, впрочем, я все-таки боялась; но достаточно было мне приподняться в моей постели, чтобы увидеть господина аббата в его постели и убедиться, что он там под периной. Кончики шелкового платка, которым он повязывал себе голову, рисовали на стене две тени, похожие на рога. Ах, сударь, я их как сейчас вижу.

— Вы их видите до сих пор, мадемуазель Фаншон?

— Ах, сударь, когда мне исполнилось тринадцать лет, господин аббат подарил мне обстановку. Но взгляните сами.

Она распахнула дверь, довольно искусно скрытую деревянной обшивкою, и г-н де Портебиз увидел хорошенькую комнату с зеркалами и кроватью за драпировкою.

— Он сказал мне: «Фаншон, ты теперь большая. Здесь ты будешь у себя». И он показал мне туалет, отпер шкаф, в котором висели платья и лежало белье. Он воспользовался, чтобы все это устроить, легким нездоровьем, которое только что продержало меня в постели около недели и из которого я вышла выросшею и развившеюся. С этого дня я перестала носить детские туфли без каблуков и стала ходить в ботинках на высоких каблуках. Я получила отдельный ключ. Господин Юберте обращался со мной как со взрослою. Его отношения ко мне остались отеческими, но стали более осторожными. Он стучит в дверь, прежде чем войти ко мне. Однако по утрам, когда я еще сплю, он иногда входит на цыпочках. Он думает, что я его не вижу, и я предоставляю ему так думать. Он подходит, крадучись, и смотрит, как я сплю. Ему это, по-видимому, доставляет удовольствие, сударь, а я этому рада, потому что разве не справедливо, что мой ночной чепчик и мое утреннее лицо развлекают его взоры? Я перед ним в долгу. Разве тень от кончиков его фуляра на стене не достаточно часто успокаивала мои страхи, для того чтобы вид моего чепчика не мог радовать его взгляд? Поэтому, заслыша его шаги, я устраиваю так, чтобы незаметно показать кусочек моей обнаженной руки или моего открытого плеча.

— Вы хорошо говорите, Фаншон, и рассуждаете, как умная и осторожная девушка, — сказал смеясь г-н де Портебиз, — и я вижу, что господин Юберте может рассчитывать на ваш ум так же, как и на ваше сердце. Одно стоит другого. Но как ни должен быть счастлив аббат вашим обществом, тем не менее он иногда отлучается — если судить по сегодняшнему вечеру — и оставляет вас одну, как я застал вас. Чем можете вы наполнить ваши дни?

— Но я танцую, сударь.

— Вы танцуете, отлично, мадемуазель Фаншон, но кто же составляет вам визави? У вас есть возлюбленный, и аббат оплачивает скрипки?

М-ль Фаншон принялась хохотать так открыто и так громко, что г-н де Портебиз, хотя и уверенный в том, что не оскорбил ее, чувствовал себя, однако, почти уязвленным этою веселостью.

— Да нет, сударь, вы не угадали, и здесь не то, о чем вы думаете. Чтобы сказать вам все, я должна сообщить вам, что господин аббат любит балет. Он часто ходит в Оперу и страстно желал бы, чтобы и я когда-нибудь могла выступить там. Чтобы развить мои таланты, он дал мне лучших учителей, и их уроки принесли мне пользу. Они хвалят мои успехи, и уже сейчас мне поручают выходы и небольшие роли. Мадемуазель Дамбервиль, по просьбе господина Юберте, не отказала помочь мне советами. Я работаю неустанно, чтобы оправдать ее внимание ко мне и чтобы понравиться господину Юберте. Он любит танец, сударь, и приятно слышать те превосходные слова, которые он о нем говорит.

Г-н де Портебиз с изумлением слушал речи м-ль Фаншон. С минуту как в воздухе начал распространяться сильный запах гари. Фаншон убежала и вскоре вернулась. Она, казалось, была рассержена, и гримаска досады опускала покрытые легким пушком уголки ее рта.

— Вот, обед господина аббата подгорел... Ах, боже мой! А господина аббата все еще нету... На улицах так много карет! Только бы с ним не случилось какого несчастья! Не говоря уже о том, что он часто приносит книги больше и тяжелее его самого.

Она жаловалась и почти плакала, держа обеими руками концы фартучка, которым осторожно утирала уголок глаза, когда в дверь кто-то начал скрестись.

Девочка, которую г-н де Портебиз видел, когда входил, внизу лестницы, просунула свою красную и испачканную рожицу и грязными пальцами протягивала письмо.

— Подай сюда, Нанетта; кто это тебе передал?

— Высокий лакей.

— Давно ли?

— Сию минуту.

— Ты лжешь. Вы разрешите мне прочесть, сударь? «Фаншонетта, не жди меня. Я буду ужинать у мадемуазель Дамбервиль. Я принесу тебе сухарики и конфеты. Ты получишь эту записку довольно рано и сможешь еще пойти к господину Дарледалю разучивать твое па».

— Видишь, как ты солгала, Нанетта. Почему ты не поднялась ко мне тотчас? Зачем ты замарала записку?

Нанетта ничего не отвечала. Она высунула язык и спрятала его как раз вовремя, чтобы получить пощечину, которую отвесила ей легкая рука м-ль Фаншон.

Нанетта всхлипнула.

— Теперь давай сюда твой нос, — приказала ей м-ль Фаншон, ставшая вдруг матерински-заботливой, вынувшая свой носовой платок и высморкавшая сопливую девочку, — а теперь убирайся, живо!

Нанетта быстро скатилась с лестницы; слышен был удалявшийся топот ее грубых башмаков.

— Она злобная, сударь, и никогда не бывает иною; кроме того, она скрытная. Господин аббат поместил ее в школу. Так подумайте: она приносила в своей корзинке лошадиный помет, чтобы заражать зловонием классную комнату. Она проводит дни на дворе или у дверей. Смеется она, только когда видит хромого или горбатого, или когда падает лошадь, или когда бьют собаку. Она насмехается над прохожими. Тогда ей дают пощечины. Она это любит. Она ото всех получает тумачи. В конце концов, ей дают их как милостыню. Господин аббат сам отпускает ей иногда по нескольку тумачиков, а я, как видите, заканчиваю то количество тумачиков, которое она получает и которое, несмотря на общие старания, не превышает того, чего она

заслуживала бы.

— Я, с своей стороны, могу попотчевать ее палкою, — сказал г-н де Портебиз, беря свою трость, поставленную было им в угол. — Тем более что я теперь отлично припоминаю, что видел у нее в руках письмо, которое помешало бы мне так долго надоедать вам, сударыня, и позволило бы мне тотчас просить вас передать господину аббату Юберте мое сожаление о том, что я не застал его дома.

Г-н де Портебиз стоял на пороге рядом с той высокой зеленой бронзовой урной, в которую он постучал при входе и на звук которой появилась перед ним странная маленькая особа, теперь прощавшаяся с ним прекрасным реверансом и дружеской улыбкою.

— Господин аббат будет меньше жалеть о том, что не оказался дома, сударь, если вы были довольны мною; но я не буду довольна собою, если не обращу вашего внимания на эту вазу, которая относится к глубокой древности и которую господин Юберте очень ценит.

М-ль Фаншон своею красивою рукою охватила один бок урны. Ее белая рука поглаживала зеленую бронзу. Она приложилась к ней своею свежою щекою кокетливо и нежно. Урна была одной высоты с нею, и на ней, в виде ожерелья, висела карточка, на которой г-н де Портебиз мог прочесть следующую надпись: «Найдена г-ном де Галандо в Риме в 1768 году»...

Когда дверь за ним закрылась, г-н де Портебиз стал искать перила ощупью. «Странно, — сказал он самому себе. — Я приезжаю сюда, чтобы повидать ученого, который знал моего покойного дядю и может кое-что сообщить мне о нем, а попадаю к старому чудаку аббату, который подбирает на улице девочек, укладывает их спать в своей каморке и воспитывает их для балета. Все это заслуживает, быть может, некоторого удивления, но, должен сознаться, что меня это, по меньшей мере, сильно позабавило».

Он продолжал спускаться, когда услышал голос м-ль Фаншон. Она свесилась через перила.

— Сударь, сударь, если вы пойдете смотреть балет «Ариадну», не забудьте в хоре афинянок взглянуть на ту, что держит гирлянду и голубя, и приветствуйте в ней Фаншон, вашу покорную слугу.

Взрыв серебряного смеха озарил темную лестницу, а г-н де Портебиз, поднявший голову вверх, оступился, при чем мог превосходно разбить себе нос и рисковал сломать себе шею.

IV

Г-н де Портебиз жаждал увидеть вблизи м-ль Дамбервиль, члена Королевской Академии музыки и балета.

Он видел ее раньше в театре, освещенную огнями рампы под слоем румян, в разнообразных костюмах ее ролей, в ее пышных платьях с подборами, украшенными гирляндами цветов, и высоких прическах, среди грациозного сплетения балетных фигур, которые она оживляла своим изящным, умным, благородным или страстным танцем. Она сливалась в его уме со сверканием люстр, с ритмом музыки и с теми сказочными событиями, которые она изображала и козни которых она распутывала своими стремительными и легкими носками. Она была в его памяти непостоянною, изменчивою и убегающею, окутанною прозрачными газами, сверкающею огнями бриллиантов и как бы носящеюся силою ритма и собственной легкости в каком-то движущемся чуде, где она была светящимся центром и где все лучилось вокруг нее.

Знаменитая артистка казалась ему в этом виде восхитительной, в действии своей грации, обновлявшейся с каждым жестом, с каждым шагом. Но г-н де Портебиз знал, как мало реальности бывает в том, из чего порою актрисы создают видимую маску для своей иллюзии, как ничтожно количество плоти, нервов и костей, из которого они творят свой очаровательный призрак, и какую роль играют в нем материальное содействие уборов, поддержка румян и помощь тканей, которыми они себе придают особый блеск, которыми гримируются или в которые одеваются.

Именно эта разница и эта неожиданность и занимали г-на де Портебиза. Он горел нетерпением попытаться измерить расстояние, существовавшее между блистательной и обманчивой сильфидой, пленившей его взоры, и реальным существом, которое откроет ему просто только себя.

Успокаивало его всего более в этом опыте то, что м-ль Дамбервиль была любима многими. От ее бесчисленных поклонников у нее оставались любовники, а из ее любовников — друзья, что заставляло думать, что за воздушным явлением существовала земная женщина и под маскою — лицо. В ожидании возможности проверить свое желание он с восторгом припоминал образ м-ль Дамбервиль, танцующей в балете «Ариадна», бывшем в эту минуту в моде и в котором, по отзывам любителей и газет, прекрасная нимфа превзошла себя.

Сцена изображала дикую местность с высокими скалами, покрытыми плющом. Среди этого критского пейзажа сотня молодых людей и сотня девушек, привезенных Тезеем для принесения их в жертву Минотавру, плакали на свою несчастную судьбу. Передвижением групп смешивали фигуры. Потом каждый юноша выбирал одну из девушек, и пары, объединенные общим несчастьем, прощались с жизнью и изображали свое отчаяние. Оркестр передавал их ужас. Флейты напоминали пастушеские радости, которых злой рок лишал навсегда эти молодые жизни, обреченные, согласно обету, в жертву. Скрипки передавали плач девушек; звуки виолончели, более низкие, передавали жалобы юношей, а глухое рычание контрабасов предвещало близкий рев чудовища с бычьей головой.

В эту минуту появлялся Тезей, ведомый Ариадной. Он был в тунике, отливающей серебром, и в долмане. Его прическа состояла из пяти локонов, напудренных добела, над которыми возвышался, согласно греческой моде, пук волос. Его серебряные ботинки доходили до икр. Ариадна вела его за руку.

М-ль Дамбервиль славилась богатством и изяществом своих нарядов. На фоне белой тафты раскрывалась юбка, покрытая серебром и подхваченная бантами из бриллиантов. Плечи закрывал плащ, усеянный блестками, затканый узорами из цветов и окаймленный легкою бахромою. Ариадна выступала мелкими шажками. Все сверкающее сооружение ее наряда дрожало огнями. словно какая-то блестящая изморозь испарялась вокруг нее. Ее лицо, с розовыми щечками и красными губами, улыбалось.

Легкая светозарная статуя, неподвижная с минуту, мало-помалу оживлялась. Легкими переходила она шагами от группы к группе, успокаивая нежные жертвы, которые боязливо вопрошали ее; потом, среди них, она останавливалась, поднявшись на носки, и все взоры вперялись в ее движения. Потом поднятою рукою она медленно разматывала длинную золотую нить, грациозным движением наматывала ее на руку Тезея и указывала ему на вход в лабиринт, делая знак проникнуть туда. Простершиеся хоры молили. Контрабасы глухо рычали, трубы издавали воинственные звуки, и герой исчезал между двух скал в зияющее отверстие рокового вертепа.

Тут начинался танец, который, по общим отзывам, являлся торжеством м-ль Дамбервиль.

Сложные па Ариадны означали собою извилины лабиринта. Она то осторожно выступала вперед, то внезапно отбегала, словно перед опасностью, затем снова выступала, снова

останавливалась, вертелась на одной ноге в серебряном вихре. Она подражала ходьбе ошупью в потемках, колебаниям в пути; изображала ночные ужасы, подземные ковы, наконец, встречу с чудовищем, борьбу, победу, движение ноги, наступившей на голову зверя, и возврат к свету. Она бросалась ко входу в лабиринт, задыхающаяся и жаждущая, протягивая руки навстречу победителю, которого еще не было видно, но чей героический и спасительный подвиг возвещался радостью в оркестре.

Не менее восхитительна м-ль Дамбервиль была в третьем акте, когда Нептун приводит к Ариадне Вакха. Обитатели морей тут смешиваются с поселянами. Тритоны и сирены танцуют рядом. Нереиды и нимфы льют в одну и ту же урну свои пресные и соленые воды. Море само выбрасывает на берег колесницу бога виноградарей. Все это составляло пестрое и танцующее зрелище, великолепное разнообразием поз, искусным сочетанием декораций и превосходством техники. Различные божества изображали двойную стихию, земную и морскую. Фавны были в масках земляного цвета, а тритоны в масках лазурных. Они составляли комический дивертисмент, в котором они тормозили Ложь, оставленную Ариадне неверным Тезеем: последняя изображалась танцовщиком-буфф, на деревянной ноге, в одежде, покрытой множеством мелких масок и с потайным фонарем; балет кончался вакханалией, где среди всевозможных танцующих фигур появлялась Ариадна в колеснице бога, среди виноградных ветвей, тирсов и тамбуринов. Она стояла в одежде, отливавшей золотом, с тигровой шкурой на плечах, и увенчанная виноградными гроздьями. Оргиастическое дыхание вздымало ее грудь, и она принимала из рук Гебы кубок божественной юности и вечного восторга.

Публика, отметившая м-ль Дамбервиль с первых ее шагов, боготворила ее. Ее карьера была счастливая и быстрая. Фигурантка, затем дублерша и, наконец, солистка, она была знакома с тем, что театральная слава представляет наиболее шумного и наиболее интимного в похвалах и в известности. Она возбуждала восторг толпы и заслужила общее одобрение любителей. Ее жизнь богини и феи давала ей над людьми власть неодолимую. Они бросались наперерыв удовлетворять ее малейшие прихоти. Любовь наградила ее всем, даже богатством.

Каждый хотел иметь м-ль Дамбервиль для себя одного, так как мужчинам доставляет громадное наслаждение прикасаться к естественным элементам, вызвавшим в них иллюзию, и обнимать их, если можно так выразиться, в их обнаженности. Они стремятся к близости того тела, чей вид вызывал в них желание.

Поэтому м-ль Дамбервиль, знаменитая на сцене, подвергалась ухаживаниям и в своем будуаре. История ее алькова и анекдоты ее кушетки давали постоянный материал любовной хронике, и г-н де Портебиз приказал г-ну Лавердону превзойти самого себя, так как он знал, что иногда м-ль Дамбервиль не оказывалась нечувствительною к красивой внешности и, следуя всего чаще собственным интересам, не отказывала себе время от времени в удовлетворении своего каприза.

Так ей приписывали в эту минуту г-на де Вальбена, племянника канцлера, который на нее разорялся, и кавалера де Герси, который расточал лишь то, что молодым людям в его возрасте ничего не стоит. Этот успех, которым он был обязан качествам, по слухам, исключительным, делал г-на де Герси самым хлыщеватым из мужчин. Он так был уверен в своем значении, что не считал опасным представить м-ль Дамбервиль своего друга Портебиза, который, хотя не обладал, быть может, специальными достоинствами кавалера де Герси, мог, однако, притязать на свежесть и новизну.

М-ль Дамбервиль жила недалеко от Сены, близ Шайльо, почти за городом. Там она владела обширными садами, с грабинами и беседками и со множеством роз, так как она любила, чтобы их аромат вливался в воздух, которым она дышала. Ее пристрастие к эссенциям заставило ее одною из первых принять моду на ароматические лаки, от которых роскошные обивки и панели пахнут жасмином или фиалкою. Она была чувствительна ко всему, что усиливает наслаждение жизнью, вплоть до интимнейших подробностей. Она требовала вокруг себя самой изощренной роскоши. Ее изысканность была законом. Поэтому немало было разговоров по поводу уборной, устроенной ею в своем доме в Шайльо, описание которой обошло все газеты. Сиденье из ароматического дерева в нише из расписной грабины было снабжено особо изобретенным тазом с клапаном, а стеклянные шкапы содержали в себе целую коллекцию интимной посуды из фарфора.

Г-н де Портебиз некогда читал это описание господам де Креанжу и д'Ориокуру, и трое юношей в глухой провинции весьма изумлялись такой утонченности и такой учтивости, не предполагая, что один из них когда-нибудь будет ужинать в этом знаменитом доме, так как в те времена и Франсуа де Портебиз также совершенно не думал о преимуществах быть внучатым племянником некоего г-на де Галандо, только теперь ежедневно оценивая полезное действие и благие последствия этого обстоятельства.

Г-н де Портебиз не полагал, разумеется, что м-ль Дамбервиль живет во дворце на манер театра, но он ожидал, по крайней мере, застать у ее дверей большое скопление карет. Поэтому он был в достаточной степени изумлен, когда его карета, миновав площадь Людовика XV, проехав Кур-ла-Рен и еще некоторое пространство, остановилась у решетки, которая даже оказалась запертою. Баск соскочил на землю и стучал до тех пор, пока привратник не вышел из швейцарской. Его скромная ливрея не предвещала никакой пышности. Он указал г-ну де Портебизу аллею, которая вела к дому. Снежок запорошил землю; две белые статуи стояли по обе стороны крыльца. Дверь отворили.

Войдя в вестибюль, г-н де Портебиз отметил приятное ощущение ровной и умеренной теплоты. Оштукатуренные стены отражали свет фонаря, горевшего тускло, как ночник. Высокая печь белого фаянса в углу накаляла свои молочные стенки и потихоньку гудела. Два высоких лакея, сидевших на ковровых стульях, вязали молча. Один из них провел г-на де Портебиза, толкнул дверь и доложил.

То была большая круглая комната, полуосвещенная и жарко натопленная; несколько мужчин встали, и меж створками ширмы, в каком-то мягко обитом бочонке, г-н де Портебиз увидел воздушную фигурку, окутанную газами, и тонкое лицо, в котором он узнал, как в наброске и словно в отдалении, ту самую улыбку, что пленила его на устах Ариадны.

— А вот и он! — раздался низкий хриплый голос кавалера де Герси, который, подойдя к г-ну де Портебизу, поцеловал его несколько раз. — А вот и он! Разрешите мне, дорогая, представить вам его.

— Я надеюсь, сударь, что вы не слишком соскучитесь в нашем обществе, так как кавалер уверяет, что вы переносите его компанию, которая, несомненно, несноснее всего на свете; но он добрый малый, поэтому вам можно это простить. Вы, вероятно, очень давно знаете господина де Герси?

— Черт побери! — воскликнул кавалер. — Мы знакомы с ним спокон века, и вот уже более месяца, как мы с ним не расстаемся. Я встретил его у веселых девиц, куда меня бросила ваша суровость и куда его привело желание, так как дела его в этой области еще не урегулированы. Моя мать, которая от него без ума, весьма желала бы иметь любовную связь с ним, и если он будет от этого уклоняться в дальнейшем, то ему уже придется иметь дело со

мною.

— Послушайте, Герси, перестаньте болтать вздор! Представьте вашего друга этим господам и подайте мне ручную грелку, которая греется в камине.

Г-н де Герси повиновался и с грациею медведя принес небольшую серебряную грелку, уже остывавшую под пеплом.

М-ль Дамбервиль была зябкою. Зимой, не отказываясь от легких газов, которыми она окутывала свою красоту, она любила ощущать жар. Ее дом был изумительно приспособлен для этой цели. Окна и двери закрывались прочно, а воздух тщательно поддерживался теплый и ровным. Ее гибкое тело жило в таимом тепле ватной подбивки. Ей это нравилось, и таким образом закутанная внизу, она сверху сохраняла свои весенние одежды; и, защищенная от сквозных ветров, спрятав ноги в подушки, она, обмахиваясь ароматным веером, небрежно подставляла свое лицо непрерывной ласке легкого ветерка.

Г-н де Портебиз находил ее очаровательною; он с изумлением смотрел на эту изнеженную и призрачную особу, внушавшую мысль о чем-то хрупком и слабом, среди лени ее кисейных покрывал; и он спрашивал себя, как из этой распутившейся розы могла выйти такая легкая пчелка, чей резвый полет ослепил его взоры и до сих пор трепетал в его памяти.

Первый гость, которому кавалер де Герси представил г-на де Портебиза, звался г-ном де Парменилем.

Г-н де Пармениль был высокий и красивый мужчина, худощавый, учтивый и церемонный. Естествоиспытатель и путешественник, он объехал весь свет. При виде его чувствовалось, что самые необычайные зрелища, самые своеобразные нравы, самые странные обстоятельства не могли заставить его отказаться от своих манер и от своих привычек. У антиподов его можно было представить себе совершенно таким же, каким его видели здесь. Он смотрел на вас тем же взглядом, каким он стал бы разглядывать альгонкинца, караиба или папуаса.

Про него рассказывали, что, брошенный кораблекрушением на пустынный остров, он прожил там три года, не спасая от бури ничего, кроме своей трости и ручного саквояжа. Открыв его, он увидел, что из всего имущества уцелели квадратик зеркала, мыльница и пара бритв. Когда, три года спустя, шлюпка с английского корабля пристала к острову, чтобы запастись пресною водою, командовавший ею офицер встретил прогуливающегося по берегу совершенно голого человека, выступавшего важно, опираясь на трость. Его взяли в таком виде, и когда он прибыл на корабль, то капитан с восхищением увиддел, что его подбородок и щеки были чисто выбриты и что достаточно было дать ему платье, чтобы снова превратить его в джентльмена, столь же корректного, как если бы он, вместо того чтобы прожить тридцать шесть месяцев на манер дикаря, только что вышел из своего кабинета или из какого-нибудь модного кружка.

Г-н Гаронар, художник, был еще выше ростом и худощавее, чем г-н де Пармениль, но держался на иной, совершенно противоположный лад. Из-под его расстегнутого жилета вырывалось съехавшее набок жабо. Из двух его манжет тончайшего кружева одна висела, изорванная, у кисти руки. У г-на Гаронара были нетерпеливые руки, быстрый взгляд, длинное, раздражительное лицо, костлявый нос и щеки, испачканные табаком. Он не переставал за разговором, за работою погружать пальцы в свою табакерку. У него была целая коллекция всевозможных табакерок, которые он вынимал из карманов, забывал положить обратно и оставлял валяться на мебели; из них он ежеминутно брал и щепотками рассыпал содержимое на платье и даже на палитру. Табак примешивался и к цветной пыли его пастелей, и не один из его портретов носил на щеке в качестве невольной мушки пылинку табака.

Невзирая на резкость его нрава, на требовательность его капризов и на уклоны его характера, мужчины и женщины одинаково добивались благосклонности его карандаша. Он превосходно передавал лица с их самыми переменчивыми подробностями и умел схватывать даже самую их подвижность. Если люди из общества на вес золота оспаривали друг у друга моду быть написанными Гаронаром, то немногие любители в тиши делили между собою холсты, рисунки и офорты, в которых он трактовал для себя и для них тот единственный сюжет, который интересовал его всерьез.

Г-н Гаронар был живописец женского тела в его наготe и в его красках. Он изучал его со страстью. Он выслеживал в любви самые потаенные и самые смелые позы и воспроизводил их с такою свободою и такою точностью, что в них, чувствовалось, жила сама страсть, само наслаждение. Г-н Гаронар не пользовался для этого моделями в собственном смысле; он ненавидел красавиц академических классов и мастерских; но если на улице или где-либо в другом месте ему попадалась красивая девушка, то он приводил ее к себе, просил ее раздеться и забыть о его присутствии. Иногда он приводил их несколько, заставлял их резвиться и дразнить друг друга и, следя карандашом за их движениями и за их жестами, старался запечатлеть из них самые естественные и самые красивые. Его бумага покрывалась набросками и эскизами, среди которых он впоследствии находил живой репертуар одушевленных форм.

По утрам он небрежно перелистывал его, пока одна из фигур, проходивших перед его глазами, не останавливалась на себе его внимания. Тогда он переносил ее на особый лист и работал над нею отдельно. Он не прибавлял к ней ни пейзажа, ни аксессуаров. Он преследовал только красоту линий и правдивость рисунка. Нагота тел выступала еще резче на пустой бумаге, а г-н Гаронар заявлял, что округлость груди, изгиб бедра, линия затылка или ширина спины сами по себе составляют картину.

Так он составил, списав с м-ль Дамбервиль, великолепную серию в сотню фигур в натуральном виде, которые, по словам танцовщицы, были историей ее красоты. Она тщательно хранила их и никому не показывала. Несколько вещей в том же роде, с которыми г-н Гаронар едва согласился расстаться, принадлежали г-ну Бершеролю и г-ну Парменилю, ревниво оберегавшим их, так что публика почти не была знакома с своеобразным талантом модного художника, и красавицы Парижа и Версаля, наперебой добивавшиеся чести заплатить огромную сумму за свой портрет, не знали того, что этот высокий худощавый человек, который грубо навязывал им свои неисправности и свои прихоти, был менее чувствителен к чести изображать их лицо, нежели к удовольствию написать обнаженную последнюю девчонку, лишь бы у нее, как цинично говорил г-н Гаронар, был гибкий торс и красивый зад.

Господа Клерсилли и де Бершероль, к которым Герси подвел потом г-на де Портебиза, поклонились ему с отменною учтивостью.

Оба они считались умными людьми. Г-н де Бершероль умел все на свете, даже сумел быть богатым. Г-н Клерсилли хвастал тем, что умел обходиться без богатства. Он называл себя не иначе как «бедняк Клерсилли», и это прозвище за ним осталось. Небольшой рост вполне гармонировал с его живым и тонким лицом. Рожденный для интриг, он ступал легко, ходил мягко, готовый ежеминутно увернуться. Он не входил, а вкрадывался; не уходил, а скрывался. Он приотворял двери, не открывая их настежь. М-ль Дамбервиль прозвала его «сквозным ветром». «На будущую зиму я прикажу проделать для Клерсилли кошачью лазейку», — говорила она, смеясь. Казалось, в самом деле, что он остерегается расти, с тем чтобы легче потом сойти в землю. Он был любим женщинами, причем никогда не было известно наверное, любит ли он их. Он считал себя верным и чувствительным и жаловался на то, что ему ни разу не дали возможности привязаться; вот тут-то он и плакал над участью «бедняка Клерсилли». Он не мог кончить, раз начав рассказывать про то, что он называл своими любовными неудачами. Со всем тем он не был дурным человеком, но был болтлив,

беспокоен, кокетлив и фатоват, хвастаясь тем, что обладал по очереди всеми возлюбленными своего друга Бершероля.

Г-н де Бершероль в сорок пять лет был полон и румян, со свежим цветом лица, с красивыми, несколько оплывшими чертами, представительный и изящный. Ловкий и удачливый финансист, он посвятил откупам ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы составить себе состояние, и, как только это было достигнуто, он поспешил их бросить. Сразу из крупного откупщика он сделался большим баринном. «Бершероль, — сказал ему г-н де Клерсилли, — теперь тебе придется только тратить и освобождаться от богатства».

Г-н де Бершероль последовал совету. Насколько, в качестве делового человека, его знали за резкого, прижимистого и недоверчивого, настолько же он стал теперь вежлив и щедр. Его образ жизни доставил ему уважение и дружбу света, так как нигде нельзя было поесть лучше, чем у него. Роскошью и открытым столом он заглушал упреки, которые иначе раздавались бы по поводу того, что он бережет для себя. Ему были благодарны за употребление, которое он делает из своих денег, потому что он умел быть кстати и великодушным, и забывчивым. «Все дело в том, — говорил он, — чтобы уметь воздержаться. Откупщиков упрекают не столько в том, что они обогащаются, что, в конце концов, говорит об их здравом смысле и об их ловкости, сколько в том, что они упрямо раздуваются выше всякой меры, что является уже доказательством их жадности и скупости. От них требуют, не без известной справедливости, быстроты для приведения себя в приличное состояние. В самом деле, человек, который пятьдесят лет положил на то, чтобы нажить деньги, сохраняет после этого долголетнего труда финансовый букет, который не так-то приятен и не так скоро испаряется. У него остается обхождение уличного точильщика, от которого он не может освободиться всю жизнь. Следует, наоборот, быстро и успешно проделать работу и как можно скорее убрать свой навоз. В этом случае ты являешься просто светским человеком, который имел несчастье нуждаться в обогащении и имел счастье обогатиться».

Верно, что у маркиза де Бершероля не оставалось ничего от прежнего ремесла. Он проявлял себя безупречным джентльменом, любящим пышность, и великолепным. Он с изяществом и тактом выражал тонкие и умные мысли, составлявшие для него род непринужденного красноречия. Он обнаруживал просвещенный вкус к литературе и к искусствам. Он великодушно держал кошелек развязанным, а стол постоянно накрытым, и можно было поклясться, что он всю жизнь только и делал, что оказывал людям услуги, потому что он вкладывал во все такое великодушие и такую скромность, что привлекал к себе все сердца и уничтожал предрассудки, которые люди могли бы питать по отношению к нему. И г-н де Портебиз почувствовал, как его тянет к нему с первой же минуты, и г-ну де Герси пришлось тащить его за рукав, чтобы представить его г-ну де Сен-Берену, оставшемуся последним и чье имя, благодаря стишкам и мадригалам, было известно всякому, считавшему себя светским человеком.

— Герси, вы забываете аббата, — сказала м-ль Дамбервиль.

— Мне сдается скорее, что аббат сам забывает нас, — ответил г-н де Сен-Берен, — так как он спит, словно в церкви, находясь меж тем в одном из святилищ любви.

Тут г-н де Портебиз увидел в углу гостиной старого толстого аббата, который, сидя в широком кресле, заполнял его своим благочестивым телом и спал глубоким сном, скрестив на животе руки. Подбородок его покоился на его брыжах, и вся его фигура дышала довольством и покоем. Его окружили, но он не проснулся. Белая кошечка г-жи Дамбервиль легко прыгнула к нему на колени и лизнула розовым язычком сложенные руки спавшего.

— Скорее, Варокур, разбудите его, — сказала м-ль Дамбервиль, обращаясь к высокой и полной белокурой женщине, только что вошедшей в комнату. — Вы как раз кстати.

М-ль Варокур из Оперы наклонилась над аббатом и звучно поцеловала его в обе щеки. Добряк открыл глаза; его сонное лицо прояснилось, он испустил радостный вздох. Его широкое красноватое лицо покрылось морщинками, благодущный и звонкий смех раздался из его уст, сотрясая его полную фигуру.

Он обхватил м-ль Варокур за талию и поднялся при этой поддержке.

— Прошу к столу, — сказала м-ль Дамбервиль. — Господин де Портебиз, вы там ближе познакомьтесь с аббатом Юберте.

— Ах, сударь, — сказал аббат, — ведь я хорошо знал вашего дядюшку, господина де Галандо...

VI

В ту минуту как вошла м-ль де Варокур, лакеи распахнули двери столовой, и она предстала, залитая светом. Блеск огней оживлял розовый мрамор плоских колонн, поддерживавших потолок.

Г-н Гаронар расписал его грациозными фигурами, плясавшими или носившимися по воздуху, и они, казалось, разыгрывали какой-то воздушный балет, пленявший взор своим легким ритмом. Сначала бросалось в глаза сладострастное движение групп, потом мало-помалу улавливалось сходство с м-ль Дамбервиль, которая была изображена там в разнообразных позах, то лежащую, то стоящую, а в середине композиции — в виде Гебы, с кубком в руке, склоненная, улыбчивая и внимательная, словно прислушиваясь к долетавшим снизу хвалам ее молодости и красоте.

Деревянные панно, расписанные в белый цвет, легкими гирляндами окаймляли детали барельефов. На столиках, у высоких зеркал, сверкали хрустальные канделябры. На обоих концах залы, в нишах, обнесенных решетками, две мраморные статуи изображали охотниц. У их ног борзые собаки поднимали длинные морды к двум водоемам, из которых вода лилась в два другие, большей величины. Эти фонтаны тихо журчали. На столе свечи канделябров горели ярким пламенем. Белый фарфоровый сервиз с легкою позолотою был окружен плато из живых цветов, со сверкавшим на нем хрусталем и серебром. В зале, сильно натопленной, температура была жаркая и приятная. Шаги лакеев, обутых в ботинки с войлочными подошвами, не были слышны вокруг стола. Все уселись, пронесся легкий шелест шелка и покашливанье аббата Юберте.

Г-н де Портебиз взглянул на м-ль Дамбервиль, сидевшую неподалеку от него. Она освободила свой стройный стан от покрывавших ее газовых шарфов. Словно потоки света дали возможность внезапно распуститься нагоде ее плеч и заставили созреть округлость ее груди, небольшой, упругой и манившей из корзинки корсажа. Шея поддерживала гордо и смело посаженную голову. Черты лица были чудесны своею соразмерностью. Они были словно нежно изваяны из как раз достаточного количества плоти. Нельзя было не любоваться блеском глаз, изгибом рта, тонким очертанием носа, придававшим законченность всему облику своею редкою определенностью, лоб был увенчан густою массою волос, которые пудра покрыла своею легкою изморозью.

М-ль Дамбервиль была в таком виде неожиданна и очаровательна. Казалось, что-то вокруг нее только что рассеялось. Она словно превратилась в прекрасный острый и сверкающий кристалл, как снежинка, которая внезапно получила бы четкие грани бриллианта.

Г-н де Пармениль рассматривал ее с высоты своей холодной недоверчивости, г-н де Гаронар бросал на нее искоса быстрые взгляды. Г-н де Сен-Берен улыбался во весь рот. Г-н де Клерсилли капризно надувал губы, а г-н де Бершероль, расцветший и небрежный, опирался о спинку ее стула. На гостей низошло какое-то общее довольство, какое-то ощущение счастья и словно взаимное согласие насладиться этим мимолетным часом, который красоту мыслей и слов приправлял пряностью соусов и ароматом вин.

На аббата Юберте приятно было смотреть. Веселое и сластолюбивое добродушие оживляло его широкое лицо, смесь лакомства и довольства вздували его пухлый рот. Чувствовалось, что он действительно рад присутствовать и несколько не удивлен ни тем, что находится здесь, ни что его видят здесь другие. Он знал, что мудрецы всех времен никогда не отказывались от удовольствия побезрассудничать сообща, и он готовился принять участие в беседе умов, достаточно разнообразных для того, чтобы столкновение их было богато неожиданностями и забавными эпизодами.

Был подан еще только раковый суп. Скромность прислуги обеспечивала свободу беседы. Но пока каждый оценивал бархатистый вкус супа. Кавалер де Герси первый кончил тарелку. У кавалера де Герси, необыкновенно высокого, необыкновенно толстого, с необыкновенно могучими членами, был ужасный аппетит. Чтобы его насытить, понадобился бы целый стол. Он ел за четверых и пил соответственно; но если желудок его был ненасытен, то голова его была менее устойчива, и если ему почти никогда не удавалось удовлетворить вполне свой голод, то ему иногда приходилось переходить за пределы своей жажды и вследствие этого чувствовать себя не слишком хорошо. М-ль Дамбервиль живо восставала против невоздержности кавалера и карала его за нее кратковременными немилостями, которые г-н де Герси переносил с трудом и в которых он утешался как и где мог. Он отправлялся буянить к веселым девицам. Там его и встретил г-н де Портебиз. Пропьянствовав и прошлявшись с неделю, он возвращался к м-ль Дамбервиль, которая сменяла гнев на милость. Эти бегства к бочке и к бутылке возвращали ей кавалера де Герси покорным и сокрушенным, и он старался заслужить прощение. М-ль Дамбервиль смотрела, как он поглощал огромные куски. Он был в самом деле прекрасен в этом виде и составлял странный контраст со своим другом, г-ном де Портебизом, евшим деликатно, с вилочки, и казавшимся задумчивым и рассеянным, так что он вздрогнул, когда м-ль Дамбервиль, обращаясь ко всем гостям, произнесла своим звонким голосом:

— Я не сомневаюсь, господа, что мы доставим большое удовольствие господину де Портебизу, если побеседуем о любви. В возрасте господина де Портебиза и с его внешностью предмет этот должен всего более занимать его, и он непременно почувствует к нам признательность за то, что мы этим путем отвечаем его сокровенным мыслям. К тому же, мы все здесь люди опытные в этом деле и наши речи будут только полезны и приятны молодому человеку, словно созданному, чтобы понимать их. Таким путем мы поддержим его мысли в их естественной склонности, и ему не придется отрываться от себя, чтобы поинтересоваться нами.

— Факт, — отвечал г-н де Бершероль, — что это, к тому же, кратчайший путь для встречи друг с другом. Это, собственно говоря, перекресток, на котором сходятся самые различные умы, притом самыми различными путями. Статуя Любви стоит на площадке Сладострастия и в точке пересечения аллеи Чувства. Я лично с удовольствием приму участие в этой беседе, но не знаю, много ли вынесет из нее господин де Портебиз. И в самом деле! Разве я, со своей стороны, не знаю, как думает каждый из нас об этом предмете? Господин де Пармениль расскажет нам о том, как любовь видоизменяется соответственно различным местностям и народам. Он будет сравнивать различные ее виды и обычаи. Господин Гаронар опишет нам то существенное, что он находит в красоте тела. Господин де Сен-Берен напомнит нам сладчайшие песни, на которые его вдохновила любовь. Господин де Клерсилли познакомит нас с несколькими приключениями, внушенными любовью. Я лично подсчитаю вам, во что она обходится. Что касается Герси, возможно, что он совсем ничего не расскажет,

а вы, сударь, вы не можете сделать ничего лучшего, как поведать нам, чего ожидает от любви тот, кто вправе ожидать от нее всего.

— Что касается меня, — сказал аббат Юберте, — я счастлив, что господин де Бершероль оставил меня в стороне. Мое положение и моя внешность, впрочем, надеюсь, были бы достаточными для господина де Портебиза, чтобы избавить меня от вмешательства в это дело.

— Вы, сударь, вероятно, изумлены, — продолжала м-ль Дамбервиль, — видя здесь, в нашем обществе, аббата. Это, по меньшей мере, положение странное для человека его возраста и его характера, и если ваши годы и ваш нрав примиряются с ним вполне естественно, то он, наоборот, прилаживается к нему с некоторым трудом. Вы, конечно, не позволите себе выразить удивление при виде его среди нас, но вы, разумеется, не можете не почувствовать некоторого изумления. Разрешите, господин аббат, объяснить вас господину де Портебизу. Не извольте сердиться по-кошачьи и сидите смирно. Итак, взгляните в него, сударь; вы видите, каким веселым довольством дышит вся его фигура. Разве вы подумали бы, видя его, что этот ученый муж занимался когда-либо не тем, чем он занят в настоящую минуту? Эта бутылка бургундского притягивает его к себе, и его лицо как бы светится ее отсветом. Шея и плечи мадемуазель Варокур, которые у нее прекрасны, не заставляют его отвращать от них свои взоры. А между тем, сударь, у него есть принципы.

— А Фаншон? — раздался фальцет г-на де Клерсилли.

Аббат Юберте поставил стакан на стол и задвигался на стуле. Его лицо выражало комический гнев, и он разводил своими большими мягкими желтыми руками.

— Да, сударь, — продолжал безжалостный г-н де Клерсилли, — если вы посетите нашего аббата, то вместо почтенной экономки, которая лечит припадки его подагры и варит ему настойки, вы встретите там пятнадцатилетнюю девочку, которая откроет вам дверь с глубоким реверансом. Что вы об этом скажете, господин де Портебиз?

— Это доказывает, — отвечал г-н де Портебиз, — только то, что господин Юберте любит, когда ему прислуживает хорошенькое личико.

— Ах, сударь, — кричал аббат, отбиваясь, — не слушайте этих господ; я взял к себе в дом Фаншон, когда она была вот какого роста...

— И чему, как вы думаете, обучил он малютку? — визжал Клерсилли. — Шитью, уборам, уходу за бельем и за домом или стряпне? Нет, сударь, вы ни за что не угадаете, — она изучает хореографию.

— Правда, — вмешалась м-ль Дамбервиль, — что Фаншон танцует восхитительно.

— И что же, — сказал аббат, покорившись, по-видимому, насмешкам, — разве это не лучше, чем заставлять ее изнывать за иглою или над домашним хозяйством? Глаза у нее не будут красные, а пальцы не будут исколоты иглою. Танцы благоприятствуют здоровью и возвышают красоту тела. Они изоцряют и ум; чтобы хорошо танцевать, нужен ум, и у Фаншон его много. Благодаря танцам женщина сохраняет известное положение в свете, и мужчины благодарны ей за то, что она изображает перед ними пастушек, принцесс и богинь. Это побуждает их обращаться к ней как к одной из этих фантастических личностей. Разве нас не оценивают сообразно нашей внешности? И те образы, с помощью которых мы выражаем высшее сладострастие, высшую трогательность и высшее благородство, вызывают к нам общее благоволение и поднимают нас в воображении всех. Господин де Портебиз будет постоянно видеть в мадемуазель Дамбервиль Ариадну. Разве вы со мною не согласны, сударь?

— Конечно, согласен, тем более что случай дал мне честь познакомиться с мадемуазель

Фаншон. Она прекрасна, и была ко мне столь добра, что на днях, в ваше отсутствие, целый час показывала мне редкости вашего кабинета. Она поведала мне историю большой собаки и кувшина молока.

— Как, — воскликнул аббат с громким хохотом, — вы, сударь, и есть тот молодой дворянин, о котором Фаншон не перестает говорить и который так, по-видимому, интересовался моими медалями и моими древностями? Ваш художественный вкус удваивает мое уважение к вам, и я отнюдь не думал, чтобы этот неведомый любитель был родной внучатный племянник бедного господина де Галандо, которого близко знал я когда-то. Но Фаншон позабыла ваше имя. С маленькой ветреницей это случается. Простите ей ее молодость.

— Берегитесь, аббат, — сказал де Бершероль. — Балет изощряет ум девушек. У вас отнимут этот алмаз. Маленький домик недолго обставить.

— Так что из этого? У меня, сударь, будет место, куда пойти поужинать. Моя старость не ревнива, и я никогда не думал запрещать Фаншон составить счастье хорошего человека.

Все рассмеялись, и аббат вместе с другими. Он облокотился о стол, меж тем как лакей клал ему на тарелку крылышко пулярки.

— А чем это худо? — продолжал аббат. — Предположите, что Фаншон выросла бы в доме родных, которые были люди бедные; разве она избежала бы общей участи девушек — глупого или жестокого мужа или какого-нибудь грубого или лживого соблазнителя? Благодаря мне она, по крайней мере, узнает любовь и страсть при лучших обстоятельствах. Разве не лучше во всех отношениях, что, вместо того чтобы составить удел какого-нибудь грубияна, она достанется честному, тонкому и богатому человеку, вроде вас, господин де Бершероль, который будет относиться к ней с обычным вниманием, будет с нею нежен и любезен? Видя красоту в руках простолюдинов и жителей предместий, я испытываю почти то же чувство, которое переживал некогда, находя в руках итальянских мужиков благородные медали, обнаруженные в земле их плугом или отрытые их киркою и едва блестящие на их землистых ладонях.

— Не забудьте, сударь, — со смехом повторила м-ль Дамбервиль, обращаясь к г-ну де Портебизу, — что у аббата есть принципы. И они даже превосходны. Лучший из них тот, что он думает то, что говорит, и при случае готов это выполнить на деле. Его натура так великодушна, что мирится со всеми противоречиями. Это — мудрец. Он набожен, честен и чист и будет слушать рассуждения господина де Парменнля о религии, которые отвратительны, или цинично-физиологические разговоры господина Гаронара. Вольные словечки господина де Бершероля или господина де Клерсилли не вызовут в нем удивления, и он мог бы увидеть меня лежащую рядом с вами, сударь, под носом у господина де Герси, и все-таки он доел бы свое куриное крылышко.

Кавалер, слыша свое имя, поднял голову от тарелки и едва не подавился тонкою косточкою. Но он был привычен к шуткам и выходкам м-ль Дамбервиль и чаще всего делал вид, что ничего не слышит. Косточка прошла; Герси выпил большой стакан вина и снова принялся за еду, кладя в рот двойные куски.

— Мадемуазель Дамбервиль сказала правду, сударь, — продолжал аббат, тяжело вздохнув. — Я довольно добродушный наблюдатель окружающего. Природа вложила в меня жажду любви, но моя внешность делала меня к ней мало пригодным. Я понял это и попробовал от нее отвлечься; я принял сан, который меня от нее избавил и охранял меня от смешного зрелища, которое встречается в свете, когда тебя не любят или ты любишь невпопад. Мой недостаток благодаря этой военной хитрости превращался в добродетель. Не будучи вынужден интересоваться никем в частности, я попытался заинтересоваться всем. Печальная необходимость, сударь, изливать на окружающее глубоко внутреннее чувство и

растрачивать его, не получая взамен. Я полюбил землю и природу, животных и людей, времена года и их плоды — словом, всю вселенную в ее настоящем и ее прошлом.

Не смея притязать на обладание красотой в живом теле женщины, я искал ее в различных и рассеянных формах — в лицах прохожих, в улыбках танцовщиц и актрис, в рельефе медалей, в профилях камей, в позах статуй. И могу, сударь, сказать, что я был награжден за мои труды. В моем воображении создалась определенная фигура, которая будет жить, пока я буду жив. Что я говорю, самая земля была ко мне благосклонна, так как однажды она показала мне точный образ моего вождения. Древняя латинская земля выдала мне свое лучшее сокровище в виде сидящей Венеры, которую я открыл и которая сейчас находится в королевском собрании. Пойдите посмотрите на нее, сударь, то была моя единственная любовь.

Аббат Юберте остановился. Его слушали со вниманием. Белый котенок м-ль Дамбервиль, пробравшийся в залу, вскочил на стол. Побродив с минуту, он сел на задние лапы, облизал переднюю лапку и три раза провел себе ею по мордочке.

— Так, сударь, — снова сказал аббат, — ожидал я старости. Она пришла; я желал ее. Долгие годы подчинял я мои чувства строгой дисциплине. Теперь я уже не боюсь никаких уклонов с их стороны. Они требуют от меня так немного, что я не колеблюсь удовлетворять их. Вот почему вам, может быть, и покажется, что я отдаюсь им. Но это не так, сударь. Я пользуюсь законным правом. Фаншон — одно из моих преимуществ. Мадемуазель Дамбервиль — другое; потому что, разве это не исключительное счастье моих лет — мирно наслаждаться красотой их юности?

Аббат Юберте говорил долго. На его полном лице выступили крупные капли пота. К тому же в запертой зале жара становилась чрезмерною. Порою на обоих концах его слышалось переменное журчание и падение воды из фонтанов в бассейны.

— Вам следовало бы взять пример с аббата, мосье Гаронар, — лукаво сказал г-н де Клерсилли художнику. — Вы должны бы подражать его скромности.

И г-н де Клерсилли принялся рассказывать, как г-н Гаронар намеревался было, без дальних церемоний, использовать г-жу де Кербиз, портрет которой он писал. На следующий день весь город должен был узнать об этом, так как г-жа де Кербиз сама разносила эту историю повсюду.

— О, — холодно ответил г-н Гаронар, — это не в первый раз случается. У меня в мастерской найдется более дюжины холстов, перевернутых и незаконченных по той же причине.

— Я отказываюсь понимать эту госпожу Кербиз, — сказала м-ль Дамбервиль. — Гаронар недурен собою. К тому же он богат, а какая-нибудь госпожа де Кербиз вовсе не так уже озабочена честью своего мужа. Не правда ли, господин де Бершероль?

Г-н де Клерсилли, который наряду со всеми любовницами г-на де Бершероля притязал также и на г-жу де Кербиз, почел своим долгом принять скромный и многозначительный вид.

— Послушайте, Гаронар, как вы принялись за это, черт возьми? Я считал ее более сговорчивою?

— Деньги, — наставительно сказал г-н де Бершероль, словно продолжая свою мысль, — необходимы в любви. Они нужны. Конечно, деньги не все, а когда они все, то это довольно отвратительное зрелище, особенно когда одна только власть денег соединяет красоту с уродством. Это отталкивает. Но деньги превосходное орудие, только бы им приходилось помогать сносной внешности. Они одаряют ее внезапным очарованием и дают вам средство иметь всех женщин, которых желаешь, вместо того чтобы иметь только тех, которые сами

желают. Деньги ускоряют, облегчают и придают страстям счастливую быстротечность. Они помогают вернее различить тот единый лик, что кроется за сотнею масок любви.

— Иные, однако, предпочитают знать только один лик любви, — вкрадчиво произнес г-н де Сен-Верен. — Количество любовных приключений играет для них меньшую роль, чем их длительность. Они ограничили бы донною Эльвиroy список Дон-Жуана. Одна женщина лучше, быть может, чем три, три лучше, чем тысяча, и даже лучше, чем тысяча и три.

— Я их имел в этом количестве, — сказал г-н де Пармениль. — Правда, они отнюдь не были похожи одна на другую, так как разнились настолько же друг от друга, насколько разнятся страны, где они обитали: одни — в снеговых хижинах Лапландии, другие — в шалашах из древесной коры, построенных могиканами, или в землянках и листовенных лачугах негров, если то не были бамбуковые крыши китайцев. Они приносили жертвы всем богам, а я лишь одному — Любви.

Раз что разговор принял такой оборот, то он быстро перешел на анекдоты, и все эти господа рассказывали весьма много и весьма забавных анекдотов, которые были оценены по достоинству. Каждый утверждал, в конце концов, что любовь разнообразна в самом существе своем и что она дарит неожиданностями, за которыми не надо ездить так далеко.

— Вам всем известно, — сказал г-н де Бершероль, — какую правильную жизнь я веду относительно женщин и каким превосходным порядком руководствуюсь в этом деле, но так было не всегда, и я сравнительно довольно поздно пришел к тому поведению, за которое хвалю себя каждый день.

В то время как я расстался с откупам, мне стукнуло тридцать восемь лет. До этой поры я любил немножко без разбору. Разумеется, я вовсе не хочу быть неблагодарным к тем встречам, которые доставлял мне случай, между ними были весьма приятные, против которых мне нечего было возражать, но, тем не менее, я стал замечать, что всего чаще я был доволен более самим собою, чем теми, которые должны были бы усиливать мое довольство особым характером их любезности. Красота сообщает чувствам таинственную помощь, и дело в том, чтобы удачно выбирать эти стимулы сладострастия. Словом, я заметил, что я рисковал прожить жизнь, не имея тех женщин, которых я всего более желал бы иметь, и мне захотелось этому помочь.

Вот как я взялся за дело. Я смотрел вокруг себя более тщательно, чем делал это до тех пор. Мало-помалу я выяснил себе, какие лица мне нравятся более других, и составил список тех, кому они принадлежали. Сделав это, я поставил себе задачей и вменил себе в обязанность овладеть, одна за другой, теми женщинами, которые были мною таким образом отмечены. Я достиг этого; я действовал с полною свободой ума и добился желанного успеха, ни разу не отклоняясь от намеченного мною порядка. Это постоянство имело странным следствием то, что я стал казаться неверным. Меня стали считать ветреным. Я постарался проверить мою верность и могу вам рассказать единственное отклонение от нее. К тому же, нужно было случиться одной из тех неожиданностей любви, о которых мы только что говорили.

Случилось мне быть в деревне, на охоте, с ружьем в руке, с ягдташем на боку. Он был тяжел. Я рыскал до самых сумерек по кустарнику, где скрывались молодые куропатки, и заблудился, а когда настала ночь, то, отбившись от моих людей, не знал, какую дорожкою вернуться в замок. Я заметил сквозь деревья свет, вошел в хижину, довольно опрятную, и попросил ночлега. Крестьянин принял меня радушно, не зная меня. Он дал мне поесть, указал мне на сеновале место на сене и пожелал мне спокойной ночи. Едва я лег, как услышал, что кто-то взбирается по лестнице и осторожно идет по соломе. Я оставил мое ружье внизу и чувствовал себя довольно глупо; темно было, как в печи. Маленький фонарь, данный мне хозяином, погас. Я сжал кулаки, решив защищаться. Кто-то еле слышно дышал рядом со мною. Эти вздохи успокоили меня, и я начал догадываться, в чем дело. Разумеется, она не

была занесена в мой список и не входила отнюдь в мои планы; но в данную минуту я об этом не думал. Я вытянул руку и встретил под холстом рубашки полную грудь. Я ощутил нежную и свежую кожу. Я почувствовал на моих губах смачный поцелуй, и я отдался этому своеобразному ночному приключению.

Должен ли я говорить вам, что оно было восхитительно? Я не видел той, что дарила меня наслаждением и, казалось, разделяла его вместе со мною. Ах, что это была за чудная ночь деревенской любви! Ароматы сена и тела сливались в легком, теплом и душистом воздухе. Заря едва забелела сквозь щели слухового окна, когда пенье петуха разбудило меня. Я потихоньку собрал свое платье и ощупью направился к лестнице, по которой спустился через ступеньку, и убежал в поле. Мне посчастливилось найти дорогу к замку. Моя немая красавица не произнесла ни слова, и я уносил после этой неожиданной ночи лишь шорох смятого сена и таинственное воспоминание о невидимых устах и неясном, очаровательном теле.

— Раз мы вступили на романтический путь и так как эти истории занимают, по-видимому, мадемуазель Дамбервиль, — сказал г-н де Пармениль, — то я должен сообщить вам, что я встретил приблизительно незнакомку господина де Бершероля; только из прекрасной дочери Франции она для этого случая превратилась в китаянку в Китае.

— Мы последуем, сударь, за вами всюду, куда вам будет угодно нас повести, — ответил г-н де Бершероль, — и я горю нетерпением вновь отыскать мою молчаливую красавицу.

— Вы сейчас узнаете ее, — сказал г-н де Пармениль, и он начал свой рассказ. — Мыплыли вверх по Желтой реке, в огромной золоченой джонке, с зеленым драконом на корме. Берега, поросшие тростниками, кончились, и мыплыли уже вдоль заселенного берега. Он был окаймлен пагодами и маленькими могилами. Наконец мы причалили в порту Ганой-Фонг между двумя высокими сваями, расписанными и украшенными резными гримасничавшими масками. Вскоре прибыл первый мандарин; с отменной вежливостью приветствовал он нас и пригласил к себе в гости. Его дом, показавшийся нам роскошным, стоял на берегу воды, в саду, где было множество киосков и фарфоровая башня. После целого ряда церемоний нас ввели в длинный зал, где на небольшой эстраде сидела дочь нашего хозяина, небесная Тунг-Чанг. Был приготовлен ужин, за которым нам подавали множество странных блюд, и мы должны были отведывать их из вежливости и любопытства.

Мандарин был старый; на нем было красно-зеленое шелковое платье с мелкими пуговицами и род круглой камилавки, из-под которой сзади висела коса.

Все обошлось прекрасно, и мы простились самым сердечным образом, получив разрешение оставить нашу джонку в порту, укрепленную на канате, и пропуск для осмотра окрестностей. На это стали уходить мои дни. Я изучал нравы и растения. Вечером я нередко отправлялся на прогулку по садам мандарина. Аллеи были посыпаны разноцветным песком. Здесь и там на легких колонках стояли стеклянные шары, наполненные водою, и заключали в себе причудливых рыбок. Они были золотые, с красным, желтым или зеленым отливом, и словно горбатые, с огромными глазами, резными плавниками и длинными, волокнистыми усами.

Мне случалось встречать порою небесную Тунг-Чанг, приходившую кормить их. Мы с нею раскланивались издали, с жеманством, обычным в этой своеобразной стране. Тунг-Чанг была одета, в несколько платьев неравной длины и разных цветов, надетых одно на другое и схваченных у талии широким поясом, завязанным спереди. Прическа ее была высоко взбита, и в ней торчали длинные шпильки. Она передвигалась крошечными шажками, на высоких колодках из резного дерева. Когда я проходил мимо, она искоса взглядывала на меня своими кокетливыми узкими глазками.

Однажды вечером, когда я остался в саду позже обыкновенного, я сидел у подножия фарфоровой башни. Ожидая восхода луны, я слушал, как в темной ночи стонала группа

тростников; вдруг я почувствовал, что кто-то в темноте взял меня за руку. Я встал и пошел. Неясная фигура увлекла меня за собою и ввела в башню через низкую и небольшую дверь, о существовании которой я не знал.

Я очутился в слабо освещенной комнате. На стене рогатый идол гримасничал над курившимся свечами в золоченой бумаге. Божественная Тунг-Чанг изнеженно покоилась на подушках и сделала мне знак сесть около нее. Платье на ней было полураскрыто, она отстранила его одним движением и ручками прикрыла глаза.

Я понял и почел долгом выполнить то, чего от меня ожидала прекрасная китайка. Я имел полный успех. Ее гибкость, ее подвижность приводили меня в отчаяние. Ее маленькое желтое тело выскользывало из рук. Ее груди довольно близко напоминали два теплые лимона. Она была похожа на маленькое животное, задорное и увертливое, и я нашел ее нежною, влюбленною и весьма опытною. Ее косые глазки улыбались на ее лоснящемся лице. Она издавала пряный запах имбиря, чаю и ванили и тот крепкий аромат, который остается на дне старых лаковых коробок. Она произносила хриплые звуки, которых я не понимал. Между двумя наслаждениями она вынула из волос одну из длинных шпилек с шариком на конце и, смеясь, уколола меня в щеку; я вдыхал аромат осыпавшихся роз, наполнявших своими лепестками высокие бронзовые вазы, а с остроконечной крыши фарфоровой башни, залитой лунным светом, в серебристом ветерке до меня доносился легкий звон воздушных колокольчиков.

Разговор разбился на отдельные диалоги после рассказа г-на де Пармениля. Он передавал шепотом на ухо м-ль Дамбервиль некоторые подробности своего китайского приключения, равно как и г-н де Бершероль, склонившись к м-ль де Варокур, дополнял кое-какими деталями свою деревенскую любовь. Обе женщины слушали вполголоса. М-ль Варокур улыбалась в пространство, прямо перед собою, а м-ль Дамбервиль своими пальчиками отбивала по тарелке ритмы танцев, поглядывая украдкой с возрастающим интересом на г-на де Портебиза, вполголоса беседовавшего с аббатом Юберте. Старый аббат, казалось, весьма внимательно слушал то, что ему говорил сосед. Он то покачивал головою, то одобрительно надувал три свои подбородка. Он поднимал глаза к потолку, потом снова опускал на своего собеседника. Г-н де Портебиз умолк. Аббат выпил большой стакан вина и вытер себе губы ладонью.

— Разумеется, сударь, — сказал он г-ну де Портебизу, — интерес, проявляемый вами к памяти вашего дядюшки, господина де Галандо, и те вопросы, которые вам угодно предложить мне о нем, делают вам честь совершенно особенную. Прежде чем на них ответить, позвольте мне похвалить вам вас самого и вместе с вами одобрить ваше поведение, так как обычно племянники ведут себя совершенно иначе и в подобном случае поступают с преступною неблагодарностью. Они торопятся забыть виновника их нового богатства и чувствуют к нему благодарность лишь за то, что умер. Случается, что они еще упрекают его в том, что он запоздал. Обычай этих наследников тем более предосудительны, что они должны были бы вести себя иначе, так как всего чаще благоденствие достается им от кого-нибудь из близких, и приличие требовало бы не отказывать покойному в тех чувствах, которые они проявляли к нему при жизни.

Что касается вашего случая, сударь, то обстоятельства здесь совсем иные. Вы совершенно не знали вашего дядюшки, и, как вы оказываете честь сообщить мне, вы о нем почти никогда не слыхали. Он не занимал никакого места в ваших привязанностях и не имел никакого лица в ваших воспоминаниях, а вы все же озабочены тем, чтобы восстановить это лицо силою вашей благодарности.

— От вас только зависит, господин аббат, в самом деле, — отвечал г-н де Портебиз, —

положить конец той неопределенности, которая, должен сказать, и вы понимаете это, менее отягощает мне сердце, нежели ум, и которая имеет своеобразный характер. Я отнюдь не притязая на нарушение посмертного покоя, в который удалился господин де Галандо; мне было бы даже неприятно исторгать, в некотором роде, тайны его памяти. Нет, сударь, от вас я жду совершенно иного. Вы поздравляете меня с тем, что я не следовал примеру обычных наследников, не ощущающих никакого сожаления по поводу события, которое часто более трогает, нежели волнует. Не обманывайтесь, сударь, и позвольте мне, наоборот, позавидовать им, — как они счастливы. Разве они не были призваны к изголовью умирающего? Они шли за его гробом. Они платили пономарю и могильщику. Они точно знают облик того, кого они провожают в могилу. Они кое-что о нем знают; им выражают соболезнование по поводу понесенной ими утраты. Они находят в глубине ящика письма; они получают старье, чтобы отдать его старьевщикам, портрет, чтобы отнести его на чердак; что касается меня, то мое положение совсем иное, и судите его необычность.

Я получаю наследство от неведомого дядюшки, который для меня не имеет ни лица, ни фигуры, ни сложения, — ничего, что могло бы помочь мне представить себе его в точности. И ради какого черта, если я не могу представить себе его живым, стану я убеждать себя, что он умер! Его наследство, если можно так выразиться, висит в пространстве, и я не могу присвоить себе то, что мне ни от кого не достается, так как для меня господин де Галандо не есть кто-либо. Ничто, в конце концов, не доказывает мне, что он существовал когда-либо в действительности. Разве все это не смешно? И я ведь не преувеличиваю. Все словно сговорились, чтобы поддержать мое незнание. Его банкир в Риме, некий господин Дальфи, который мог бы дать мне о нем сведения, только что умер. Господин Лобен, управляющий его землями, никогда его не видел. От него я узнал, что дядя жил в Париже. Здесь ни господин де Кербиз, который пятьдесят лет знает весь город, ни господин Лавердон, который полвека убирает головы всем выдающимся людям, о нем ничего не слышали. Что касается моей матери, то она ничего не желает рассказывать о нем, и я каким-то чудом узнал от нее ваше имя. Поэтому, сударь, судите о моем удивлении и моей радости, когда я от вас услыхал сейчас, идя к столу, что вы хорошо знали господина де Галандо, так подумайте о том, как я вам буду благодарен, если вы поможете мне представить себе этого почти несуществующего дядюшку!..

— Успокойтесь, сударь, ваш дядюшка существовал, — ответил, улыбаясь, аббат, — и я имел честь даже обучать его в юности в том прекрасном замке Понт-о-Бель, который он вам, без сомнения, оставил. Я был приглашен некогда в это имение к господину де Галандо. То был молодой человек, кроткий и сговорчивый, и я спрашиваю себя, почему ваша матушка, которую я видел там тогда еще совсем малюткою, постаралась так преднамеренно забыть своего двоюродного брата Николая; но это нас не касается. Моя задача оказалась нетрудною; мне удалось образовать из него набожного и скромного воспитанника. Чистота его нравов равнялась кротости его характера. Он не был чужд литературных вкусов, и я не сомневаюсь, что позже ваш дядя устроил свою жизнь сообразно тем твердым принципам поведения, которыми мы постарались его напитать. Но события помешали мне дожидаться плодов моего труда. Наш епископ, господин де ла Гранжер, увез меня в Рим. Я уехал в путешествие. Затем однажды мои письма остались без ответа. Время шло. Протекали года, и лишь много лет спустя я снова встретил господина де Галандо.

Несмотря на долгую разлуку, мы тотчас узнали друг друга и бросились друг другу в объятия, к великому изумлению прохожих, так как это произошло как раз посередине Нового моста. Мы шли в противоположном направлении, и издали, едва завидя друг друга, мы друг друга узнали. Некрасивая внешность не меняется, и мое лицо, вследствие этого, удостоилось долговечности; его внешность не показалась мне слишком изменившеюся, и эта встреча была мне приятна.

Я узнал от него, что через несколько лет после смерти матери он отправился в Париж. Я уверен, что он вел там уединенную жизнь, так как его вкусы отнюдь не влекли его ни к

мотовству, ни к распутству. Я не ошибся, но я заметил, что он жил в странной праздности и что ум его совершенно не был занят, так что я не мог себе объяснить, что могло заставить его предпочесть пребывание в столице его деревенской жизни в Понт-о-Беле. Чтобы побороть эту леность, я возымел мысль заинтересовать его моими работами и использовать, с целью заполнить его досуги, те знания, которыми я постарался обогатить его юность. Я успел в этом превыше всех надежд. Несколько времени спустя я ввел его в общество, которое ему понравилось и где он понравился своею учтивостью и своею любезностью. Там не занимались вопросами дня, и беседы велись там не на модные темы; но эти люди не имели себе равных в знании всевозможных древностей. Господин де Галандо усвоил их трудолюбивую, сидячую и размеренную жизнь. Он имел в Марэ квартиру, выходящую в сад. Я как сейчас вижу его в ней, и там, сударь, хочу помочь вам увидеть его мысленно.

Господин де Галандо, ваш дядя, не был хорош собой, но и не был безобразен; он был ни молод, ни стар, казалось, он остановился раз навсегда на сорокалетнем возрасте и твердо решил не выходить из него; высокий, худой и несколько сутуловатый; огромный парик окружал его костлявое лицо. Он носил широкое серое платье, которое, доносив, заменял таким же. Редко в карманах его не болталась какая-нибудь книга вместе с наполнявшими их медалями, звеневшими друг о друга. На пальце в перстне он носил дорогой камень, на котором было что-то выгравировано, и он часто рассматривал его, поднимая дугою одну из бровей. Выражение простоты было разлито во всей его особе, и он мог бы, в силу своей откровенности, показаться даже неумным, если бы его молчаливость, его поведение и его добродетель не внушали к нему такого уважения, что мы между собою прозвали его Римлянином, не подозревая, чтобы он когда-либо получил это прозвище иначе как в силу своего благородного характера, строгости своих нравов и постоянства своей умеренности. Единственным чувственным пристрастием его была любовь к винограду.

Он покупал самый прекрасный виноград и к тому же всего чаще оставлял его на столе нетронутым, словно один вид прекрасной грозди уже удовлетворял его жадность мудреца...

Аббат Юберте прервал свою речь. Он привлек к себе бутылку и налил вино. Г-н де Портебиз молчал. Дядюшка Галандо, если можно так выразиться, облекся в плоть перед его взорами, и, развеселясь, словно чтобы приветствовать этого нового пришельца, г-н де Портебиз взял бутылку аббата и, в свою очередь, налил себе вина. Он допил вино, когда г-н Юберте снова заговорил:

— Я иногда рассказывал вашему дяде о винограднике моего друга, кардинала Лампарелли. Он находился в конце его сада, в Риме. Однажды мы сидели там, в тени виноградных лоз, меж тем как рабочие невдалеке от нас рыли землю. Выполняя работу, служащую для забавы, они открыли остатки древностей. В земле находились осколки утвари и медалей, которые мы постепенно рассматривали, как вдруг нам пришли доложить, что под киркою обозначилась рука статуи. Мы бегом поспешили к месту находки. Ах, сударь, эта рука выходила из земли наполовину и, будучи лишена кисти, словно молила нас о помощи! Вскоре показались плечи, потом голова и наконец все тело Венеры. Мрамор сверкал местами из-под покрывавшей его глинистой коры. Лампарелли плясал от радости, а я на коленях, в пыли, целовал прекрасную разбитую руку. Солнце светило ярко. Кардинал на этом не остановился; когда я вернулся во Францию, он продолжал уведомлять меня письмами о дальнейших своих находках, и я думаю, что эти мои рассказы сыграли известную роль во внезапном решении вашего дядюшки уехать в один прекрасный день в Рим.

Мое изумление было велико и разделялось всеми, кто знал господина де Галандо. Ничто из того, что мы могли ему сказать, не могло отвратить его от его плана. Мы свыклись с ним, и он привел его в исполнение. Он вез с собою письма к кардиналу Лампарелли. Но, уехав, наш Римлянин перестал нам сообщать о себе. Я за все время получил от него всего-навсего эту бронзовую урну, которую Фаншон вам, верно, показывала в моей квартире, налево, у двери, и которую он прислал мне около года спустя по приезде его в Рим. Вот и все. Наши друзья один

за другим перемерли, и я остался один из того маленького общества, которым он ограничил свои знакомства. Мы часто говорили там о нем, но я не удивляюсь, что имя его никогда не достигло ушей господина де Кербиза, равно как и тому, что голова его никогда не попадала в руки господина Лавердона. Между ними не было ничего общего. Если бы не вы, я до сих пор не узнал бы, что мой бедный Николай скончался.

Не подумайте, сударь, что вы видите меня нечувствительным к его смерти; вы требовали от меня не сожалений, но точного образа, который помог бы вам представить себе того, кого уже нет в живых и кто для вас мог бы никогда не существовать. Я сделал что мог, я представил вас друг другу. Приветствуйте друг друга и проститесь с ним. Поверьте мне, сударь, не останавливайтесь слишком долго на памяти о том, кто не принадлежал к вашей эпохе и был далек от вас по возрасту. Вы исполнили возвышенный долг вежливости к покойному, и это стремление делает вам честь. Празднество призывает вас. Теперь вы в мире с вашим дядюшкой, но вы совсем не внимательны к мадемуазель Дамбервиль, которая смотрит на вас чрезвычайно любезно. Отдайте ей ваши взоры; ее шея и грудь заслуживают вашего внимания, и послушаем, что скажет господин де Бершероль.

В ту минуту как г-н де Бершероль собирался говорить, двери с шумом растворились и лакей вдруг доложил: «Господин Томас Тобисон де Тоттенвуд».

Г-н Тобисон был поистине необычайного сложения. Его огромное тело наполняло всю ширину безмерного платья из красного бархата. Руки его заканчивались массивными кулаками, мохнатыми от рыжих волос. Короткий и пышный парик в буклях своею пудреною белизной оттенял малиновый цвет квадратного лица, на котором виднелись, словно в массе вареного мяса, маленькие живые глазки, еле заметный носик и крошечный ротик в форме куриного зада и сложенный так, словно он готовился снести яйцо.

Г-н Тобисон де Тоттенвуд был бы, несомненно, лицом весьма комическим, если бы его сила, рост и сложение не внушали к нему уважения; но как посмеешься над человеком, шаги которого заставляли гнуться пол, когда он шагал по нему своими огромными ногами, обутыми в безмерные башмаки с пряжками. Так подошел он к мадемуазель Дамбервиль, жестоко потряс ее руку, приветствовал собрание общим поклоном и молча сел на стул.

М-ль Дамбервиль, казалось, была вполне привычна к манерам англичанина. Он вынул из кармана и протянул ей футляр, в котором заключался бриллиант чистой воды. Пока камень переходил из рук в руки вокруг стола, лакей поставил перед г-ном Тобисоном корзину с несколькими бутылками бордо.

Во время своих приездов в Париж г-н Тобисон никогда не упускал случая навестить м-ль Дамбервиль и поднести ей какой-нибудь подарок; поэтому и она прощала ему его странности и неожиданности, так как г-н Тобисон был богат и чудаковат. Он много путешествовал, и его звали милордом, несмотря на то, что он им не был, так как его старший брат заседал в числе пэров королевства, а он, младший, разбогател на торговле. Когда он составил свое состояние, он покинул Англию и никогда более туда не возвращался. Его видели в Венеции, среди масок карнавала, в Вене и Варшаве, в Амстердаме. Он ездил по всей Европе, из конца в конец, с намерением рассеяться, выказывал себя повсюду любителем женщин, драгоценностей и вина, всегда одетый в красное, огромный, молчаливый, флегматический и невозмутимый.

Он заканчивал, не произнося ни слова, третью бутылку.

— Разумеется, — сказал г-н де Бершероль, — мы все любили, каждый по-своему, и вот мы все здесь в сегодняшней вечер и в довольно хорошем состоянии, могу сказать, все живы и здоровы и можем опровергнуть дурную репутацию любви. Все мы слышали рассказы о несчастиях, причиняемых любовью, и о катастрофах, к которым она ведет, но сами ничего

подобного не испытали. Надо признаться, что любовь была к нам странным образом благосклонна и что нам нечего на нее жаловаться.

— Верно, — возразил г-н де Клерсилли, — что любовь нам не повредила. Быть может, без нее, Бершероль, вы были бы немного богаче, так как вам она обходилась дорого, но без тех затрат, которые вы на нее делали, я был бы менее счастлив.

— Мы тем более должны радоваться этому, — отвечал г-н Гаронар, — что любовь производит также и ужасные опустошения. Я не раз писал лица мужчин и женщин с определенными следами ее слез и ее мучений.

— Я думаю, что наше счастье в любви, — сказала м-ль Дамбервиль, — зависит, главным образом, от той дружеской близости, в которой мы жили с любовью. Мы предоставляли ей, по ее желанию, принимать всевозможные случайные формы, уверенные, что всегда найдем ее под тою маскою, под которою ей захотелось скрыться, чтобы предстать нам. Она была благодарна нам за то, что мы повиновались ее капризам. Любовь становится опасною лишь в тех случаях, когда ее замыкают в один какой-либо аспект. Самая природа ее, которая универсальна, восстает против этого насилия; но, если вместо этого мы предоставим ей свободу волновать нас неожиданностями, в которые она любит рядиться, — она признает нашу податливость и отмечает ее особым вниманием; в противном случае она мстит злополучной верности самым жестоким и самым нелепым, самым жалким рабством.

— Я думаю, что мадемуазель Дамбервиль права, — сказал г-н де Пармениль, — но я не знал, что она такой великий философ. Предположите, в самом деле, что кто-либо из нас любил бы исключительно мадемуазель Дамбервиль, что вместо услад ее очарований он требовал бы от нее постоянства страсти, — разве она была бы тою прелестною, крылатою грациею, которая порхает в наших воспоминаниях? Нет, для одного из нас она сделалась бы особою идеею, для которой он стал бы рабом. Я видел во время моих путешествий эти неподвижные фигуры, служащие для священных культов. Они выточены из драгоценного дерева или из редкого камня и требуют от верующих полного рабства. Они заставляют их простираиться в пыли и грязи и иногда, в качестве жертвы, требуют самой крови верных.

— Не стоит ходить так далеко, — сказал г-н де Бершероль, — мы видели женщин, добивавшихся от своих любовников самых последних гнусностей и самых низменных услуг. Они переносили ужаснейшие оскорбления, просто потому, что...

Г-н Тобисон де Тоттенвуд прервал г-на де Бершероля. Он заговорил по-английски, хриплым голосом, сопровождая слова резкими движениями. Чудак весьма хорошо знал все языки; но в обществе, опасаясь вызвать насмешки своим своеобразным произношением, он употреблял только родной язык. Г-н Тобисон не смущался и продолжал говорить на своем отечественном жаргоне. Гости переглядывались. М-ль Дамбервиль наполовину понимала, так как она танцевала на сценах Лондона и запомнила кое-что из наречия этого города. Г-н Тобисон все говорил, и это длилось довольно долго; когда он кончил, он положил на стол свои огромные кулаки и разразился громким смехом. Все последовали его примеру.

— Вот, приблизительно, что нам рассказал господин Тобисон и что имеет ближайшее отношение к тому странному положению, в которое любовь ставит иногда некоторых любовников, — сказал тогда г-н де Пармениль, который в качестве превосходного лингвиста с таким же успехом мог бы перевести тираду толстого англичанина на китайский или на персидский язык. — Итак, несколько времени тому назад он был в Риме, где познакомился с одною куртизанкою по имени синьора Олимпия. Красавица ему нравилась, и он частенько ходил к ней ночевать.

Однажды утром, когда он еще спал, он увидел, полуоткрыв глаза, довольно пожилого человека, который клал на кресло тщательно вычищенное платье, снятое с себя милордом

накануне вечером. Этот же человек нес в руках и башмаки. Надо вам сказать, что господин Тобисон, у которого большие ноги, весьма дорожит хорошим состоянием своей обуви. В этом отношении ему приходилось жаловаться на небрежность римской прислуги. Этот же человек, наоборот, принес ему башмаки, блестящие восхитительно. Господин Тобисон в восторге от этой новинки возымел мысль попросить синьору уступить ему этого лакея. Услышав эту просьбу, Олимпия разразилась безумным хохотом. Мнимый лакей был никем иным, как французским дворянином, весьма богатым. Эта дама не только вытягивала из него большие суммы, но и возлагала на него самые омерзительные работы по кладовой, прихожей и спальне.

Рассказ г-на Тобисона был встречен общим одобрением; едва он был закончен, как кавалер де Герси, встав из-за стола, крикнул во все горло своим громким, хриплым голосом:

— В добрый час, господа!.. Этот дворянин-лакей мне нравится, и вот, по правде сказать, пиковое-то положение!..

Внезапный восторг кавалера де Герси пробудил общий шум. Впрочем, ужин подходил к концу. Запах вин и кушаний еще отяжелил и без того душный воздух. Все говорили сразу, слова перекрещивались, не дожидаясь ответов. Г-н Гаронар рисовал на бумаге вольные фигуры, переходившие из рук в руки. Г-н де Бершероль позванивал золотом в своих карманах. Г-н де Сен-Берен напевал; м-ль Варокур начинала разоблачаться и пробовала производить перезвон на тарелках. Г-н де Пармениль говорил по-китайски сам с собою. Г-н де Клерсилли пытался встать, но ноги не обещали унести его далеко. Белая кошечка г-жи Дамбервиль осторожно прогуливалась по столу, бродя между хрусталем и блуждая около цветочного плато, где быстрым и вороватым движением лапки она разрывала одну из растрепанных роз, лепестки которой мягким дождем падали на скатерть.

Беспорядок длился довольно долго; наконец, когда он достиг апогея, танцовщица сделала знак г-ну де Портебизу, и оба исчезли, сопровождаемые белою кошечкой, скользнувшей за ними. Никто не обратил внимания на их уход. Аббат Юберте спал, и его большая голова склонялась то к правому, то к левому плечу. Он не проснулся даже при падении де Герси, скатившегося под стол, вокруг которого г-н Томас Тобисон де Тоттенвуд, малиновый, в своем красном платье, но еще твердо стоявший на своих огромных ступнях, носил на вытянутых руках м-ль де Варокур с подобранным на бедрах платьем и с обнаженными ляжками.

VII

Каждое утро пустая карета г-на де Портебиза останавливалась у решетки дома м-ль Дамбервиль, куда Бургундец и Баск являлись аккуратно за своим господином. С того вечера, когда происходил ужин, он не выходил от танцовщицы. К полудню он посылал сказать своим слугам, чтобы они возвращались домой и не преминули приехать за ним завтра. Итак, оба плута, проболтав два часа с привратником, уезжали; но вместо того, чтобы стать позади кареты на запятки, они с удобством располагались внутри на подушках и приказывали везти себя спокойно домой, словно знатные господа.

Они сообщили г-ну Лавердону, когда он, по обыкновению, пришел причесывать г-на де Портебиза, о любовном приключении последнего, и стараниями г-на Лавердона весть эта быстро распространилась по городу. Разумеется, то была не первая проказа м-ль Дамбервиль; в свои любовные похождения она вкладывала смелую свободу; но шум по поводу ее последнего выбора удвоился благодаря скандалу, который поднял вокруг него кавалер де Герси.

Кавалер повсюду носился со своею яростью, и она у него не ослабевала. Он раздражался бранью против г-на де Портебиза, которого обвинял в неблагодарности, и против м-ль Дамбервиль, поведение которой проклинал. Ежечасно он осыпал неверную свирепыми, нацарапанными наспех письмами, которые оставались без ответа.

Ежедневно приходил он обновлять свое бешенство на самое место своего бесчестия и уносил его обратно, напоив его новою силою. Невзирая на его крики и его исступления, решетка дома Шайльо упорно оставалась запертой.

Тщетно вел он переговоры с привратником, у которого ни его шум, ни его угрозы не могли вытянуть ничего, кроме того, что м-ль Дамбервиль отдала приказ никого не пускать, кто бы то ни был.

Г-н де Герси бесился впустую. Когда он утомлялся кричать и показывать кулаки своему невидимому сопернику, он отирал со лба пот и садился на тумбу, с которой в припадке новой ревности вскакивал внезапно, одним прыжком и принимался снова стонать и вопить.

Так продолжалось почти с неделю. Лучше всего было то, что, встречая там ежедневно Баска и Бургундца, приезжавших туда в те же часы, он, в конце концов, сделал их поверенными своего несчастья.

Особенно нравился ему Баск. У него было длинное, худое, насмешливое лицо, и он с почтением выслушивал сетования кавалера, не перестававшего осыпать бранью г-на де Портебиза. Баск и Бургундец, по-видимому, с немим удовольствием слушали, как хозяина их честили мерзавцем, вором и негодяем. Время от времени они подталкивали друг друга локтем и тихонько хихикали. Г-н де Герси горячился еще пуще. Привратник за решеткой хохотал во все горло. Кучер на козлах держался за живот от смеха. Порою прохожие, приняв все это за ссору пьяных слуг, хотели вмешаться и позвать стражу. Кучер успокаивал их, тыча себе пальцем в лоб и давая понять любопытным, что бесновавшийся был не в своем уме.

— Да, Баск, твой господин — висельник, — рычал г-н де Герси. — Да, Бургундец, он — скот; запомни это хорошенько и извлеки из этого пользу; а меж тем я любил его, этого мальчика; он нравился мне, и вот как он меня отблагодарил! Он видит меня пьяным, под столом, уводит мою любовницу и запирает у меня под носом ее дверь, и все это без всякого предупреждения. А меж тем я любил этого чудака, а теперь я буду принужден проколоть ему шкуру в двадцати местах и драться с ним на дуэли!

Г-н де Герси принимал тогда соответствующее лицо.

— Смотри, Баск, — продолжал он, — и ты, Бургундец, смотри! Мы приезжаем на место поединка. Мы раздеваемся. Шпаги одинаковой длины. Я нападаю, он защищается, я отбиваю, он отступает, я перехожу в нападение, настигаю его. Он падает... Врач наклоняется над ним: «Господин де Портебиз скончался!» — «Ах! Он скончался, господин де Портебиз? Я, честное слово, сожалею об этом, сударь; он был хорошим товарищем; вот какова наша жизнь!» И все это, Баск, понимаешь ли, из-за какой-то девицы Дамбервиль!

И кавалер показывал кулак маленькому домику, видневшемуся из-за деревьев в конце оледеневшего сада, который блистал инеем на солнце и, казалось, смеялся в нос над покинутым любовником.

— Разве я нуждаюсь в этой Дамбервиль? — продолжал г-н де Герси. — Разве мне приятно изображать пса у ее дверей? Почему этот дурак не сказал мне: «Герси...» Но нет! Он поступил со мною слишком бесцеремонно; если бы не это, я бы ему уступил ее от всего сердца; я имел ее столько, сколько хотел. И сыт и пьян!..

Баск и Бургундец кивали головами в знак согласия.

— Надоели мне и ее ужины, и ее альков! Неужели ты думаешь, Бургундец, что мне приятно садиться за ее стол между старым толстым аббатом и этим болваном Гаронаром, похожим на воробьиное чучело, терпеть шутки дурака де Клерсилли и выслушивать тирады господина де Бершероля! Ох, а путешествия господина де Пармениля и его рассказы про лапландок и про китайнок! Уж если на то пошло, я предпочитаю Сен-Берена; он разыгрывает фата и душку, чтобы понравиться женщинам, и отпускает им свои глупости; но, по крайней мере, он знает толк в лошадах и умеет отличить кобылу от жеребца. Он делает вид, что вдыхает розы; но, в сущности, ему мил лишь запах навоза. Ты спросишь меня, Баск, почему я оставался в этом бедламе?

Баск ни о чем не спрашивал: он по привычке чесал кончик носа и терпеливо выслушивал иеремиаду кавалера.

— Что там делал я, ослиная башка! Я был любовником мадемуазель Дамбервиль. Ты не знаешь, что значит быть любовником мадемуазель Дамбервиль! Негодяй твой барин знает это теперь; он должен был узнать это за то время, что он заперт с нею. Послушай, мне кажется, что я менее сержусь на него, беднягу! Нет, я совсем не сержусь на него. Нет, в самом деле, если бы он вышел из-за этой решетки, то я подошел бы к нему. «Эх, несчастный Портебиз, вот что с тобою стало. Лицо у тебя в аршин, выражение унылое! Ты теперь сговорчивее; с тобою можно побеседовать. Ах, ну и дела! Но говори же! Грудь у нее прекрасна, ну, а остальное? Ха-ха-ха! У нее руки худые и бока жесткие. Она уже не очень молода, друг мой, наша Дамбервиль! У нее колкие губы и сухая кожа. Ах! Портебиз, ты сам во всем виноват!»

Потом ярость его возгоралась с новою силою.

— Но выходи же оттуда! Что ты с нею делаешь, выходи же! Смотрите, он и сегодня, пожалуй, не выйдет! Итак, это никогда не кончится!

Так продолжалось до тех пор, пока не приходил лакей сказать сквозь решетку два слова Баску и Бургундцу и отправить их домой по приказу их господина. Кавалер слушал, сжав кулаки. Одежда была в беспорядке, парик съехал на сторону.

— Ну, господин кавалер, — говорил Баск, — мы едем. Сегодня это еще не кончится. Не угодно ли вам, чтобы мы отвезли вас куда-нибудь, — так вы простудитесь, пешком, без ваших слуг и в таком виде, что за вами побегут по улице?..

В карете г-н де Герси снова начинал свои жалобы.

— Ах, негодяй, сколько же времени они вместе! И день, и ночь, я уверен в том, Бургундец, не верь тому, что я говорил тебе: твой барин — счастливчик. Эта Дамбервиль очаровательна, и я запрещаю тебе думать иначе, потому что она была моею любовницею, и какою любовницею! Какой огонь! Какой пыл! И она меня обманула...

Она поступила правильно, я заслужил это. Я напился. Тем хуже для меня. Она запрещала мне это. Впрочем, надо уметь переносить измены, когда любишь; я попрошу у нее прощения, она примет меня обратно. Ты смеешься, плут, в любви не бывает стыда. История, которую рассказал нам в тот вечер этот красный и толстый англичанин, превосходна. Он прав, надо уметь допить стакан до дна. Остановись здесь, Баск; до свидания, мой мальчик.

И г-н де Герси выпрыгивал из кареты и шел, размахивая руками, разнося повсюду свой гнев и досаду и сам разглашая с треском свое неприятное приключение.

Повсюду о нем было уже известно. Каприз м-ль Дамбервиль к г-ну де Портебизу принимал размеры общественного события. Газеты писали о болезни танцовщицы. В опере шумели, в других местах начинали волноваться, м-ль Дамбервиль не обращала внимания на самые

официальные приказы и пренебрегала самыми мудрыми советами. Она упорно отказывалась выступать. Публика требовала ее появления на сцене. Театр гремел свистками и сумятицею. Партер требовал Дамбервиль, а директора не могли ее предоставить. Публика требовала, чтобы объявленный новый балет «Сельские похождения» заменил собою «Ариадну». М-ль Дамбервиль должна была изображать в нем Сильвию; поэтому ее присутствие было необходимо.

Ничто не могло сломить ее сопротивления, ни угрозы, ни мольбы.

Дело дошло до того, что общественное мнение потребовало наказания непокорной, и для удовлетворения его было решено заключить м-ль Дамбервиль в тюрьму Фор-Левек.

То было утром, когда м-ль Дамбервиль, спавшая с г-ном де Портебизом, услышала, что в дверь стучат именем короля. Она пошла отворить дверь сама, в чем была. Полицейскому, объявившему, что ему приказано ее сопровождать, г-н де Портебиз спросонок хотел предъявить протест; но м-ль Дамбервиль заставила его молчать и приказала ему снова лечь в постель.

— Там вам смотреть нечего, — сказала она полицейскому агенту. — Что касается вас, — обратилась она к высшему полицейскому чину, — то я вас ждала, но я не сомневаюсь, что вы дадите мне время проститься с этим дворянином, который находится там, и надеть поверх этой рубашки, в которой вы меня застали, что-либо, в чем я могла бы показаться на глаза вашим людям и моим.

Когда полицейский удалился, м-ль Дамбервиль разразилась хохотом в лицо г-ну де Портебизу. Она уселась на край кровати и смотрела в расстроенное лицо молодого человека.

— Итак, мой милый любовник, — сказала она ему, — вот до чего мы с вами дошли! Я должна засвидетельствовать, что вы были на высоте. Вы сделали вид, что ищете вашу шпагу; но поблагодарите меня за то, что я уложила вас снова в постель. Вы не имеете возможности показать то, чем могу дать полюбоваться я. А теперь, сердце мое, шутки в сторону и выслушайте меня!

Она положила одну руку на простыню, а другою она покачивала свою белую и мускулистую ножку. Развившийся локон ласкал ее плечо.

— Во-первых, я должна поблагодарить вас. Благодаря вам я провела весьма приятную неделю и надеюсь, что с вашей стороны вы не очень об этом жалеете. Ваша юность отнюдь не скупится расточать себя, а по тому, как вы обращались со мною, вы не дали мне заметить, чтобы моя уже опередила вашу. Если, несмотря на ваше усердие, вы не равняетесь Герси, то вы превосходите его нежностью. Вы оба на высоте и созданы, чтобы понимать друг друга, к чему вскоре вы и придете, так как я ни минуты не сомневаюсь в том, что он простит вас, когда узнает, что вы все-таки не заставили забыть о нем; таким образом, мы все трое извлечем выгоду из этого приключения. Наш кавалер, благодаря этому, узнает лишний раз, что я могу обойтись без него. Итак, он будет предупрежден, вы прославитесь, а я отправлюсь в тюрьму. К этой тройной цели я и стремилась; теперь, сударь, вам остается выбирать из всех женщин! Они будут оспаривать друг у друга вашу благосклонность; что касается меня, то мне остается Фор-Левек!

Г-н де Портебиз смотрел на м-ль Дамбервиль в глубоком изумлении.

— Это мне было нужно, и я открою вам причину. Вы знаете малютку Фаншон, которая живет у аббата Юберте? Она обнаруживает изумительные способности, скажу даже, восхитительный талант к танцам. Она знает всю мою роль Сильвии в «Сельских похождениях». Она меня заменит. Бершероль хлопочет об этом. Без этой удачной военной хитрости никогда ей не

дали бы случая выступить с обеспеченным успехом. Подумайте, как обрадуется аббат. Он стареет, и я хочу, чтобы он получил от меня эту радость прежде, чем умрет. Вот и все, сударь; но время бежит, и наш полицейский, по всей вероятности, теряет терпение. Итак, оставьте мою грудь в покое, позвоните моих служанок, и простимся. В вашем возрасте любят приключения, а это приключение не может не быть в вашем вкусе.

VIII

После того как м-ль Дамбервиль была прочно и достоительно посажена в тюрьму Фор-Левек и когда г-н де Портебиз вернулся домой, он ощутил какую-то праздность и досаду. В конце концов, он был одурачен, но игра, разумеется, не могла ему не понравиться, и, хотя карты и были подобраны заранее, партия была от этого не менее очаровательной. Он видел себя героем громкого любовного приключения, и если на его взгляд причины не казались ему всецело в его пользу, то тем не менее эта история в глазах света сохраняла прекрасный вид. О ней говорили повсюду, и «неделя г-на де Портебиза» грозила превратиться в поговорку. Г-н де Портебиз был в моде, и это заставляло его ощущать некоторое тщеславие. Г-н де Герси, поклявшийся его погубить, не показывался, занятый тем, что стонал и бушевал у ворот тюрьмы Фор-Левек. Г-н де Портебиз ждал, чтобы появиться в обществе, первого представления балета «Сельские похождения», и этот день близился. Мысль о нем привела ему на память малютку Фаншон, и он решил отправиться с визитом к аббату Юберте.

Доехав до верхнего конца улицы Сен-Жак, он вышел из кареты и, пройдя мокрый двор, поднялся по темной лестнице. Античная маска с расписанными киноварью щеками смеялась во весь рот на двери старого собирателя древностей. Г-н де Портебиз толкнул дверь.

М-ль Фаншон сидела посреди комнаты на стуле с высокою спинкою. Опершись локтями о колена, она подперла подбородок руками и, казалось, была погружена в раздумье, глядя перед собой. Ее взгляды переходили от обломков пыльных скульптур, загромаждавших пол, на ряды книг, покрывавших стены. Она казалась грустною. При легком шуме, произведенном г-ном де Портебизом, она обернула к нему свое хорошенькое личико с прекрасными и, казалось, заплаканными глазами; увидя его, она издала слабое восклицание и встала, скрестив на груди руки.

М-ль Фаншон была в юбочке и в корсаже, что не подходило к ее прическе, покрытой пудрой и убранный зеленью, щеки ее были слегка нарумянены; два розовых пятнышка отмечали их впадинки; ее подвижный рот дополнял очарование ее лица.

— Ах, это вы, сударь? Как вы меня напугали! А господина Юберте все еще нет дома! Нанетта вам ничего не сказала внизу?

— Нанетта мне ничего не сказала, сударыня, и я не жалею об этом, так как вы дома. Но я расскажу господину Юберте, чем вы занимаетесь в его отсутствие. Вы плакали, Фаншон?

И г-н де Портебиз указал пальцем на две круглые слезинки, сбегавшие по щекам молодой девушки.

— Не говорите ему об этом, сударь, умоляю вас. Это его огорчит.

И она отерла глаза.

— Что же вас печалит, прекрасная Фаншон?

— Разлука с господином аббатом.

— Разлука с аббатом? А почему же вы его покидаете?

— Надо вам рассказать все по порядку, сударь. Сегодня утром он посадил меня к себе на колени. «Фаншон, — сказал он мне нежно, — так хорошо. Ты — добрая девушка, и я очень люблю тебя, но нам надо расстаться. Что тут поделаешь? Не могу же я, однако, несмотря на мой возраст, жить в квартире с одной из первых балерин Оперы. Теперь тобою будут заниматься; имя твое будет стоять в газетах. Можешь вообразить себе прекрасное впечатление. „А где живет эта мадемуазель Фаншон?“ — „Она живет у господина аббата Юберте!“ — „Превосходно“. — „А это она танцует в балете „Сельские похождения“? Ах, в самом деле!“ Понимаешь ли ты это, Фаншон?» Тут я заплакала, и он также плакал; а когда я предложила, что откажусь от моей роли и останусь до тех пор, пока он захочет, маленькою, ничтожною танцовщицею, на которую никто не обратит внимания, он рассмеялся и сказал: «Отказаться от твоей роли, Фаншон? Ты не понимаешь того, что говоришь. Роль, из-за которой мадемуазель Дамбервиль сидит в тюрьме!» И он прибавил тысячу нежных слов, которые заставили нас плакать еще больше.

М-ль Фаншон за разговором забыла о том, что она была в юбочке и в корсете. Корсет стягивал ее тонкую талию и открывал ее грудь, трепетавшую от волнения.

— И добрый господин Юберте позаботился обо всем. Он нанял мне маленькую квартирку по соседству с театром, как раз в том доме, где живет господин Дарледаль, мой учитель танцев. Я буду жить там с теткою Нанетты, которую вы видели, и она будет мне прислуживать. Тетка ее бедная набожная женщина, а аббат будет приходить к нам три раза в неделю обедать.

— Вот это чудесно, мадемуазель Фаншон, и об этом нечего плакать!

— А что будет с господином Юберте? Кто будет сметать пыль с его медалей? А потом, видите ли, сударь, я была счастлива, и вся эта перемена меня немного пугает. Вчера я совсем не хотела идти на репетицию, и отвел меня туда господин аббат... Господин Юберте большой знаток балета. Ах, как я волновалась! Но когда я увидела его сидящим на сцене, куда ему принесли стул, я почувствовала себя легко. Я танцевала. Я видела, как он смеялся от удовольствия, наклонялся вперед, упираясь в колени руками, и внезапно откидывался назад. Он делал мне знаки. Я чувствовала себя более легкою, более ловкою; когда я кончила, я бросилась ему на шею. Все барышни, бывшие там, поступили так же, как и я. Все бросились его целовать. Он отбивался от них силою. Поднялась настоящая сумятица, но его не хотели выпустить. Одна тащила его за воротник, другая за рукав, так что в конце концов бедный господин Юберте был весь белый от пудры, и надо было видеть, как он оправлял свой парик и разглаживал свое жабо, красный от смущения, но тем не менее смеющийся!..

И Фаншон при этом воспоминании также громко хохотала. Ее свежие губы открывали белые зубки. Веселость вздымала ее гибкую шею, а легкие виноградные листья ее прически колебались, словно от ветра. Потом она стала снова серьезною; казалось, она раздумывала.

— Что мне особенно тяжело, сударь, сейчас скажу вам, — продолжала Фаншон, наклонив головку, с гримаскою. — Я горюю не столько о том, что покидаю господина аббата, как о том, что я ему так многим обязана и не имею никакой возможности чем-нибудь отплатить ему. Мне бы так хотелось доставить ему удовольствие! Говорят, что я красива, что мужчины любят молодость и первый цвет девичьей юности. Ах, как я жалею о том, что господин аббат в таком возрасте, что не может воспользоваться тем, что я отдала бы ему так охотно! Ах, зачем природа, сделав его таким престарелым, отняла у меня единственный способ, который позволил бы мне не остаться в отношении к нему неблагодарною! Но я говорю глупости, сударь, извините мою простоту!

Г-н де Портебиз, слушая м-ль Фаншон, теперь жалел о том, что он не заслужил, вместо г-на аббата Юберте, ее благодарности. Судя по тому, как она намеревалась вознаградить

благодаяния, г-н де Портебиз был бы рад оказать ей какие-либо услуги. Он находил ее очаровательною, все еще взволнованною ее рассказом.

— Остерегайтесь, сударыня, тревожить ум и портить себе лицо. Слезы и заботы вредят красоте. Для ваших мыслей найдутся другие темы. Подумайте о том, что публика ждет от вас не вздохов и не заплаканных глаз. Чтобы ей понравиться, надо иметь вид довольства и этим заразить ее. Природа наделила вас очарованием, которому искусство придает свою прелесть. Вы обладаете всем необходимым для победы. Мне кажется, что я уже слышу, как настраивают скрипки. Ах, сударыня, как я радуюсь мысли увидеть вас завтра в «Сельских похождениях»! Я представляю себе огни, музыку и целый лес рук, которые вам рукоплещут.

По мере того как г-н де Портебиз говорил, выражение лица м-ль Фаншон, казалось, следовало его словам; ее маленькие ножки дрожали. Она отбежала легкими шагами в глубь комнаты.

М-ль Фаншон танцевала.

Она повиновалась немой музыке, направлявшей ее движения. Вначале она исполняла красивое па, словно встречая кого-то. Двумя пальчиками она грациозно поддерживала юбочку, приподнимая ее над своими легкими ногами. Потом она откидывалась назад с удивлением. Она колебалась. Она подвигалась вперед с кокетливою медлительностью, чтобы робко выслушать признание невидимого пастушка, пыл которого она, казалось, умеряла своими жестами. Ее гибкое тело исполняло в такт тысячу очаровательных движений. Она делала вид, что рвет цветы, доит овец, наполняет корзины, черпает воду. Она была попеременно то любопытна, то внимательна, то ветренна, то полна страсти.

Когда она останавливалась, то слышно было ее дыхание, потом она снова уносилась, наполняя всю комнату своим легким вихрем. Ее шаги то едва касались пола, то порою сухо постукивали по нему каблуком. Потом вдруг она сразу остановилась с глубоким реверансом, который обрисовал изящный изгиб ее тела, приподнял ее короткую юбочку, открыл в глубине лифчика ее трепетавшую грудь, наклонил крупные виноградные листья, украшавшие ее смеющееся личико с нарумяненными щечками, и подчеркнул лукавую линию ее свежих губ.

А г-н де Портебиз, развеселившийся и восхищенный, изо всех сил аплодировал хорошенькой танцовщице, запыхавшейся и смущенной, забыв о странности положения, в котором он находился, присутствуя среди книг и медалей при репетиции балетного танца в квартире ученого аббата Юберте. члена Парижской Академии надписей и Римской Академии аркад.

IX

Г-н де Пармениль всегда покупал свой табак у торговца-армянина, стоявшего обычно под деревьями Пале-Рояля, налево, невдалеке от меридиана. Он только что приказал наполнить свою табакерку и собирался достать оттуда щепотку, как вдруг увидел г-на де Бершероля и г-на де Клерсилли, подошедших к нему. Поклонившись друг другу. Все пошли прогуляться по саду.

— Так как же, сударь, — спросил г-н де Бершероль г-на де Пармениля, — увидим ли мы вас сегодня вечером в Опере? Ходят слухи о ссоре между господином де Герси и господином де Портебизом из-за мадемуазели Дамбервиль. Это будет интересное зрелище. Будете ли вы там?

— По чести, — отвечал господин де Пармениль, — я весьма опасаясь, что вы будете

разочарованы, так как я сомневаюсь, чтобы господин де Герси мог появиться где бы то ни было. Итак, вы не знаете, что с ним случилось. Я прогуливался третьего дня в Тюильри с господином Тобисоном де Тоттенвудом. Там была толпа народа, и ярко-красное платье нашего англичанина обращало на себя всеобщее внимание. Господин де Герси подошел к нам; надо сказать, что кавалер не может утешиться, что он скатился под стол в тот вечер, когда мы ужинали вместе, и обвиняет в этом господина Тобисона, вследствие тостов, которые последний провозглашал в его честь и на которые тот почитал себя обязанным отвечать; он не успокоился до тех пор, пока я не предложил англичанину от его имени реванша на бутылках. Господин Тобисон согласился. Итак, вчера я пригласил их к себе; я уставил стол винами, запер обоих соперников, потом ушел гулять. Я дошел до Королевского сада, чтобы посмотреть маленьких китайских собачек, привезенных туда недавно. Это странные животные. У них голое, сильно пахнущее, словно протухшее, тело, крошечные, хрящеватые ушки, и они словно отлиты из мягкой бронзы. Я позабыл моих гостей и вернулся домой весьма поздно. Я приказал отпереть. Господин Тобисон должен был раздеться, чтобы лучше пить, так как я застал его спящим, совершенно голым и завернутым в скатерть; что же касается Герси, то он был полумертв. Я приказал отвезти его домой, поэтому я сомневаюсь, чтобы мы увидели того или другого в Опере, так как считаю, что в таком состоянии они едва ли способны появиться где бы то ни было; но тем не менее я отправлюсь, чтобы приветствовать первое выступление маленькой любимицы доброго аббата. А как поживает господин Юберте?

— Добряк обезумел от счастья, — сказал, смеясь, г-н де Клерсилли. — Он бежит к костюмеру, оттуда мчится к парикмахерше, чтобы идти потом к парфюмеру. Я его только что встретил; он нес в носовом платке лучшие из своих медалей, которые он собирался продать, и зеленый картон, где находился убор из цветов для Фаншон.

Г-н де Бершероль осторожно взял щепотку табаку из табакерки, протянутой ему г-ном де Парменилем. Все трое, не прерывая беседы, дошли до конца аллеи. Они повернули обратно и начали сызнова свою прогулку. В тот день в саду было много народа. Люди всех состояний толкали там друг друга локтями; г-н де Клерсилли лорнировал всех направо и налево.

— Ах, — сказал он, — я бьюсь об заклад, что вот идет сам знаменитый господин Лавердон. Какого черта делает он здесь в этот час? Здесь некого причесывать; уж не бегают ли он за женщинами или идет в игорный дом?

Г-н Лавердон подвигался медленно, как подобает важной особе; у него было приятнейшее выражение лица; одет он был в лучшее свое платье.

Г-н де Клерсилли окликнул его:

— Куда это вы направляетесь, мастер Лавердон?

На фамильярность г-на де Клерсилли г-н Лавердон ответил церемонным поклоном.

— К господину де Портебизу, сударь, сделавшему мне честь пригласить меня, и я предоставляю себя в его распоряжение, как предоставил бы себя и в ваше распоряжение, сударь.

— Это бесполезно, — у господина Бершероля нет больше любовниц, которые бы мне нравились. Скажите-ка, Лавердон, есть ли у господина де Портебиза что-нибудь такое, чтобы стоило им заниматься.

— У господина де Портебиза есть все, чего он желает в эту минуту, сударь; он самый модный человек в Париже, и я также бегу к нему, — галантно ответил г-н Лавердон, с достоинством поклонился и исчез за группой из трех девиц, которым г-н де Клерсилли, всем трем сразу, сделал глазки.

Г-н Лавердон направлялся к дому г-на де Портебиза. Он легко поднялся по лестнице и попросил Баска доложить о нем. У лакея был странный вид. Его длинное и желтое лицо было вконец расстроено.

— Войдите, господин Лавердон, — крикнул голос, — а ты останься здесь, негодяй.

И г-н де Портебиз показался в двери.

— Так это ты выкинул эту штуку? Бургундец во всем сознался. Оба вы — отменные мерзавцы. Как негодяи, которых я кормлю, оплачиваю, одеваю! Я тебя прогоню с места, слышишь? Я тебя...

Лицо Баска подергивалось все более и более; оно почернело; из безобразного он превратился в страшного, из страшного — в ужасного, из ужасного — в жалкого.

Баск делал усилия заплакать, но не успел достигнуть этого.

Г-н де Портебиз схватил его за ворот, заставил его перевернуться, пустил его по вестибюлю. Потом он запер дверь, когда парень скатился и упал на пол на четвереньки.

— Вообразите себе, господин Лавердон, что вчера вечером, придя домой, я собирался лечь в постель, как вдруг услышал легкий шум в моем кабинете. Баск и Бургундец уже ушли к себе; я беру свечу, отпираю дверь, тяну к себе и вывожу на середину комнаты, угадайте кого? Госпожу де Мейланк, одетую в плащ с капюшоном и сконфуженную. Судите, Лавердон, о моем изумлении и о моем гневе, когда она рассказывает мне, заливаясь слезами, что ее любовь внушила ей эту хитрость и что она решила дожидаться минуты, когда я буду в постели, чтобы пробраться ко мне под одеяло и воспользоваться мраком и минутой. Хуже всего то, что она была красива в таком виде, одетая с заранее обдуманною и умелою небрежностью; но, в самом же деле, человеку в моем положении иметь какую-то госпожу Мейланк, и даже не мимоходом, между двумя дверями, а на всю ночь.

Я попытался заставить ее понять мои доводы, но она упорствовала, так что я вынужден был позвонить Баска и Бургундца и приказал им отвезти домой мою гостью; но оба негодяя удовольствовались тем, что вывели ее из дома и оставили ее там, посреди улицы, одну, без кареты и даже без фонаря...

Освободившись от ее присутствия, я осведомился о том, какие меры она приняла, чтобы проникнуть ко мне. Бургундец заявил, что ее впустил Баск. Он, по всей вероятности, врет, в этом я уверен; но в порядке дел человеческих, чтобы невинный страдал. Я, как вы видели, избил беднягу Баска, который, как я слышу, до сих пор тихонько стонет.

Г-н Лавердон выслушал это со скромною и отеческою улыбкою.

Мнение его о г-не де Портебизе становилось все выше и выше.

— Ах, сударь, это восхитительно, и к тому же это оправдывает мои предсказания. Разве я не твердил: «Этот господин де Портебиз пойдет далеко». И я пророчу вам большую будущность. Любовь ведет к славе. Маршал де Бонфор, который был великим полководцем, вследствие уместности своих поражений и полного порядка своих отступлений, и герцог де Тарденуа, который был видным придворным, оба, по слухам, провели бурную молодость, полную любовных приключений; ваша юность начинается, словно долженствуя сравняться с их молодостью; все заставляет думать, что их последующие судьбы являются предсказанием того, чем может оказаться и ваша будущность.

Не переставая говорить, г-н Лавердон приготовил свои гребешки и пуховки. Г-н де Портебиз сел за свой туалет.

— А самое худшее, Лавердон, то, что эта Мейланк смутила своим досадным появлением тот сладостный образ, который занимал мою мысль. Я мечтал в то время о восхитительнейшей особе, которая когда-либо жила на земле и к которой я пылаю страстью с той минуты, как я ее увидел.

И г-н де Портебиз, погрузив нос в угол из картона, пока г-н Лавердон пудрил его изо всей силы, увидел, как в глубине его, словно волшебством, выделилась танцующая фигура, представшая в отдалении, но столь ясная и столь отчетливая, что сердце его забилося; и свежий и живой образ м-ль Фаншон заставил его забыть улыбку м-ль Дамбервиль и слезы г-жи де Мейланк. Он видел, как они мало-помалу исчезали из его умственного взора, уменьшались, таяли, удалялись. В то же время исчезало и румяное лицо г-на де Бершероля, острый профиль г-на де Пармениля, красная физиономия аббата Юберте, силуэт г-на де Клерсилли, сложение г-на Гаронара, огромная представительная фигура г-на Томаса Тобисона де Тоттенвуда, на миг увиденное им лицо добряка дяди Галандо, в конце концов несчастного человека и который, как с сожалением о нем говорил г-н Лавердон, никогда, по всей вероятности, не причесывался у парикмахера.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГАЛАНДО-РИМЛЯНИН

I

Из всех дорог, ведущих в Рим, Николай де Галандо, отправляясь в этот город, выбрал самую короткую и самую естественную; поэтому и прибыл он туда без всяких помех 17 мая 1767 года, как раз в ту минуту, когда на церкви Троицы-на-Горе пробило полдень.

Сюда впоследствии ежедневно приходил он проверять свои часы; если циферблат часов на одной из двух башен показывал час по-итальянски, от захода и до захода солнца, то циферблат часов на другой башне показывает время по-французски, по прохождению солнца через меридиан; а г-ну Галандо важно было знать точно, на чем остановилась его праздность, так как он был пунктуален до щепетильности к ней, так же как и к себе. Вне этого он отдавал свое время долгим и неопределенным прогулкам по городу, на первых порах всего охотнее отыскивая высокие места, откуда он мог видеть его сразу, на всем протяжении.

Город представлялся ему, соответственно погоде, то мягким и туманным, окутанным жидким, словно струившимся воздухом, то четким и словно скульптурным, под ясным, прозрачным небом. Соборы, колокольни и компаниллы поднимались из смутной громады домов. Высокие развалины, дикие и обнаженные, словно показывали остов старого Рима и обрисовывали каменный скелет его древнего величия. Г-н де Галандо созерцал, опершись на трость, чтимый город, имя которого впервые прозвучало ему в детстве в тех книгах, которые он читал с добрым аббатом Юберте; потом, крупно шагая в своих башмаках с медными пряжками, он ходил по его прославленной земле, еще не остывшей от остатков его прошлого.

У этих остатков, то полувросших в землю, то всегда поднимавшихся над нею, была различная судьба. Время придумало для них новое употребление; внутри древнего храма поместилась церковь; к подножию его фундамента прислонилась лавочка. Обелиски среди площадей были

увенчаны крестом; барельефы, врезанные в стены, связывали их своими скульптурными кусками. Исполинские термы, обрушившись, покрывали своими обломками многие десятины. Гигантский цирк отдавал каменоломам в добычу свои глыбы и пласты. Колонны, по горло засыпанные поднятием почвы, превратились в невысокие тумбы. Землю были закупорены пролеты триумфальных арок. Целые кварталы, некогда густо населенные, обратились не более как в сады. Виноградники покрывали холм на правом берегу Тибра.

Эта зелень была великим очарованием Рима, наряду с его водами, которые водопроводы разносили по резервуарам. Они били вверх бесчисленными фонтанами.

Фонтаны были всех видов, они образовывали то скатерть, то каскад, то струйку. Из раковины Тритонов они обрызгивали бронзовые спины морских коней или изо рта какой-нибудь фантастической головы наполняли водоем со щербатыми краями. Между ними были скромные и пышные, гулкие, которые шумели, и тихие, которые плакали, одинокие, уединенные и почти молчавшие. Фонтан на площади Навои оживлен огромным сооружением статуй, скал и зверей; фонтан Полина изображает триумфальную арку, у которой вместо дверей хрустальный водопад из трех отвесно падающих скатертей. Иные изображают черепах; но, покидая город, следует напиться из фонтана Треви. На дне его бассейна видны монеты, которые перед отъездом бросают в него путешественники, чтобы обеспечить себе возвращение.

Г-н де Галандо любил посещать их; он останавливался перед ними и вслушивался в их разнообразное журчанье, и никому в голову не приходило мешать ему в этом невинном занятии, — до такой степени привычное любопытство иностранцев приучило прохожих к манерам, которые в другом месте могли бы показаться странными.

Рим вообще изумительно поощряет склонность к прогулкам и к уединению. Рим двойствен. В нем, по желанию, можно уединиться от всех и можно вмешаться в гущу людей и событий; можно жить в центре дел или же вне всяких честолюбий. Там все знают и не знают друг друга. В нем можно обходить прихожие и ризницы, равно как можно свободно блуждать среди развалин и садов.

Г-н де Галандо пользовался этою второю свободою. Поэтому он мало-помалу узнал Рим во всех подробностях и под различными его аспектами: и грязный, и монументальный, и капитолийский, и транстеверинский, и народный, и клерикальный. Повсюду он чувствовал себя превосходно и ежедневно ходил по городу. Уже у него даже создались там собственные привычки. В его природе было нечто помогавшее им быстро образовываться; они в нем находили точки опоры, и, подобно тому как его часы, поставленные по часам церкви Троицы-на-Горе, показывали время по-французски, так же и г-н де Галандо среди столь новой для него обстановки жил, если можно так выразиться, по-галандовски.

Во время своих прогулок он заметил на склоне холма близ Тибра, в уединенном квартале, пустовавший особняк, весьма отвечающий его вкусам и на котором висела записка о сдаче дома. Г-н Дальфи, которому он о нем сказал, после искусных переговоров купил его весьма дешево и выгодно для себя, ибо он получил его от наследников покойного владельца за кусок хлеба, и г-н де Галандо не подозревал того, что из суммы, заплаченной им за дом при посредстве банкира, ловкач положил себе в карман один из тех случайных барышей, которыми он не пренебрегал, хотя и был богат, нажившись за сорок лет на всевозможных аферах и удачных торговых оборотах. В конце концов, этот г-н Дальфи был единственным лицом, с которым г-н де Галандо поддерживал кое-какие сношения. К нему ходил он за деньгами, которые были ему нужны на расходы. Г-н Дальфи был рабски почтителен и болтлив. Тотчас по приезде г-на де Галандо он предложил ему свои услуги, но последний был обязан ему только тем, о чем было сказано выше.

Как только записка о сдаче дома была с него сорвана и ключи вручены г-ну де Галандо, он

покинул поспешно для своего нового жилища гостиницу «Золотая гора» на Испанской площади, где он остановился по приезде своем в Рим. Его дорожная карета еще стояла там в сарае. Итак, в нее только запрягли пару лошадей и погрузили сундуки, и хозяин гостиницы без сожалений отпустил этого странного постояльца, который ни с кем не разговаривал и из которого он извлек для себя мало чести и выгоды, хотя и не постеснялся непомерно раздуть счет, который он подал ему перед отъездом, с насмешливым видом держа в руке шляпу. Г-н де Галандо уплатил молча и не возражал против тех прибавок, которыми хозяин гостиницы бесстыдно увеличил счет; только тут плут заметил, что жилец его не был ни скуп, ни слишком бережлив и что только умеренность его потребностей заставляла его слыть таковым.

Но сколь он ни был умерен, он не мог, однако, удовольствоваться четырьмя голыми стенами, так как это было все, что он нашел в своем новом жилище, и первую ночь по своем переселении он должен был провести, не раздеваясь, в своей дорожной карете. Там и застал его г-н Дальфи, и банкиру стоило большого труда удержаться от смеха, видя, как тот сходил с подножки и церемонно шел ему навстречу, причем плечи и локти его были покрыты пылью, полы измяты, а парик полон паутины.

Г-н Дальфи извинился в своем чересчур раннем приходе, объяснив его нетерпением узнать, доволен ли г-н де Галандо своим новым жилищем. Г-н Дальфи, зная, что оно совершенно пусто и что г-н де Галандо едва ли может помочь этому вскоре, предвидел случай выгодно отделаться от негодной мебели, загромождавшей его чердаки. Поэтому, уходя, он пообещал как можно скорее прислать все необходимое на первое время. Он перечислил все, чем он мог располагать из мебели, посуды, ковров, белья. По мере того как он говорил, г-н де Галандо чувствовал, что он освобождается от большой тяжести, исходившей от трудности достать столько разнообразных вещей. Он принял предложение банкира, сведя его к самому необходимому, так как тот стремился прибавить к вещам домашнего обихода много лишнего, и г-ну де Галандо пришлось отказаться одновременно как от клавесина, который он не знал, куда поставить, так и от четырех карточных столов, с которыми он не знал, что делать.

Когда продажа была кончена, г-н Дальфи почел своим долгом перейти к более бескорыстной беседе.

— Итак, сударь, вы теперь настоящий римский житель, — сказал он, — и не преминете воспользоваться удовольствиями, которые доставляет наш город, развлечениями, хорошим обществом.

Банкир стал расхваливать театры.

— В наших театрах, сударь, лучшие в мире декорации и музыка. Вам не следует оставаться к ним равнодушным. Человек вашего звания не может быть слеп и глух к красоте. Но вы, по всей вероятности, предпочитаете игру. Наш фараон славится, и я умалчиваю об очаровании наших женщин; вы, несомненно, могли уже оценить их достоинства. Ах, сударь, какие глаза!

И г-н Дальфи подмигнул своим маленьким и косым глазом.

При слове женщины г-н де Галандо покраснел и, казалось, ощутил некоторое смущение. Он несколько раз кашлянул и снял паутину, которая сидела на воротнике его платья и щекотала ему ухо.

— Ах, сударь, — продолжал г-н Дальфи конфиденциальным тоном, — я не нахожу слов, чтобы хвалить вашу осторожность перед опасностями пола. Наши римские дамы коварны, и я видел, как блестящие мотыльки попадали в их сети. Их слава привлекает путешественников, и не один иностранец уже попадал в ловушку. Ах, синьор, женщины! женщины!

И г-н Дальфи с лукавым видом прищелкнул языком. Его крошечный прищуренный глаз словно увеличился, и он к своему плохому французскому языку примешивал итальянские слова,

чтобы лучше выразить свое вожделение. Потом он сразу остановился, взглянул на г-на де Галандо, чье смущение было очевидно, и заключил:

— Однако интересы более высокого порядка, без сомнения, привели сюда вашу светлость?

Г-н де Галандо поспешил ухватиться за перемену темы. Он сообщил просто г-ну Дальфи, что любовь к древности внушила ему желание поближе познакомиться с городом, столь прославленным в истории, и что он приехал сюда с намерением отыскивать остатки того прошлого, многие обломки которого, достойные интереса, уже были открыты киркою. Разговор на эту тему поддерживался еще некоторое время, и г-н де Галандо поблагодарил г-на Дальфи, после того как банкир пообещал ему вскоре указать участок земли, годный для раскопок и находок. На этом они весьма церемонно простились друг с другом.

Г-н де Галандо нашел, в качестве привратницы для купленного им дома, старую женщину, которую звали Барбара. Она жила в низенькой комнатке, была крива на один глаз, смугла и богомольна. Он взял ее к себе в услужение.

Хлопоты по хозяйству, однако, не прерывали бесконечных молитв, которые она бормотала весь день. Подметала ли она пол, стирала ли или стряпала, — она ко всем этим занятиям примешивала перебирание четок. Ее главная забота состояла в уходе за многочисленную домашнюю птицею. Г-н де Галандо был встречен писком нескольких тощих цыплят; но вскоре, с его согласия, количество их возросло. Барбара на деньги своего господина купила прекрасного петуха с высоким гребнем. Мешки с зерном кучами были сложены в ее кухне. Она доставала из них полные пригоршни зерна, и птицы жадно клевали его.

Дорожная карета, которую оставили во дворе под открытым небом, за недостатком места в сарае, превратилась в птичник. Куры несли яйца на подушках; петух взбирался на оглобли, цыплята вскарабкивались на оси и на поперечные спицы колес, а голуби, которыми Барбара вскоре пополнила свой птичий двор, с воркованием усаживались на крышу кареты, беля ее лак своим меловым пометом.

В общем г-н де Галандо был весьма доволен своим новым жилищем. Барбара вымыла его сверху донизу. Мебель, присланная г-ном Дальфи, наполнила комнаты; но обширные шкафы оставались пустыми. Г-н де Галандо оставил вдоль стены целый ряд дорожных сундуков, из которых, по мере надобности, вынимал, что требовалось. Перед отъездом из Парижа он заказал себе двенадцать костюмов, подобных тому, что он носил обычно, и соответствующее количество париков. Все это лежало в четырех больших сундуках вместе с бельем и обувью.

Кроме комнаты, которую занимал г-н де Галандо, он бывал только в столовой, где кушал на столе воценого дерева скромную стряпню своей экономки. Обычный стол состоял из яиц, овощей и плодов, к которым порою прибавлялся голубь или курица; все подавалось на грубой посуде, из которой Барбара, неловкая и рассеянная, почти каждый день разбивала по нескольку вещей, на осколки которых она взирала у своих ног, не переставая перебирать бесконечные четки, состоявшие попеременно из зерен олив и крупных шариков букса.

В дни, когда бывала гроза, однако, г-ну де Галандо приходилось оставаться без ужина, так как Барбара была невидима и глуха к каким бы то ни было призывам. Укрывшись в подвале и запершись, она зажигала там кусочки освященных восковых свечей — подарок пономарей соседней церкви, которым она взамен давала несколько жирных каплунов или нежных цыплят. Когда гром утихал, она появлялась лишь много позже, мрачная и полуживая от страха, и принималась вытирать лужи, которые натекли в комнаты от сильного дождя сквозь плохо прикрытые окна или щели в крыше. Эти ливни в нескольких местах испортили живопись, покрывавшую потолки и стены виллы. На уцелевших местах еще можно было различить строгого стиля мифологические образы и арабески.

Если смотреть с улицы, то дворец г-на де Галандо поднимался, четырехугольный, на

высоком каменном фундаменте. С задней стороны низкая дверь, в уровень с землей, открывала доступ на кухню; но настоящий вход был с фасада. Колонны поддерживали крышу с фронтоном. Окна открывались на уровне с террасой, украшенную античными вазами. Двойная лестница вела на нее с каждого конца. Внизу террасы в каменной нише стояла статуя над небольшим фонтаном. Все это было в сильном запущении.

Позади дворца расстился довольно обширный сад, почти невозделанный. Голуби старой Барбары садились там на многие кипарисы и на старые буксы, некогда подстригавшиеся, а теперь полузасохшие, редкая зелень которых обнажала поддерживавший ее внутри сухой ствол.

Г-н де Галандо нередко уходил и садился в конце этого сада в ожидании ужина; там стояла мраморная скамья, на которой он отдыхал. Он вдыхал там морской ветер, который по вечерам долетает порою, чтобы своим соленым запахом освежить и очистить римский воздух. Часто также, опустив голову, он тростью чертил на песке кружки и на этих земляных медалях рисовал концом палки наобум придуманные неясные фигуры и надписи, разобрать которые было невозможно. Сумерки спускались медленно; поднималась луна и округляла в небе свой сверкающий воздушный лик. Он сидел там, пока старая Барбара не принималась кликать его на своем странном жаргоне. Тогда он вставал и медленными шагами направлялся к дому.

Усевшись за стол, он наливал себе большой стакан воды и проглатывал его с наслаждением. Затем он наполнял свою тарелку, чаще всего щербатую, ибо никакая посуда, как бы прочна она ни была, не могла ужиться в неловких руках Барбары. Что касается хрусталя, то он утекал у нее из рук как вода, так что в один прекрасный день, перебив один за другим все графины, она вместо графина поставила на стол небольшую амфору из желтой глины.

Она нашла их несколько, различной величины, в углу подвала и стала употреблять их на хозяйственные нужды. Г-н де Галандо, приказав показать их себе на следующий день, заставил опорожнить их от содержавшихся в них масла и оливок. Они относились к глубокой древности и были необыкновенно изящной формы. Те места, где прикреплялись ручки, изображали головы баранов или маски поселян. Бока их были украшены гирляндами из виноградных листьев или буколическими сценами, написанными сильно и щегольски. Г-н де Галандо приказал поставить их на длинной доске над своей кроватью. Он стал прятать в них деньги, которые получал от г-на Дальфи и которые присылались ему в виде доходов от его имений в Франции; и так как он был далек от того, чтобы тратить все, что банкир получал для него, то амфоры, одна за другой, все более и более отягощались золотом.

На этот-то запас и рассчитывал г-н де Галандо для оплаты того участка земли, который г-н Дальфи, верный своему обещанию, доставил ему. Банкир сдержал слово тем охотнее, что находил для себя выгоду в этой покупке.

То был пустынный участок, лежавший за стенами города, у ворот Салариа. Кое-какие остатки маленького храма и обломки гробниц виднелись там еще до сих пор. Г-н Дальфи одновременно доставил и артель рабочих, которые копали землю. Г-н де Галандо некоторое время интересовался этими работами, которые, однако, не дали больших результатов, ибо, кроме нескольких камней, покрытых полустершимися надписями, там нашли только высокую урну зеленоватой бронзы, которую Николай отослал в подарок г-ну Юберте.

То была единственная весть, которую он послал о себе своему бывшему учителю. Аббат, со своей стороны, не знал, куда адресовать письма. Кардинал Лампарелли, которому аббат написал о пребывании своего ученика в Риме, ответил, что французский дворянин ни разу не явился к нему на аудиенцию и что он никогда ничего не слышал о вельможе по имени де Галандо. Впрочем, письмо доброго кардинала было довольно смутно и указывало на несколько ослабленное состояние ума; почерк был неразборчив, и прочесть его было трудно,

а местами так неясен, что аббату Юберте пришлось отказаться от мысли разобрать точно смысл всего письма, и он должен был удовольствоваться лишь отдельными неиспорченными местами.

II

Разумеется, г-ну де Галандо нетрудно было бы разузнать о дворце, где жил кардинал Лампарелли. Всякий указал бы ему монументальное здание близ Монте-Кавалло, и он, по всей вероятности, не раз во время своих прогулок проходил мимо высокой двери, где два согбленных исполина поддерживают с двух сторон ношу длинного балкона с железною решеткою, посреди которой виднеется щит с тремя золотыми светильниками в виде пастей, которые являются гербом сановника.

Итак, всякий мог бы, наряду с указанием жилища кардинала, осведомить его о доступе к прелату. Рим, в сущности, гордится своими кардиналами. Их личности, характеры и привычки являются излюбленной темой обсуждения как в публике, так и у частных лиц, как в высшем обществе, так и в народе, который любит знать, что они делают, и, по меньшей мере, любит повторять то, что о них говорят. Население города, переполненного священниками, пономарями, монахами, где все близко или отдаленно связано с церковью, естественно весьма интересуется духовными лицами, и особенно теми, которые в папском городе, в силу занимаемых ими должностей, участвуют в его управлении и в управлении всем государством.

Итак, г-ну де Галандо ежедневно приходилось встречать на улицах эти огромные кареты, запряженные большими парадными лошадьми, причем один из лакеев при карете держит всем хорошо известный красный зонтик. Он осторожно отходил к сторонке, чтобы дать карете проехать. Сквозь зеркальные стекла, поднятые или опущенные, виднелась сидящая в глубине кареты фигура того или иного из Порпорати, ехавшего по какому-либо делу или отправлявшегося на какое-либо торжество.

Среди них были люди самые различные по внешности: толстые, с видом жизнерадостных кутил, тощие, с видом недобрых покойников, физиономии то блаженные, то лукавые, то пухлые, то костлявые. Порою большой гордый нос дополнял чей-нибудь острый профиль. Тонкие или сухие ноздри говорили о хитрости или осторожности. Иностранцы чванились французскою суетностью, выставляли испанскую спесь, утверждали германскую флегму. Большинство из них, однако, были итальянцы, и даже римляне. Эти под красною мантиею хранили приметы своего сельского, городского или вельможного происхождения. Иные из них родились в лавочке, другие увидели свет во дворце. Некоторые ранее носили одежду проповедников, нищих или политических деятелей. Иные вошли в кардиналат сквозь широко распахнутые двери, другие же проникли туда низменными путями. Дворцовые переговоры или интриги в прихожих доставили кардинальское достоинство иным. Низменное происхождение и знатное рождение уживались рядом в добродетели или в честолюбии, но тот же вид надменности и лицемерия подбирал эти разнообразные лица в какое-то тайное родство.

Г-н де Галандо, в качестве доброго римлянина, стал, в конце концов, узнавать их по виду. Даже имена их из уст народных достигли его слуха; он слышал, как эти имена народ бормотал вполголоса, при проезде их по улицам, расступаясь перед высокими колесами их раззолоченных карет. Некоторые из этих имен произносились с уважением, другие с оттенком насмешки, иные заменялись фамильярным прозвищем, дружеским или презрительным, сообразно свойствам, которые народ приписывал данной личности, ибо скромность духовных

лиц не могла помешать распространению по городу многих историй, в которых народ инстинктивно и довольно верно различал заслуги или недостойность тех, которые, в конце концов, могли быть в один прекрасный день призваны управлять им, так как всякий кардинал носит в себе зародыш папы, а зерно ответственно и за цвет и за плод.

Не разделяя под этим углом любопытства, публики, г-н де Галандо мало-помалу научился, однако, узнавать этих величавых проезжих, могущих в один прекрасный день стать папами. Он узнавал кардинала Бенариву по его упряжке вороных и кардинала Барбиволио по его четверке рыжих жеребцов. Из гнедых кобыл кардинала Ботта одна хромала, и скупой старик отнюдь не собирался заменить ее, равно как и кардинал де Понте-Санто довольствовался, чтобы тащить свой старый, изъеденный червями экипаж двумя парами старых карих лошадей, на которых остались лишь кожа и кости.

Что касается кардинала Лампарелли, то его уже нельзя было встретить, так как он и раза в год не выходил из своего дворца. О нем говорили, что он очень слаб, и в шутку заявляли, что если светильникам его герба и суждено гореть, то его светильник не замедлит погаснуть или превратиться в пышную надгробную свечу. А г-н де Галандо преспокойно позабыл на дне своего дорожного сундука то изящное и почтительное послание, которое аббат Юберте дал ему перед отъездом для вручения кардиналу в собственные руки; и за тот год, который он прожил в Риме, не сделав из него никакого употребления, воск печатей должен был распусться, а надпись — стереться.

Итак, г-н де Галандо вел самую правильную и самую однообразную жизнь, обычным увеселением которой продолжала служить прогулка. Ни одно событие не смущало ее, если не считать карнавала, когда с ним случилось приключение, о котором он сохранил довольно неприятное воспоминание.

Незнакомый с обычаями города, он вышел в этот день, как всегда, не замечая вокруг ничего особенного, как вдруг, по несчастной случайности, попал на Корсо именно в ту минуту, когда безумие масок достигло своего апогея. Улица кишела ими во всю длину. Кареты ехали по ней в два ряда и держались колесо к колесу. Сквозь спущенные окна карет переряженные мужчины и женщины обменивались любезностями и шутками. Кучера, сидя высоко на козлах, помахивали бичами, украшенными лентами. Из окон домов свешивались группы людей, развертывая длинные ленты или разбрасывая дождь мелких разноцветных бумажек, падавших и кружившихся как бесчисленный рой легких, переменчивых бабочек.

Порою проезжала высокая колесница, в которой стояли комические фигуры. Там были гротески и бергамаски. Физиономии, осыпанные мукою, смеялись нарумяненным лицам. Некоторые из них надели на себя маски животных. Птичьи клювы и свиные рыла смешивались в кучу. Непомерные петушиные гребни раскачивались наряду с исполинскими ослиными ушами. Громкие взрывы хохота приветствовали самые неожиданные выдумки. Гримасами отвечали на балагурство.

В одно мгновение г-н де Галандо, оглушенный криками и ослепленный солнцем, превращавшим всю улицу в сплошной цветной водоворот, был осыпан конфетти, опутан лентами, затормошен, затолкан, осыпан мукою. Он был средоточием всех движений, предметом всех взрывов хохота. Его неожиданное появление отвечало, неизвестно почему, тому ожиданию чего-то необыкновенного, что составляет затаенное чувство всякой толпы. Оторопелый вид его только усиливал общее веселье. Он бросался то в одну сторону, то в другую, не зная, как выйти оттуда, затерянный в сумятице, которую он вокруг себя производил. Восхищенная толпа топала ногами. Мальчишки принялись было щипать его за икры, как вдруг он почувствовал, что кто-то набросил на него широкое домино и надел ему на лицо картонную маску. Какой-нибудь прохожий захотел, вероятно, таким образом положить конец перепугу мирного человека, казавшегося упавшим с луны; это неожиданное переодевание имело счастливое следствие, смешав его с окружающим маскарадом, а г-н де

Галандо воспользовался им, чтобы, достигнув перекрестка улиц, убежать со всех ног.

В этом странном наряде явился он домой. Старая Барбара при виде его от изумления уронила из рук миску, очутившись лицом к лицу с картонною козлиною головою, которая представилась ее глазам на плечах ее достопочтенного господина; и пришла в себя, только увидев, что из-под снятой маски появилось перепачканное, потное и расстроенное лицо г-на де Галандо, так как он едва мог прийти в себя, почти заболел от перенесенного испуга и более недели не решался выйти из дому.

Во время этого уединения он большую часть времени проводил вблизи Барбары. Уже раньше почти ежедневно спускался он на кухню, где добрая женщина, с четками на пальцах, расхаживала взад и вперед по обширному полутемному помещению. Воздух там был пропитан запахом увядших овощей и прогорклого масла, к которому примешивался аромат остывшей золы и сгоревших дров. Г-н де Галандо любил садиться перед очагом. Слабое и словно ленивое пламя нагревало дно старого чугунного котелка. Сажа делала его бархатным и приятным на взгляд. Вода кипела с живым и звучным шумом. С потолка свешивались венки луку и гирлянды чесноку. Порою входила курица и осторожными шагами приближалась к очагу. Блеск огня отражался в блике ее маленького круглого глаза. Она склевывала зернышко и убегала со всех лапок. Ее коготки сухо царапали мощный пол.

Барбара была само движение; она никогда не переставала тормозиться, не производя, однако, при этом никакой большой работы. Ее начальная кипучая деятельность, которую она проявила при чистке вилок — после водворения в ней г-на де Галандо, — не возобновлялась. Она предоставляла пыли вновь завоевывать пространство, которое она у нее не оспаривала. Вся ее работа заключалась в подметании кое-как пола в комнате ее хозяина, чью постель она быстро взбивала и который, тем не менее, не обращал к ней никаких упреков в лени. Когда он встречал ее на дворе, возвращавшуюся с ближайшего рынка, нередко случалось, что он брал у нее из рук корзину и сам относил ее на кухню, где он присаживался, чтобы посмотреть, как она вынимала из нее содержимое. Она ежеминутно требовала от него внимания. Он должен был отмечать отменную свежесть овощей и, нюхая кожуру, наслаждаться ароматом дыни, принесенной ею с рынка.

Он любил дыни желтые, шероховатые, с выпуклыми боками, с сочною мякотью. Ему также доставляло удовольствие смотреть, как старая женщина взвешивала на руке апельсины и лимоны и вдавливала пальцами спелую и дряблую кожу крупных смокв. Подобно тому, как некогда в Понт-о-Беле, в просторных сводчатых кухнях замка, любил он сидеть в обществе молчаливого садовника Илера, так и здесь он любил скромную компанию этой престарелой служанки, болтливой и безобразной. Он начинал хорошо понимать ее язык. Для этого ему было достаточно исказить свой латинский язык, который у него с детства был чист, богат и изящен, благодаря стараниям аббата Юберте, и который некогда удостоился похвалы г-на де ла Гранжера, при выходе из кареты во дворе Понт-о-Беля, в тот день, когда он привез туда Жюли де Мосейль. Этим же смешанным языком пользовался он во время своих посещений портного Коццоли, когда он садился в его лавочке, в улице Дель-Бабуино, куда он заходил порою для кое-каких починок, так как он был очень заботлив к своей одежде; как ни проста она была, он требовал, чтобы она была безупречно чиста и в полном порядке.

Г-н де Галандо познакомился с Джузеппе Коццоли по поводу этого рокового маскарада в 1768 году.

Когда, по возвращении его из этой сутолоки, старая Барбара сняла с него маску, в которой он прибежал домой, и несколько раз вымыла ему лицо, на котором пот образовал кору из покрывавшей его муки, г-н де Галандо, оправившись от волнения, заметил, что главным образом во время сумятицы пострадали полы его платья. Одна из них была почти оторвана. На местах нескольких оторванных пуговиц висели жалкие нитки. Ткань, помятая и изорванная местами, весьма нуждалась в починке. Тут Барбара дала своему расстроенному господину

адрес Джузеппе Коццоли.

То был внучатный племянник этой старой женщины. По ее словам, он превосходно умел кроить и чинить; но г-н де Галандо, прежде чем отправиться, как он намеревался, за помощью иглы и ножниц для починки понесенного ущерба, осторожно выждал конца карнавала. Только тогда решился он выйти на улицу, чтобы изгладить следы своего приключения, оставившего в нем довольно горькое воспоминание, в первом пылу которого он решил было бежать без возврата из города, представляющего такие опасности для приезжих. Словом, в настоящую минуту он думал ни о чем ином, как о том, чтобы покинуть Рим. Он думал об этом, бродя вокруг своей дорожной кареты, все еще стоявшей на том же месте, под открытым небом, во дворе виллы, но уже столь разрушенной и столь загрязненной куриным пухом и голубиным пометом, что мало-помалу ему пришлось отказаться от мысли запрячь в нее лошадей и пуститься галопом по дороге во Францию. Его недоброе чувство утихло, но осталась какая-то странная досада против Корсо. Он тщательно избегал проходить по нему и всякий раз, идя к Коццоли, делал крюк.

Коццоли занимал в глубине двора две темные комнаты с низким потолком. В одной из них, что была посветлее, он шил, постоянно сидя на столе и поджав под себя ноги по-турецки. Он болтал без умолку, вкалывая иглу и вытягивая нитку. Его обычными слушателями были четыре или пять высоких безголовых манекенов, плотно набитых и одетых в разные принадлежности костюма. Они служили портному для примерки отдельных частей его работы и для проверки правильности его кройки. Он считал их вполне за человеческие существа, и во время его речей они заменяли ему недостававшую публику. Он их спрашивал, отвечал им и прислушивался к ним. Г-н де Галандо, слушая его, проявлял не менее внимания, чем эта немая и постоянная публика. Усевшись на стуле и поставив свою трость между ногами, как он делал неуклонно в каждый из своих визитов, ставших вскоре почти ежедневными, он весь превращался в слух, и Коццоли мог угощать его всевозможными глупостями, которые только приходили ему в голову.

Можно было быть почти уверенным застать болтливую портного всегда дома; он отлучался только для того, чтобы сделать у суконщиков закупки или подобрать у басонщиков приклад, необходимый ему для работы, или же чтобы снять мерку с какого-нибудь важного заказчика, так как он в своем деле был искусен и работы у него было много. Нужны были по меньшей мере подобные случаи, чтобы заставить его разогнуть ноги и сойти со стола, залосненного от употребления. Коццоли, стоя, всегда бывал смущен и почти мрачен, показывая себя людям, со своими короткими ногами, с длинным туловищем и большою лохматою головою, с живыми глазами. Поистине хорошо чувствовал он себя только сидя на скамеечке, с наперстком и иглою в руках. Расположившись таким образом, он начинал говорить. В интересных местах он останавливался с поднятою иглою.

Внимание и доверие, которыми обладал его г-н де Галандо, пробуждали в нем гордость. Коццоли знал невероятно много, причем никто не мог сказать доподлинно, как и откуда он это узнавал. Можно было подумать, что маленький человек каким-то волшебным образом присутствовал при совещаниях вельмож, при сокровенных тайнах сановников и в мыслях каждого человека, — так много убедительных подробностей и столько заразительной уверенности вкладывал он в свои рассказы. Он повелевал хроникою улицы и дворцов, делами государства и религии, игрою честолюбий, хитросплетениями интриг, подробностями любовных чувств и страстей, причинами событий и источниками катастроф, как общественных, так и частных.

Коццоли никогда не иссякал. Г-н де Галандо слушал этот поток слов, как он внимал во время долгих прогулок неясному шуму водометов. Из них он почерпал смутное и зыбкое представление о том, что происходит у людей, о бесчисленных событиях, крупных и мелких, которые разнообразят судьбы, оживляют их своею неожиданностью и вносят в них непрестанные перемены, составляющие жизнь. Пока Коццоли говорил, манекены, казалось,

молча одобряли его, словно они-то и были героями того, о чем рассказывал маленький человечек, а г-н де Галандо, широко раскрыв глаза и упершись подбородком в рукоять своей трости, выслушивал, не уставая, все странные, любопытные и поразительные истории, для которых он, по правде сказать, был так мало создан.

Г-н де Галандо, очевидно, был рожден на свет специально с тем, чтобы с ним не случилось ничего чрезвычайного. В нем всегда было все, чтобы справляться с самыми обычными, самыми будничными и самыми легкими обстоятельствами жизни. Он был создан, чтобы двигаться по ее слегка наклонному скату из конца в конец, не запинаясь, не оступаясь; но он был мало приспособлен к тому, чтобы избегать ее ловушек и прыгать через ее пропасти. Провидение — если можно этим именем назвать ту насмешливую силу, которая забавляется расстраиванием человеческих замыслов, — устроило его особым образом. Достаточно было улыбки девочки и жаркого дыхания ее детского ротика, чтобы расковать ту бурю, из которой бедняга Николай де Галандо вышел навсегда оглушенным и ошеломленным.

Этой буре он был обязан тем, что вместо того, чтобы мирно стариться в тени прекрасных деревьев Понт-о-Беля, он очутился в Риме, одинокий, блуждающий, всем чужой, обреченный на уход старой служанки-итальянки, кривой, черной ворчуньи, и на беседы с маленьким балагуром портным, так как г-н де Галандо несколько раз на неделе приходил в лавочку Коццоли. Коццоли шил; он вдвевал в иглу нитку, прищулив глаз и подняв руку, на которой блестел медный наперсток. Вокруг него летала его сорока. Она припрыгивала по полу, стуча клювом, на котором виднелись еще комочки белого сыру, или же, хлопая крыльями, садилась на того или другого из безголовых манекенов, составлявших, вместе с г-ном де Галандо, снисходительную аудиторию маленького портного с улицы Дель-Бабуино.

III

В довольно уединенном уголке Рима находилось здание, которое полюбили г-ну де Галандо. То была тяжелая и круглая масса, сложенная из камней и окруженная колоннами с капителями, подпиравшими крышу в виде гриба. Небольшая и неправильная площадь расстилалась там, вымощенная крупными каменными плитами, поросшими травой. На ней в стороне журчал фонтан. Он состоял из круглого бассейна, откуда поднимался камень, на котором два морских чудовища сплетали свои чешуйчатые хвосты и, обнаженные, на поднятых руках высоко держали раковину. Обе бронзовые фигуры были изящны и гибки, без напряжения в их двойном и недвижимом жесте. Вода ниспадала вокруг них с высокого водоема. Голуби прилетали и садились на его края, чтобы напиться. Их шеи с разноцветными отливами вспухали от наслаждения, потом они плавно улетали, садились на теплую черепичную крышу маленького храма и там ворковали.

Г-н де Галандо присаживался на край бассейна или на одну из окружавших его неравных тумб. Он следил за полетом голубей и прислушивался к шуму фонтана. Засоренные трубы фонтана издавали мягкий и хриплый звук, он перемежался, то слабей, то усиливаясь, с неравными промежутками. Г-н де Галандо так хорошо изучил этот привычный шум, что порою он слышался ему ночью, во сне. Он приходил сюда предпочтительно на склоне дня. Мало-помалу спускался вечер. Бронзовые фигуры словно коченели. Очертания верхней раковины чернели на светлом еще небе. В последний раз проворкует последняя голубка. Тогда г-н де Галандо вставал, чтобы идти домой; его день был окончен.

Так прожил он несколько лет, и ни один из них не принес ему никакой перемены, кроме перемены времен года. Он износил уже пять костюмов из двенадцати, купленных им в Париже, и столько же париков. Когда швы начинали белеть, ткань изнашивалась, а локти

продырявливались, он отпирал один из своих дорожных сундуков, по-прежнему стоявших у стены, и вынимал новое платье, точь-в-точь похожее на предыдущее. Старая Барбара бережно подбирала негодное тряпье. Она вешала его в чулане и время от времени приходила туда с ножницами, чтобы отрезать кусок материи, понадобившийся для какого-нибудь хозяйственного употребления. Что касается до старых башмаков, которые выбрасывал ее хозяин, то она делала из них кормушки для птицы; их можно было увидеть на дворе, до половины наполненные зерном, меж тем как из вывороченных париков г-на де Галандо она устраивала гнезда для несения яиц и для высиживания птенцов курам и голубям.

Столь правильная и скромная жизнь, почти без всяких расходов, не мешала, однако, г-ну де Галандо отправляться к г-ну Дальфи и получать часть тех денег, которые его управляющий присылал тому из Франции. Истратив из них небольшую сумму, которая была ему необходима, остальное он методически опускал в глиняные амфоры, которые отыскала для него Барбара и которыми была уставлена длинная полка над его кроватью. У каждой из них теперь брюхо было набито золотом. Барбара и не подозревала, что хранили в себе их выпуклые бока, иначе она лишилась бы сна и покоя, опасаясь воров, так как двери плохо запирались, несмотря на огромные ключи, и вилла, стоявшая в глухом местечке, среди садов и виноградников, была достаточно уединенна; но она казалась столь пустынной и разрушенной, что никому ни разу не пришло в голову, чтобы в ней могло храниться что-либо, кроме паутины и пыли.

Итак, г-н де Галандо, ничем не интересуясь, ни во что не вмешиваясь, жил в полной неизвестности. Никто не занимался им, и Рим с избытком давал ему все, чего он от него требовал, — покой и свободу. Мало-помалу он утратил даже вкус к древностям, которому он, в простоте души, приписывал цель своего путешествия, так как г-н де Галандо не любил углубляться в размышления и довольствовался наиболее непосредственными мыслями, наивно полагая, что совершил путешествие из любознательности. Полезная страсть, привитая ему аббатом Юберте и его друзьями, вместо того чтобы возрасть среди остатков старины, где он мог ее удовлетворять, уменьшилась до того, что почти исчезла из его ума. Урна зеленой бронзы, найденная им у ворот Салариа и отправленная аббату, казалось, унесла с собою прах Галандо-антиквария, чему лучшим доказательством послужило то презрение, с которым он превратил вазы старой Барбары в глиняные мешки для денег.

Так жил г-н де Галандо, более праздно и более бесцельно, чем когда-либо, и его жизнь, по тому течению, которое она принимала, рисковала окончиться без того, чтобы он узнал не только то, чему она должна служить, но хотя бы то, на что ее употребить. Он, на самом деле, ни в чем не принимал участия; даже религии, которая есть занятие, у него не было. Он входил в церковь только с целью укрыться там от дождя или от ветра. Он держался в стороне от всяких практических дел. Жизнь в Риме ничего не изменила в этой привычке. Аббат Юберте, знавший Николая в молодости за ревностного участника таинств и за доброго христианина, при виде его образа жизни не мог удержаться, чтобы не сказать в тесном кругу, пожимая плечами, что, «если человек похож на Николая, то не стоит трудиться отрицать Бога», подразумевая, вероятно, под этим, что на самом деле жаль, когда люди не пользуются тем, что отсутствие всяких страстей делает им спасение столь легким, и, таким образом, сознательно лишают себя стольких шансов без труда прийти к своему спасению.

Если он оставался чужд одиноких радостей, то он не искал и тех, что доставляют театральные представления и народные торжества; равным образом держался он вдали и от городских удовольствий. Он боялся их шума и распущенности. Он ненавидел толпу, теснящуюся на проходе какой-нибудь процессии, и толкотню, сопровождающую карнавалы. Равным образом старался он избегать пения псалмов и криков простонародья. Его приключение во время карнавала не выходило у него из памяти, и время от времени он осведомлялся у Коццоли, не скоро ли наступят вновь маскарады. Коццоли успокаивал его.

Он чувствовал к г-ну де Галандо огромное уважение с тех пор, как узнал, что тот богат; однажды он встретил его у г-на Дальфи, когда относил тому работу. Коццоли узнал там, что хотя г-н де Галандо и жил в Риме весьма скромно, но он без труда мог бы занять и несравненно высшее положение, и разъезжать в каретах по тем самым улицам, по которым он шагал своею вялою походкою. На этом основании Коццоли расфантазировался, так как его воображение было склонно все преувеличивать, и вскоре он наконец почти поверил тому, что г-н де Галандо играет какую-то тайную роль и выполняет какие-то секретные поручения. Не то чтобы в глубине души он верил этому действительно, но ум его, склонный ко всему призрачному, побуждал его убедиться в этом. Эта мечта нравилась его природной склонности к выдумкам. Поэтому он обращался с г-ном де Галандо то глубоко почтительно, как с высокими особами, то с фамильярностью, которую можно себе позволить с человеком добрым, безобидным и чудаковатым.

Напрасно добряк г-н де Галандо отрицал то, что предполагал за ним выдумщик маленький портной, и утверждал свою непричастность к каким бы то ни было интригам и делам, — но Коццоли не отставал от него. Г-н де Галандо предоставил бы ему болтать, не пытаясь его переубедить, если бы ему не пришлось выдерживать полусерьезные, полужутливые упреки от маленького человечка. Коццоли любил читать ему наставления. Он говорил ему, что он не прав, живя не так, как соответствовало бы его рождению и его средствам, и порицал его, между прочим, за то, что тот не заказывает себе парадного платья, которое с минуты на минуту может ему понадобиться, если ему внезапно придется раскрыть свое инкогнито.

— Ах, сударь, — говорил швейный гном, — если бы ваша светлость разрешили, вы были бы одеты лучше всех в Риме. Как, — прибавлял он, обращаясь к своим манекенам, — вот г-н де Галандо, — он высок ростом и хорошо сложен. У него под рукой есть Коццоли, но он не одевается, так как не значит одеваться, когда человек круглый год носит простое серое платье с полами в локоть длиною и грубые чулки. Не правда ли, такое унижение себя не может продолжаться. Ты, Коццоли, должен положить ему конец! Раскинем этот великолепный бархат и скроим из него что-либо, достойное его светлости! Давайте шить, подрубить, нашивать галуны! Живо, один рукав, другой рукав, покрой хорош! Платье сидит хорошо. Соберите жабо, натяните подколенок! Ах, какой молодецватый и достойный господин! Куда он едет? К папе? Или к французскому посланнику? Да нет же, сегодня собрание у князя Луккано. Будет предложен шербет. Будут играть в фараон. Игра начинается, милостивые государи! Красный проигрывает! Ставьте больше! Банк сорван! А кто выиграл? Это — граф де Галандо, французский дворянин, приехавший в Рим в прошлом году. Его карета подана. «Ах, что за молодец! И как сложен! Черт побери, это ведь Коццоли его одевает!»

Разыграв эту сцену, Коццоли не оставался в убытке. Г-н де Галандо отстаивал свое грубое серое платье и не хотел его менять, но он награждал рвение Коццоли каким-нибудь подарком его жене или дочерям. Синьора была некрасива и кокетлива, но Мариучча и Тереза были недурны собою и полны обещаний. Одной было двенадцать, другой — четырнадцать лет. Они относили работу заказчикам и возвращались из города поздно, с плутоватыми рожицами, подталкивая локтем друг друга и посмеиваясь украдкой. Мариучча говорила, что ветер растрепал ее волосы, а Тереза, что пуговицы у ее лифчика не застегиваются, когда они возвращались домой, одна — всклокоченная, другая — еле одетая. Однажды, когда Мариучча отправилась во дворец Лампарелли с работою для кардинала, она там так замешкалась, что сели обедать без нее. Разговор был столь оживленный, что она скользнула на свое место незамеченною. Говорили о г-не де Галандо, который нередко служил предметом бесед в семье Коццоли. Г-жа Коццоли, весьма суеверная, считала его колдуном. Она знала от г-жи Барбары, что хозяин ее никогда не ходит к обеду. Что же делал он с тем золотом, которое он брал у г-на Дальфи, если не тратил его на заговоры? Разве Барбара не поведала ей и то, что он нередко разговаривал вслух, когда в комнате не было никого, чтобы его выслушать, и что три цыпленка околели, когда он однажды бросил им зерна левою рукою? Наконец тетка сообщила ей под большим секретом, что г-н де Галандо хранил у себя

над кроватью на длинной полке, где они были выстроены в ряд, не менее полдюжины глиняных ваз, расписанных дьявольскими изображениями, где, по всей вероятности, он держал взаперти духов.

Коццоли, боязливый от природы, начал с беспокойством оглядываться по сторонам.

— Не говоря уже о том, что он по пальцам считает птиц небесных, — серьезно заметила Мариучча, щипавшая себе щеку, чтобы не расхохотаться, и ногою толкавшая под столом Терезу, которая, чтобы не фыркнуть, сидела, опустив глаза в тарелку.

И Мариучча, откинув со лба непокорную прядь волос, щекотавшую ей глаз, одним духом рассказала, как, возвращаясь из дворца Лампарелли, она встретила на перекрестке г-на де Галандо, стоявшего с запрокинутою головою и следившего полет стаи галок, кружившихся над Колизеем.

Г-н де Галандо действительно нередко забавлялся, наблюдая голубей и ворон, носившихся в римском небе. Быть может, по примеру древних, гадал он таким образом о своей судьбе или же, проще, в их воздушных забавах искал развлечения во время своих однообразных прогулок.

IV

К концу четвертого года пребывания г-на де Галандо в Риме ему минуло пятьдесят пять лет. Было лето, стояла жара. В утро этой годовщины, которой он, впрочем, не придавал никакого значения, он встал, по обыкновению, рано. Вышел из дому. В руке у него была пригоршня сушеных оливок, которые он грыз на ходу, бросая на пыльную землю косточки.

Рим еще дремал, окутанный легким туманом; то не был пар, а какая-то пасмурность воздуха. Предметы при этом казались мягкими по очертаниям и резкими по краскам. Груда разбросанных городских зданий казалась словно скученною. Соборы с меньшею силою вздымали свои черепашьи щиты из красных черепиц, колокольни казались ниже, а кампаниллы как бы осели. Предметы испытывали заранее тяготу этого знойного дня. Г-н де Галандо чувствовал себя усталым. Он остановился и оперся на трость, окидывая взором огромный город, смесь его бурого камня и темной зелени.

Вдали против него высокие деревья Пинчио стояли недвижимые и четкие.

Он направлялся в ту сторону; ему захотелось посетить тот участок земли, который он купил по приезде в Рим при посредстве банкира Дальфи и где, заставив рыть землю, он нашел большую вазу из зеленой бронзы, отосланную аббату Юберте. Эта земля находилась за стенами города, у ворот Салариа. Она состояла из необработанного участка, с росшими на ней несколькими высокими кипарисами, среди которых виднелась еще часть старой обвалившейся стены. Г-н де Галандо сел в ее короткой тени. От начатых им раскопок осталось нечто вроде огромной раскрытой ямы, близ которой валялась забытая кирка. Лопата, воткнутая рядом, стояла отвесно в выемке затвердевшей земли. Острия кипарисов чернели на ярко-голубом небе.

Г-н де Галандо подошел к яме. Немного сухой земли осыпалось в нее. Заворковал невидимый голубь, и вдруг, путем какого-то внезапного возврата памяти, г-н де Галандо увидел себя стоящим над ямою, где некогда схоронили старика садовника Илера. Ему почудилось, что он находится на маленьком кладбище Понт-о-Беля. Это длилось с секунду и было неожиданно. Ворковавший голубь улетел, громко шумя крыльями. Иллюзия исчезла, но

она была так жива, так определена, что г-н де Галандо был потрясен ею, тем более что никогда не вспоминал о своей прошлой жизни. Она для него умерла в тот день, когда, держа в руке ключи от всех комнат опустевшего Понт-о-Беля, он в последний раз запер входную дверь замка, чтобы никогда более туда не возвращаться. Он оставил там свое детство, свою юность, все любимые вещи далеких лет, последний вздох матери, последний смех Жюли...

Солнечные лучи падали отвесно, г-н де Галандо снял парик, отер лоб, вынул часы и решил направляться домой. Ему было не по себе, но тем не менее он хотел зайти по дороге к Коццоли, чья болтовня несколько рассеивала его. К тому же портной учил говорить свою сороку, и г-н де Галандо интересовался успехами болтливой птицы.

Чтобы дойти до улицы Дель-Бабуино, г-ну де Галандо надо было обогнуть сады виллы Людовизи, потом ему оставалось спуститься по лестницам Троицы-на-Горе, и он должен был уже очутиться на Испанской площади. Он шел тихо, так как жара была изнурительна. Дойдя до перекрестка двух улиц, он остановился в нерешительности, не зная, по какой пойти. Прямо перед ним лежал крупный, неправильной формы булыжник, словно дремавший в пыли. Г-н де Галандо подтолкнул его концом трости. Камень тяжело покатился по направлению к улочке налево, и г-н де Галандо пошел за ним, не подозревая того, что этим движением сейчас он определил судьбу своей жизни. Он шел, продолжая подталкивать ногою камень. Шел, опустив голову и сгорбившись, как с ним нередко случалось. Легкий шорох заставил его поднять глаза.

В этом месте на улицу выходила терраса, окаймленная перилами и колонками, над которыми виноградные лозы образовали беседку и свешивали вниз свои ветви, к которым примешивались и виноградные гроздья. На перилах лежала женщина. Она вытянулась на теплом камне и, казалось, спала, повернувшись несколько боком. Были видны ее волосы, приподнятые над жирною шеею, ее гибкая спина, выступы ее бедер. Одна из поджатых ног приподнимала край ее платья, и маленькая ножка высывалась за перила. Она была обута в желтую шелковую туфельку, державшуюся на большом пальце, и легким движением она тихонько постукивала ее каблуком.

Вероятно, шум камня, который г-н де Галандо катил кончиком своей трости и который ударился об стену террасы, прервал легкий сон красавицы, так как она медленно встала, потянулась и села спиной к улице. В этой позе она была очаровательна. Приподнятыми руками она поправляла локон в прическе. На шее у нее было ожерелье из красных кораллов с крупными, неровными зернами, а в ушах сверкали длинные серьги.

В эту минуту она, без сомнения, заметила присутствие г-на де Галандо. Она полуобернулась, потом, не обращая на него внимания, сорвала ветку винограда, висевшую на шпалере на высоте ее руки. Лозы зашелестели.

Она ела виноградку за виноградку, медленно, наслаждаясь, держа тяжелую, пышную кисть перед глазами и то спеша, то останавливаясь, чтобы повернуть кисть в руке.

Г-н де Галандо снизу тревожно следил за ее движениями. Всякий раз, когда она отправляла в рот сочную, душистую ягоду, он ощущал у себя во рту восхитительную свежесть; ему казалось, что он вкушает нечто таинственное и запретное; он чувствовал какое-то жгучее волнение и истому. Мертвая тишина висела в душном воздухе.

Николай глядел. Рука его дрожала на набалдашнике его трости. Холодный пот струился по его лицу. Он чувствовал, как со дна его души поднималось тонкое и знакомое волнение и мало-помалу охватывало его всего. Эта молодая женщина с поднятыми руками и обнаженной грудью, евшая виноград, словно выплывала из глубины его прошлого. Час далекий и забытый возродился в настоящей минуте. Он стоял ошеломленный, прислонясь спиной к стене. Губы его шептали имя, которое он не повторял уже долгие годы: «Жюли!

Жюли!..»

— Олимпия! Олимпия! — раздался в ту же минуту сильный и веселый голос.

В саду, ниже террасы, открылась калитка. Залаяла собака.

— Олимпия, иди же взглянуть на платье, которое принес мне Коццоли! — продолжал голос.

— Придите, синьора, — произнес в ту же минуту высокий фальцет, по которому г-н де Галандо узнал маленького портного.

Синьора не двигалась с места. Она быстро поворачивала в руке виноградную кисть. На ней оставалась всего одна ягодка; она оборвала ее, с минуту покатала в пальцах, потом обернулась и с громким хохотом бросила ее в г-на де Галандо, стоявшего с раскрытым ртом, выпученными глазами, дрожавшими коленами и протянутыми руками; ягода попала ему прямо в щеку, отскочила и упала на землю, где и осталась лежать, сочная, золотистая и, словно сахаром, обсыпанная пылью...

V

Олимпия была названа при рождении Лючией. Отец ее был одним из тех лодочников на Тибре, которых видишь причаливающими свои лодки к порту Рипетта и у которых на загорелой коже словно лежит желтый отсвет древней реки. Трудно было сказать с точностью, звали ли его Джузеппе или Габриэле, так как мать Лючии отдавалась поочередно многим мужчинам, и из тех, что водою прибывают из Остии в Рим, не было ни одного, который не сжимал бы в своих объятиях ее тощую грудь и не опрокидывал бы ее на мешки с зерном или на кучи овощей. В дни получек она обходила в гавани все кабачки. Ее резкий голос сливался с бранью и с хохотом, со стуком кружек и звоном стаканов. Ее губам не было чуждо дыхание с запахом вина и чеснока, сливающее поцелуй с отрыжкой и икотой.

Обыкновенно она стояла на набережной рядом с корзиною апельсинов и лимонов, которые она продавала рабочим. Они останавливались перед нею с тяжестью на плечах, выбирали плод, и, глубоко закусив его, шли дальше. Все знали ее. Жила она в комнате, в жалкой велабрской лачуге. В ее конуре пахло воском и корками, так как она не забывала, чтобы лучше продавать свои фрукты, затепливать тоненькую свечечку перед изображением Мадонны. Она была набожна. Ходили слухи, что низшие церковнослужители Сан-Джорджио не опасались оспаривать ее у лодочников и что она попеременно переходила от возжигателей кадил к продавцам свежей рыбы.

От одного-то из них родилась Лючия. Шесть лет спустя римлянка скончалась вследствие того, что была нещадно избита во время ссоры в одной таверне, где ее таскали за волосы по каменному полу, липкому от винной жижи, которую она разбавила кровью из широкой раны, нанесенной ей в голову; рана эта не была излечена, и наконец она скончалась от нее, всеми покинутая, на своем нищенском одре, меж тем как маленькая Лючия, закусив зеленый лимон, отгоняла жужжавших мух, роившихся над кровоточившею ранюю.

Эта смерть превратила маленькую Лючию в бродяжку. Она спала на каких-то полатах, которые ей оставили из жалости. Соседки снабжали ее кое-какими лохмотьями и время от времени скудную пищу. Вне этого она промышляла где могла. Нередко целыми днями она не возвращалась в свое жилище. Она вела жизнь маленьких римских нищих, которые похожи на странствующих червей старых стен этого города. Она выпрашивала милостыню у прохожих, бегала за каретами, приставала к иностранцам, надоедала прихожанам при

выходе из церквей и, словно чудом, ускользала от колес экипажей, от шлепков лакеев, от ударов тростью гуляющих; она влачила повсюду свои лохмотья, смотрелась, как в зеркало, в водоемы, играла на ступеньках часовен и показывала прохожим на запачканном лице, из-под взлохмаченных волос, сверкающую свежесть губ и лукавый блеск черных глаз.

Особенно льнула она к иностранцам. Она нередко бродила пр Испанской площади, где они останавливаются в гостинице Мон-Дор, славящейся своим комфортом и отменным столом. Сантиментальные белокурые немецкие графини, приезжающие в Рим с юными и румяными членами верховного совета, не отказывали ей в небольшой милостыне, когда они выходили из-за стола, с полными еще ртами. Ее щедушная фигурка возбуждала жалость. Она показывала, сквозь лохмотья, свои острые локти. Добродушные французские дворяне, гуляющие по Риму, подняв нос кверху, поспешно опускали руку в карман, чтобы отделаться от ее приставаний. Но она предпочитала поджидать английских милордов. Она узнавала их по их апоплексическому сложению или по угловатым чертам лица, по их дородной представительности или по их поджарым фигурам. Она подметила, с каким особенным выражением наиболее пожилые из них разглядывали ее подвижную худобу тринадцатилетней девочки. Она следовала за ними во время их прогулки, и, когда кто-нибудь из них находился вдали от прохожих, за поворотом стены или в тени дерева, она вдруг приподнимала платье вокруг своего маленького тела и отважно показывала милорду свою хрупкую и нежную наготу, с янтарным отливом, и уже покрытую тенями. И этот фокус всякий раз приносил ей несколько монет.

Она честно делила свою добычу с товарищем, который никогда, с нею не расставался. Сирота и нищий, как и она, он звался Анджиолино. Он был годом старше ее, и они вели общее хозяйство. Неразлучные и вечно ссорившиеся, они никуда не ходили один без другого. К тому же Анджиолино бил ее, воровал у нее деньги. Она топала ногами, плакала, но кончала тем, что соглашалась на все, чего требовал этот бездельник. У него было бледное лицо, и он был красив.

Меж тем Лючия вырастала. Одна римская дама увидела ее при выходе из церкви. Она сидела, скорчившись, на ступеньке и плакала. Анджиолино во время ссоры жестоко избил ее; поэтому девочка согласилась последовать за своею покровительницею, сулившею ей всяческие блага. Г-жа Пьетрагрита жила в доме опрятном и спокойном. Образцовый порядок царил там. Г-жа Пьетрагрита слыла набожною и милостивою. Она была на хорошем счету у духовенства своего прихода. Она обращалась с Лючиею как нельзя лучше, отмыла и одела ее, обучила грамоте и пению, приучила ее к некоторому уходу за своим телом, дотоле ей неизвестному. Потом, в один прекрасный день, когда та была в самой поре, она продала ее кардиналу Лампарелли. Кардинал любил молоденьких девушек, и г-жа Пьетрагрита тайком снабжала его ими.

Дворец Лампарелли был расположен среди роскошных садов в квартале Монте-Веминале. Лючию ввели в павильон на краю этих садов. Г-жа Пьетрагрита сама довела ее до низенькой двери, открывавшейся в стене, шедшей вокруг сада, и передала ее на руки слуге, с видом дьячка, который и провел ее в павильон, оставив ее там одну. То было уединенное место, и безопасность его не раз была испытана кардиналом. Лючия нашла плотно запертые окна и зажженные канделябры. Она поняла, чего от нее желали и что г-жа Пьетрагрита дала ей понять обиняками. В ожидании, она отведала угощения, приготовленного на маленьком столике; кардинал застал ее с набитым ртом. Он так торопился увидеть это диво, о котором ему столько наговорила г-жа Пьетрагрита, что по исходе аудиенции он прибежал, не задержавшись даже, чтобы переменить свое парадное одеяние на платье, более соответствующее обстоятельствам. Поэтому Лючия, при виде того как из пышной красной одежды, упавшей на пол, вышел аббат в штанах, потом господин в рубашке и наконец мужчина, совершенно голый, была охвачена такою веселостью, что, когда она отдалась требуемому, грудь ее колыхалась от смеха, а во рту оставался сладкий вкус от недоеденного варенья.

Лампарелли был в восторге от веселого характера этого приключения и весьма горд своим подвигом, так как г-жа Пьетрагрита уверила его в нетронутости добродетели Лючии, и он думал, что в этом деле проявил удалость, делавшую ему честь всецело. На самом деле доверчивый кардинал в лучшем случае лишь довершил то, что было прекрасно начато Анджиолино под галереями, на краю дорог, вдоль стен, в сумерки или ночью, в каком-нибудь укрытом месте, привычном им, где они прятались, как молодые, гибкие и смелые звери; но Лампарелли не подозревал обмана и был доволен всем не менее того, как если бы имел к тому большие основания.

Лючия часто приходила в маленький садовый павильон. Кончилось тем, что Лампарелли поселил ее там. Его каприз превратился в пристрастие. Из павильона Лючия переселилась во дворец, на первых порах под кровлю; потом открыто получила там помещение. Кардинал сходил с ума от своей новой страсти. Он делал ради нее тысячи глупостей и питал к ней такую необъяснимую слабость, что в конце концов разрешил доступ во дворец Анджиолино.

Анджиолино превратился в необыкновенно красивого малого. Он явился к кардиналу со смиренным и кротким видом и удовольствовался самою скромною должностью. У него были хорошие манеры, которыми он был обязан одному французскому дворянину, г-ну де ла Терруазу, который, будучи поражен его красотой, приблизил его к себе и даже сделал из него как бы товарища. Анджиолино сохранил от этого чисто итальянского приключения несколько богатых перстней, подаренных ему господином, которые он носил на пальцах алмазами внутрь, чтобы снаружи не слишком были заметны вставленные в них драгоценные камни.

Как только молодой человек устроился на месте, он стал вести себя с такою гибкостью и таким искусством, что приобрел некоторое влияние на кардинала. Лючия и Анджиолино беспрепятственно возобновили свои былые вольные отношения; но, вместо того чтобы бродить в лохмотьях по улицам Рима, они наслаждались теперь, будучи вполне сыты и пользуясь довольством, за спиною кардинала, ничего не видевшего. Эта беспечальная жизнь тянулась несколько лет, пока, ввиду пошатнувшегося здоровья папы, Лампарелли, имевший виды на тиару и опасавшийся того, как бы его образ жизни, хотя и свойственный многим из конклавистов, не повредил ему перед их ханжеством, употребил то небольшое количество здравого смысла, которое у него оставалось, на полную очистку своего дома, рассчитывая этим помочь делу своего избрания.

Лючия подняла шум, грозила произвести скандал и кричать на улицах о том, как понимал кардинал любовь. Ей было известно многое по этому предмету, так как она присутствовала при последних вспышках страсти старика и была свидетельницей тех причуд, которыми он старался если не оживить ее пыл, то, по крайней мере, раздуть ее пепел. Поэтому она могла занять общество различными подробностями и анекдотами, которые могли бы скорее пролить свет на фантазии кардинала, нежели осведомить о его добродетели, и которые не преминули бы позабавить слух конклава.

В ту минуту, когда он открылся, в 1769 году, Лючия, под именем Олимпии, была уже несколько месяцев как водворена в красивом доме вблизи виллы Людовизи, приобретенном для нее на средства кардинала Лампарелли, который в дополнение к этому дару присоединил, большую сумму денег и обстановку. Кардинал предоставил Олимпию ее делам, а сам перешел к своим. Он торопился сменить кардинальскую шапку на тиару.

Из этого ничего не вышло. Лампарелли необычайно волновался, интриговал, злоумышлял, подстраивал голосования, набирал приверженцев, составил свою партию. Ум его был разгорячен этими искательствами и этими мечтами, а тело его страдало от неудобства келий, от дурного воздуха и от всех затруднений этой избирательной темницы. Избрание тормозилось, ему так мешали всевозможные происки, что оно грозило затянуться навек, если Дух Святой не введет настоящего порядка. Двое кардиналов скончались от трудов. Остальные продолжали их таинственную работу. Запертые в узкие помещения Ватикана,

выстроенные из досок в меру ширины и высоты галерей и зал, они упорствовали. Интриги запутывались, всех изнуряя, пока в один прекрасный день избрание не произошло неожиданно. Лампарелли покинул собор, преисполненный ярости и уничтоженный, и вернулся к себе полубезумным и не способным впредь ни к какому делу.

Наоборот, дела Олимпии процветали. Она была в достаточной мере снабжена деньгами, чтобы выждать какого-нибудь счастливого улова. Кроме выгод в виде дома и денег, полученных ею от Лампарелли, при ней оставалась еще постоянная и реальная ценность ее тела, которому ее зрелая юность придала красоту роскошную и сладострастную. Она была гибкая, крепкая и довольно полная, у нее была красивая грудь, нежный живот, упругие бедра и тонкие ноги. Эта красота являлась живым источником, правильная эксплуатация которого не замедлила бы принести ей состояние. Сверх того, она имела возле себя, чтобы устанавливать пользование им и обращаться с ним осторожно, драгоценную, бдительную и разумную помощь несравненного Анджиолино.

Он покинул дворец Лампарелли вслед за Олимпиєю. Первые недели их новой свободы были каким-то медовым месяцем; большую часть его они провели в постели. Они любили друг друга неизменно и своеобразною любовью, состоявшей из товарищества и разврата, из какой-то неблагородной и пылкой нежности, в которую входили и шаловливые игры и ярость любовников. Ласки и побои перемежались, а после их объятий и ссор в их взглядах было нечто и мрачное, и нежное.

Когда возврат этой страсти улегся, Анджиолино вернулся к своим делам. Во время своей бродячей жизни он приобрел самые разнообразные и полезные таланты. Он уже начал во дворце Лампарелли развивать некоторые из них; но теперь он находился в таком положении, что мог проявить все свои способности и всю широту своих достоинств. Плут сверх того имел весьма приличный вид. Он был хорошо одет и приятной наружности. Можно было, до известной степени, обмануться в его качествах, если бы что-то сомнительное не предупреждало и не заставляло настораживаться. Некоторая гибкость спины заставляла его кланяться чересчур низко. Его учтивость была слишком рабски почтительной, чтобы в ней можно было видеть только следствие его природной любезности. От пошлости он быстро переходил к заносчивости, от наглости к подлости. Он умел прекрасно разыгрывать шута и учитывал ту пользу, которую можно получить, если быть забавным. Этим он завоевал кардинала Лампарелли, проявлявшего особую склонность к проказам и притворству. Он восхищался в Анджиолино его искусством вывертываться из затруднения шуткою. Он смеялся и забывал, что плут только что подглядывал в замочные скважины и подслушивал у дверей.

Истина в том, что Анджиолино в глубине души был торгашом, интриганом, шпионом и законченным развратником. Не один вельможа и не один прелат обращались к нему в затруднительных или щекотливых обстоятельствах. Поэтому его часто можно было встретить в прихожих и ризницах. Наряду с этим, не прерывая сношений с простонародьем, он знал кабатчиков, каретников, сдающих в наем экипажи, носильщиков и прочий мелкий люд. Благодаря этому, он всегда был превосходно осведомлен о девушках, обещавших превратиться в красавиц, и о парнях, готовых на меткий удар кинжала. Таким образом, он всегда мог предоставить в распоряжение своих знатных клиентов средства для удовлетворения их пороков или насыщения их злопамятства, покладливую любовницу или ловкого наемного убийцу.

Подстерегая проезжих через Рим, он являлся к каждому из них под разными предлогами. Едва приехав, они получали визит хитрого Анджиолино, предлагавшего свои услуги. Он мог предложить им всяческие услуги и начинал с предложения показать им город со всеми его подробностями и достопримечательностями, как открытыми для публики, так и тайными. Он занимался всем, нанимал квартиры, торговал мозаикою и камнями, добывал мощи святых, водил по церквам, театрам и игорным домам. Для любителей музыки он умел превосходно

устроить квартеты и камерные концерты, так как он был в лучших отношениях со всею кликою кулис и пюпитров, скрипачами, актерами, кастратами. У него было чем удовлетворить самого требовательного человека, когда тот хотел истратить деньги на покупки, на музыку, на хороший стол, на игру или, проще, на женщин, что, в конце концов, является способом самым обычным и самым удобным.

Анджиолино держал лавку красавиц, и Олимпия занимала первое место на этой выставке. Она добровольно подчинилась осторожному и прибыльному выбору Анджиолино, и благодаря именно ему прекрасная римлянка видела, как через ее альков прошли самые разнообразные иностранцы.

Она спала с англичанами, молочно-белая кожа которых представляет странный контраст с их сангвиническим и красноватым цветом лица. Между ними бывали силачи, распространявшие вокруг себя запах сырой говядины и здоровой скотобойни. Другие же, длинные и тощие, вытягивали рядом с нею костлявые скелеты, дыша коротко и еле слышно. Иные, дородные, наваливались всею тяжестью своего мяса на ее упругую грудь. Ей до известной степени нравились немцы; они добродушны или суровы, меж тем как испанцы даже в любовь вносят свою причудливую спесь. Что до французов, то ни один из них не покидал Рима, не пройдя через руки Олимпии, так как они путешествуют не иначе, как добиваясь в каждой стране любовного гостеприимства ее куртизанок. Обычно все обходилось у Олимпии благополучно и пристойно. Там находили удовольствие скромное и безопасное, так как Анджиолино ненавидел шум и скандалы и все, что привлекает внимание сыщиков и полицейских. Он умел, однако, рискнуть кое-чем, когда дело того стоило, не опасаясь даже неприятных последствий, как это случилось по поводу того молодого русского вельможи, который вышел от Олимпии только с совершенно пустыми карманами, так как Анджиолино знал все ухищрения игры и все приемы, с помощью которых обирают неосторожных игроков. Он пустил их в ход против наивного боярина, который после ночи, проведенной за зелеными столами среди статистов, которыми Анджиолино ловко обставил их, очутился утром без цехина в кошельках, принесенных им с собою разбухшими от золота, и в таком жалостном состоянии, что его подобрали на нижних ступеньках лестниц Троицы, с оторванными от его платья алмазными пуговицами, с вывернутыми карманами, со снятыми с пальцев перстнями и с головою, настолько одурманенною напитками, которыми постарались ошеломить его несчастье, что он три дня не выходил из гостиницы, страдая и крича на своем стуле от спазм, раздиравших ему внутренности.

Олимпия тем более восхищалась проделками Анджиолино и его умением устраивать всевозможные штуки, что сама она не была способна придумать и четвертой доли их или подыскать им замену. Ей недоставало пронырства и сметки, так же как и приемов, необходимых в любовном обиходе. Очарование и вид ее красоты были ее единственным оружием. В ней не осталось ничего от той лукавой маленькой девочки, которая поднимала юбку под носом у престарелых милордов. С тех пор как ее бродячая и необеспеченная жизнь кончилась, благодаря заботам г-жи Пьетрагриты, она выказала себя вялою, неподвижною и ленивою. Она почти не выходила из дворца Лампарелли. Едва-едва во время карнавала проезжала она по Корсо, замаскированная; но, раз уже выведенная из апатии, она становилась вдруг неистовою от шума и веселья, а потом, на следующий день, снова впадала в свое бесстрашие, прерываемое лишь вспышками гнева, заставлявшими ее мгновенно вскакивать, делаться грубою и сварливою, с блуждающим взором и выпущенными вперед ногтями.

Водворившись в своем доме, она мало-помалу стала совсем домоседкою. Она влачила по лестницам и коридорам свои широкие платья всех цветов. Зимой она отогревала у жаровень свои застывшие руки и оставалась так целыми часами, с покрасневшимися щеками, греясь перед горящими угольями. Летом она проводила долгие часы в отдыхе и просыпалась, только чтобы погрызть печенья или обсахаренного миндаля или чтобы подойти к зеркалу. Оглядев свое лицо и свое тело, она снова шла спать. Много времени проводила она также

под свою виноградную лозу и, лежа на балюстраде террасы, ела кисти винограда или иные плоды.

Потом она бродила там и сям в надетых на босу ногу туфельках желтого шелка, каблуками которых она постукивала и на которые лаяла маленькая собачка. Она принимала у себя гадалщиц и продавцов румян. Равнодушие, с которым она спала с каждым первым встречным, было полное. Она полагалась в этом на Анджиолино.

Странная смесь роскоши и неряшества пестрила ее дом. От грязи она восходила к утонченному. Пили из разрозненных щербатых стаканов, скрипевших на зубах. Тарелки из простой глины перемешивались с тонким фарфором. Под потолком виднелись хрустальные люстры с переливами радуги, висевшие на пеньковой веревке. На полу можно было поскользнуться на очистках фруктов и на ореховой скорлупе. В углу расколотое зеркало отражало кресло о трех ногах. Олимпия ходила в разорванных платьях, на которых не было недостатка, в пятнах. Нередко руки ее были перепачканы вареньем. Ее разваливающаяся прическа всегда придавала ей вид, словно она только что встала с постели. Несмотря на это, некоторая сладострастная грация была разлита во всей ее особе. Ее очарование исходило, по всей вероятности, из того, что она всегда, казалось, была готова для наслаждения. Ей были благодарны за то наслаждение, которое она доставляла, а Анджиолино отнюдь не ревновал, при условии, чтобы и он, время от времени, получал свою долю. Эти минуты сопровождалась обычно смехом, шутками и ссорами и кончалось всего чаще слезами Олимпии, которая утешалась тем, что, с мокрыми щеками, полунагая, сидя на краю кровати и свесив ноги, изо всей силы закусывала красный апельсин или желтый лимон.

VI

Г-н де Галандо в эту ночь совсем не ложился спать.

Пришедший домой, он застал стол накрытым. Обычно ему приходилось сходить вниз на кухню и напоминать Барбаре, что время обеда приближалось или что оно давным-давно прошло. Служанка вставала и, ворча, поднималась накрывать на стол.

Барбара с годами легко становилась забывчивою. То она вынимала из шкафа кое-какие остатки, ставила их на огонь подогреть, а сама бежала за яйцами. Тогда до г-на де Галандо доносился большой шум со двора. То Барбара, взобравшись на подножку дорожной кареты и наклонившись внутрь ее, осматривала кладку яиц. Потревоженные наседки кудахтали, и испуганная птица хлопала крыльями в вихре поднятых пуха и зерен. Барбара возвращалась, неся в каждой руке по паре яиц.

Г-н де Галандо терпеливо наблюдал это все из окна. Тихо сгущались сумерки. Сквозь деревья Рим казался ему фиолетовым и словно отодвинувшимся вдаль, с его крышами и соборами. Колокола на колокольнях звонили Ave Maria. Один из них был довольно близко и звучал медленно, глухо, словно говорил тихим голосом. То был колокол соседнего монастыря.

Колокол мало-помалу затихал. Другой, где-то очень далеко, звучал еще. Потом все умолкали, кроме него. Можно было подумать, что он хотел пробудить уснувших от их постепенного оцепенения, что он побуждал их возобновить их бронзовую хвалу, молил их объединиться снова в общем порыве, в новой звучной гармонии. Но бесплодный призыв одинокого колокола становился все тише; он пытал еще несколько ударов, потом они раздавались редко, с промежутками, вплоть до последнего, который долго звучал в пустом небе. Рим исчезал мало-помалу: он, казалось, таял и распускался во мраке, пока круглая серебристая

луна не подменяла света дня своею ночью прозрачностью.

Г-н де Галандо долго смотрел на это привычное зрелище и оборачивался, только когда раздавались шаги Барбары, вносившей подсвечник и ставившей его на стол. Свет озарял тарелки с лежавшей на них кучкою овощей или с округлостью крутых яиц, катавшихся по тарелке и которые обычно, за время своего путешествия из кухни, раскалывались, стучаясь друг о друга скорлупками.

Но в этот вечер Николай нашел случайно ужин готовым и ожидавшим его. У Барбары порою являлось особенное усердие. Для этого надо было, чтобы она заметила у своего хозяина плохой вид и выражение слабости. Г-н де Галандо старился. Его высокая костлявая фигура похудела. Его платье, ставшее широким, собиралось в складки на спине. Его ноги казались более иссохшими. К тому же он бывал печален, и нередко на ходьбе он оборачивался с видом человека, который словно оглядывался назад на пройденную жизнь.

Каковы бы ни были причины его недомоганья, оно было, тем не менее, заметно, и, по меньшей мере, в нем была видна известная физическая усталость. Чтобы прогнать ее, Барбара и зажарила именно в этот вечер жирную пулярку. Поэтому и стала она за стулом своего господина, чтобы проследить действие на его аппетит этого лакомого блюда. Велико было ее изумление, когда она увидела, что он оставался погруженным в глубокую задумчивость, положила руку на вилку и не двигаясь. Он настолько походил на человека уснувшего, что она испугалась, видя его таким, и убежала в кухню, где принялась перебирать четки, моля Бога расколдовать его, так как подобное равнодушие перед столь искусно зажаренною пуляркою могло явиться лишь следствием какого-либо колдовства, которому он, без сомнения; был обязан своим плохим видом и упадком своего здоровья.

Г-н де Галандо долго просидел за столом. Пулярка на оловянном блюде сначала дымилась, потом мало-помалу охладилась в застывшем под нею соусе. Недвижные яйца на тарелке ждали напрасно; напрасно горбился и хлеб под своею золотистою корочкою. Мелкие черные оливки плавали в желтом масле. Свеча нагорела, потекла крупными слезами. Две летучие мыши влетели в окно и принялись под потолком описывать бесконечные круги. Г-н де Галандо все еще не двигался, и, только когда свет погас и свеча выгорела до дна подсвечника и когда он остался в темноте, он ощупью добрался до своей спальни.

Луна освещала комнату; она только что встала, и г-н де Галандо принялся ходить взад и вперед ровным и однообразным шагом. Достигнув конца своей прогулки, он начинал ее снова. Так длилось долго, и он не думал ложиться спать. В эту ночь — первую после той ночи, которую он провел некогда в библиотеке Понт-о-Беля, в день, когда его мать остановила его покушение на молоденькую Жюли и заперла на ключ виновного, — г-н де Галандо совсем не ложился. В первый раз позабыл он раскинуть, как он то делал ежедневно, свое платье в ногах кровати, на спинке стула, расправив полы и свесив рукава, старательно сложить свой жилет и свои штаны, вытряхнуть пыль из чулок и, скатав, засунуть их в башмаки, повесить на трость, прислоненную к стене, свой парик и свою треуголку.

Мало-помалу прозрачный и голубоватый воздух ночи утратил свою серебристость. Он сделался серым и пыльным. Луна померкла, пожелтела и зашла. Наступила заря. На дворе пропел петух. Г-н де Галандо, казалось, проснулся от сна на ходу. Он становился в своей ходьбе, простоял минуту в нерешительности, потом направился к своей постели, остававшейся неоткрытою, взобрался на одеяло и, подняв руки, достал с полки, где они стояли рядом, одну из убранных туда глиняных амфор. Та, которую он взял, была так тяжела, что в первую минуту он едва не уронил ее; потом осторожно сел на краю своей кровати, держа амфору между колен. Она была прохладна и покрыта пылью; паутина, шелковистая и легкая, делала ее словно мягкой и почти влажною при прикосновении. Г-н де Галандо долго разбирал украшавшую ее живопись. Горшечник изобразил на ней довольно странную сцену. Там можно было увидеть длиннорядого мужчину с лысым черепом, стоявшего на

четвереньках, а у него на спине обнаженную женщину верхом, словно на лошади. Одной рукой она ударяла его тирсом, а в другой держала на уровне своего рта тяжелую кисть винограда.

Г-н де Галандо теперь держал амфору опрокинутой и старался высыпать из нее то золото, которое содержало в себе ее полное брюхо; но монеты, опущенные поодиночке в узкое горлышко, забились отверстием своею плотною массой. Г-н де Галандо постучал пальцем в бок амфоры. Ему ответил сухой металлический звук.

Вдруг упал один секин, за ним три, потом еще два, потом быстрый дождь рассыпался по постели. Г-н де Галандо брал это золото полными пригоршнями и лихорадочно засовывал его в карманы. Карманы его панталон были скоро полны; он набил им тогда карманы в полах в жилете, завязал его в огромный носовой платок, остальное собрал в кучу и спрятал ее под матрас. Потом, встав, он в последний раз опрокинул амфору.

Один дукат, остававшийся на дне ее, выпал и кругом покатился по полу, где вскоре и улегся маленьким золотым кружочком. Г-н де Галандо нагнулся поднять его. Его длинная неуклюжая фигура комически перегнулась пополам. Сделав это, он направился в вестибюль.

Настал окончательно день. Солнце сверкало сквозь утренний туман. Г-н де Галандо вышел из виллы. Он с минуту постоял наверху лестницы, двойные перила которой вели во двор. Рим просыпался восхитительно в этот утренний час, весь розовый и рыжий, уютный и монументальный в этом нежном и благородном свете. На облупившейся и побелевшей крыше старой дорожной кареты тихо ворковали голуби; время от времени один из них улетал в клубах переливавшихся перьев. Рослый петух в рамке открытой дверцы стоял на одной ноге; его гребень, мягкий и красный, колебался. От ночи ничего не осталось, кроме двух маленьких летучих мышей, которых г-н де Галандо заметил, проходя через столовую, где, прижавшись в углу потолка, они висели, сложив крылья, как два ночных плода, как две фляги для тени, пьяные тем мраком, который они выпили.

Спустившись с лестницы, г-н де Галандо прошел по двору и вышел быстрыми шагами. Мало-помалу золото, отягощавшее его карманы, замедлило его шаг. Тибр, через который он перешел, катил жидкие и маслянистые волны. На одной из площадей был рынок; пара волов с длинными, изогнутыми рогами, запряженные в телегу, промычали нежно и глухо. В одной, почти пустой, улочке г-н де Галандо услышал, как за ним кто-то бежал. Мужчина, прежде чем настигнуть его, исчез в боковом переулке. На одном перекрестке сидела на задних лапах собака. Она лизала себе одну лапу за другую и жалобно лаяла. Г-н де Галандо шел все дальше. Достигнув угла улицы Дель-Бабуино, он с минуту колебался, потом пошел по ней и ускорил шаг, чтобы дойти до двери Коццоли.

Коццоли встал с зарею. Он был деятелен и трудолюбив. Он устраивался на своем столе и принимался кроить и шить. Он работал таким образом долго до того, как его жена спускалась в мастерскую с антресолей, где спала вся семья. Тереза и Мариучча были еще гораздо ленивее. Они долго лежали в постелях, то спали, то шалили, и надо было, чтобы отец приходил сам стаскивать их с матрасов. В назначенный час маленький человек карабкался по лестнице. Плутовки напрасно притворялись спящими, но Коццоли не поддавался обману; сколько они ни прятали носы под одеяло, портной был безжалостен. Одним взмахом руки он стаскивал с них простыни и открывал их, еще теплых от сна, раздетых, в одних рубашках, приподнятых или скомканных, с голыми ляжками. Он дразнил их и смеялся над ними, чтобы заставить их встать, радуясь их здоровым личикам и развеселенный видом их свежей кожи, а они разбегались с хохотом и веселыми криками. Но нередко игра принимала дурной оборот. У Коццоли нрав был переменчивый, и в некоторые дни дурное и хорошее настроение соприкасались так близко, что бывало опасно вызвать то или другое. Тогда вставание не обходилось без нескольких пощечин, заставлявших плакать Терезу, меж тем как Мариучча, негодующая, потирала себе зад, красный от шлепка или от укола иглоу, которым отец хотел

прогнать ее лень.

Итак, Коццоли сидел один в своей лавочке, когда г-н де Галандо толкнул дверь и вошел. Коццоли был так удивлен этим ранним посещением, что взмахнул в воздухе руками и быстро опустил их, желая скрыть работу, которою он был занят. В самом деле, вместо того чтобы кроить или шить какое-либо мужское платье, Коццоли был занят шитьем маленького платица из красного муара.

Крошечные штаны, уже оконченные, лежали на столе, подле него. Они, казалось, были предназначены для какого-нибудь кардинала, карлика ростом, и заставляли предполагать, что какой-нибудь пигмей был только что возведен в кардинальский сан и поручил Коццоли изготовить ему свой гардероб. Но г-н де Галандо казался столь взволнованным, что вовсе не заметил странной работы портного, и, задев при входе одного из примерочных манекенов, он церемонно поклонился ему, словно то была важная персона.

Но, раз уже усевшись на своем привычном стуле, г-н де Галандо несколько пришел в себя. Ручная сорока покинула плечо Коццоли, на котором сидела, и, перелетев, села на плечо к нему. Коццоли, с своей стороны, вновь обрел все свое превосходство. Сидя, как на насесте, на своем столе, он поглядывал сверху на своего раннего посетителя, ожидая от него какого-либо объяснения его неожиданного визита, так как, невзирая на то, что он сгорал нетерпением узнать его причину, он упрекал бы себя в недостойной слабости, если бы обнаружил хоть каплю любопытства. Пропекая нитку в иголку, он украдкой поглядывал на г-на де Галандо, делая вопрос чести из того, чтобы тот заговорил первый. Г-н де Галандо все еще на это не решался. Он оставался неподвижным и молчаливым. Можно было слышать время от времени сухой стук клюва сороки и шелест стежков, которые делал портной. То могло длиться неопределенное время, благодаря вялости одного и упрямству другого. Сверху был слышен шаркающий шум метлы г-жи Коццоли, подметавшей комнату, где Тереза и Мариучча еще спали.

Наконец, г-н де Галандо кашлянул несколько раз, притом с умоляющим видом; Коццоли принял этот признак смущения за первый шаг и долее не выдержал. Покашливание г-на де Галандо заставило улететь сороку, покинувшую его плечо для плеча Коццоли.

— Где, черт возьми, могла ваша светлость простудиться? — спросил портной. — У нас разгар лета, так что г-н Дальфи вчера только заказал мне три легких костюма, из которых один серый, для пыли; она велика в это сухое время, и эта она раздражила вам горло. Не угодно ли вам, ваша светлость, стакан воды? Тереза или Мариучча принесут вам его, хотя вся эта молодежь еще спит; но я сейчас подниму их, чтобы идти за водой.

Г-н де Галандо сделал жест благодарности.

— Конечно, — продолжал Коццоли, — я должен заметить вашей светлости, что вы впервые посещаете в такой час мою скромную лавочку, и хорошо, что я встаю вместе с петухами; иначе вы нашли бы дверь запертою, что вас сильно рассердило бы, так как я бьюсь о заклад, что одежда вашей светлости нуждается в какой-либо спешной починке и что, наверное, надо подшить какой-нибудь вырванный клочок или починить что-либо попорченное.

Так как г-н де Галандо все еще не отвечал, то Коццоли пустился в бесконечные разговоры с перечислением всех причин, которые могли привести к нему г-на де Галандо в столь ранний час. У Коццоли была та особенность, что он был одновременно и мечтатель и шут. Его фантазии быстро переходили в дурачества. Поэтому г-н де Галандо должен был выслушать, как его раннему приходу приписывались самые нелепые поводы, так как мало-помалу дурное настроение маленького портного исчезало в том удовольствии, которое ему доставляли его собственные выдумки.

Смеясь весьма громко, спросил он наконец у г-на де Галандо, не была ли причиною его

прихода просто какая-нибудь ссора со старою Барбарою.

— Когда я говорю о ссоре, то вы меня понимаете, ваша светлость. Но я постоянно опасаясь, как бы моя достойная тетка, живя бок о бок с таким честным господином, как вы, не принесла ему в дар своей древней добродетели.

Эта выходка обычно возбуждала веселость всего дома, и самый отдаленный намек на любовные похождения тетки Барбары в высшей степени радовал Терезу и Мариуччу.

Но г-н де Галандо внезапно встал и, покраснев и бормоча придушенным голосом, сказал портному:

— Г-н Коццоли, я пришел поговорить с вами...

По мере того как г-н Галандо говорил, самое глубокое изумление появлялось на лице Коццоли. Настала его очередь удивляться. Он машинально снял свой наперсток и воткнул в клубок иглу. Он двигал своими скрещенными ногами, откидываясь назад. Стоял ли перед ним, в самом деле, настоящий г-н де Галандо или какой-нибудь ночной призрак, которые бродят, по слухам, впотьмах; неужели он заимствовал внешность и одеяние, обычное для почтенного дворянина, и пользовался его благородным видом для своего дьявольского воплощения? Нет, то на самом деле был г-н де Галандо, который, краснея и смущаясь, спрашивал у него имя дамы, виденной им накануне на террасе, близ садов виллы Людовизи, кушавшею кисть винограда; он прибавлял в смущении, что при виде ее он ощутил сильное желание познакомиться с нею и засвидетельствовать ей свое почтение и желание пользоваться ее благосклонным обществом, если ничто этому не препятствует. Он полагал, что друг его Коццоли, чей голос он случайно слышал в саду синьоры, может добиться для него беседы, которая даст ему возможность выразить всю прямоту его намерений и искреннее желание быть полезным столь прекрасной особе. Все это показалось Коццоли чудовищным, и он сидел словно оглушенный, потом вдруг его изумление сменилось неодолимою веселостью, и, спрыгнув со стола, он принялся бегать по комнате, держась за бока, с тысячею прыжков и с радостными визгами.

На этот шум г-жа Коццоли, не зная, что такое происходит, спустилась вниз с антресолей. Она была в короткой юбке, волосы ее были всклокочены. Тереза и Мариучча шли за нею следом. Глаза у них слипались еще со сна, а в волосах был пух от подушек. Обе были в рубашках; Мариучча спустила рукавчик своей рубашки и показывала голое плечо, меж тем как Тереза, подняв подол, без стеснения чесала ногу там, где ее укусила блоха.

Г-н де Галандо стоял в углу комнаты, опустив глаза. Наконец, Коццоли, задыхаясь от смеха, мог воскликнуть:

— Знаете ли вы, знаете ли вы... чего требует от меня его светлость? Ему угодно, чтобы я свел его... ха-ха-ха, чтобы я свел его к одной даме... хи-хи-хи знаете... к Олимпии...

Слова его были прерваны радостным воплем; тогда образовался поток криков и восклицаний вокруг бедного г-на де Галандо, оглушенного, стоявшего в неловкой позе, с карманами, раздувавшимися от золота, и вертевшегося в руках шляпу. Коццоли хохотал до упаду, г-жа Коццоли упала на стул. Тереза, прислонясь спиною к стене, смеялась до слез, а Мариучча, взобравшись на стол, плясала там и хлопала в ладоши, не заботясь о том, что было видно из-под ее короткой рубашки, меж тем как сорока, испуганная всем этим шумом, летала под потолком, хлопая своими бело-черными крыльями.

Первое свидание г-на де Галандо с синьорой Олимпией произошло в четверг. Новый чичисбей для этого случая вынул из одного из своих дорожных сундуков новое платье и свежий парик. После того как он отважился переговорить с Коццоли, он стал немного спокойнее. Накануне он зашел к ювелиру, рекомендованному ему г-ном Дальфи, и, кроме великолепного кольца, заказанного им там, он выбрал еще несколько мелких подарков для семьи Коццоли. Портной получил золотой наперсток и игольник; жена его нашла для себя в коробке прекрасные выпуклые часы; Тереза и Мариучча получили серьги, которые они тотчас побежали примерять и, трясая головою, забавлялись тем, что заставляли их звенеть о щеки. В благодарность за это Коццоли преподал г-ну де Галандо ряд советов, как вести себя с женщинами, так как он ни на минуту не сомневался, что французский дворянин был намерен сделать прекрасную итальянку своею любовницею.

Именно так и сообщил он Олимпии, передавая ей предложения г-на де Галандо. Они были приняты превосходно. Анджиолино, когда спросили у него совета, увидел в них верное и скромное обеспечение, то именно, что им было нужно. Г-н де Галандо, со всех точек зрения, казался ему провиденциальным, и хотя хитрец и скинул кое-что с рассказанной Коццоли, необузданное воображение которого превращало г-на де Галандо не более не менее как в переодетого принца, тем не менее оставалось установленным, что, сведенный к своей точной стоимости, добрый господин был богат, неприхотлив и уже стар. Размышляя об этом, можно было прийти к опасению, что он чужак и меланхолик, особенно если принять во внимание тот образ жизни, который он уже несколько лет вел в Риме, сумев настолько уединиться, что обманул чутье Анджиолино и избежал его ловушек. Но если взглянуть глубже, то эти же обстоятельства, доказывали, что его внезапная и неожиданная страсть к синьоре должна была быть тем сильнее, чем более она противоречила его нравам, установившимся в результате долголетней привычки, отворотить от которых его могло лишь совершенно исключительное событие.

Таким образом, здесь представлялся, как разумно судил об этом Анджиолино, прекрасный случай для женщины, чтобы испытать свои таланты. Даже самое уединение, в котором жил г-н де Галандо, способствовало тому, чтобы его легче обобрать. К тому же Коццоли ручался за его внешность, говоря, что от него только зависит превратить г-на де Галандо в изящного барина. Но Николай, невзирая на все настояния портного, не хотел согласиться и не разрешил одеть себя заново на манер, который бы более приличествовал его новому положению влюбленного.

Итак, в один прекрасный четверг около трех часов пополудни он посетил впервые Олимпию, одетый в свое серое платье, в огромном парике на голове, в башмаках с пряжками на ногах и с тростью в руке. Анджиолино счел осторожным скрыться и все устроить так, чтобы ни один докучный посетитель не помешал беседе и невзначай и некстати не прервал бы свидания. Он горячо рекомендовал Олимпии сообразовать свое поведение с поведением г-на де Галандо и подчиниться его воле, так как он хорошо знал, что иные мужчины вносят в этого рода дела поспешность и неотложность, меж тем как другие проявляют намеренную и рассчитанную медленность, желая усилить наслаждение тою осторожностью, которую они его задерживают. Возможно, что г-н де Галандо, столь умеренный во всех своих проявлениях, был груб и скор в любви, и в этом случае Олимпии было дано приказание не противиться и, если в том встретится надобность, довести дело до конца немедленно.

Уже с утра, по выходе из ванны, в которой она пробыла долго и которая была приправлена ароматами душистых трав, она заменила свою беспорядочную одежду нарядным туалетом.

Олимпия приняла г-на де Галандо сидя в высоком кресле, тщательно причесанная, с закрытою грудью, с маленькою собачкою на коленях. Николай сел на стул напротив ее. Не было на свете человека, который был бы смущен более, чем он, попеременно то скрещивая,

то снова выпрямляя ноги, то краснея, то бледнея. Олимпия не была новичком в подобного рода встречах; много раз находилась она лицом к лицу с иностранцами, говорившими на языках, в которых она не понимала ни слова, но простота их чувств и очевидность их намерений легко заменяли речь мимикой, в значении которой нельзя было ошибиться и в которой, за недостатком понимания слов, согласие движений устанавливалось превосходно. В таких случаях Олимпия предоставляла своей красоте говорить за себя, и ответ получался незамедлительно. Но г-н де Галандо прикидывался глухим, и Олимпия не смела пустить в ход те средства, которые она применяла обычно для возвращения слова немым.

Ему вскоре показалось, что он сидит на этом месте уже несколько часов; время от времени она улыбалась, и всякий раз при этом у г-на де Галандо краснело под париком все лицо, и он пристально смотрел на кончик своей трости. Было жарко. Олимпия думала о том, как приятно было бы сейчас растянуться и уснуть. Едва заметная зевота тревожила концы ее губ. Положение оставалось все то же, и сидение друг против друга длилось. Олимпия не решалась заговорить, не зная, как подойти к этому молчаливому и степенному человеку, который словно застыл на своем стуле и который в столь двусмысленное предприятие вносил столь почтительную благопристойность. Они продолжали сидеть по-прежнему, пока маленькая собачка, долго лежавшая спокойно на коленях Олимпии, не потянулась, не подняла ушки, не встала на лапки, не взглянула с любопытством на г-на де Галандо и не твякнула три раза.

Когда г-н де Галандо вслед за тем удалился, отвесив церемонный поклон Олимпии, она осталась в глубоком изумлении, не зная, что подумать об этом странном посещении, исход которого поставил ее в большое затруднение и рассказ о котором, по-видимому, весьма смутил Анджиолино, так как оно походило несколько на бегство.

Ничего не случилось. Чудак явился на другой день, а также и в последующие дни. Он всегда приходил в один и тот же час, зайдя предварительно к ювелиру узнать, не готово ли ожерелье. Потребовалось известное время, чтобы подобрать для него драгоценные камни, которые должны были быть прекрасны, и чтобы закончить оправу их, которая, согласно желанию г-на де Галандо, должна была быть тонкой чеканки. Он сообщал каждый день Олимпии о ходе работы, так как он объявил ей о подарке, который он собирался ей сделать. Она видела в этом первом даре, главным образом, предвестие будущих щедрот; но она хотела бы заслужить эти щедроты тем, что всего более влечет мужчин к благодарности и служит, тем не менее, женщинам предлогом требовать от них всего.

Г-н де Галандо не расставался с самою крайнею благопристойностью, с величайшею осмотрительностью и самою изысканною церемонностью. Он говорил теперь довольно охотно; но Олимпия не находила в этих старомодных речах тех слов, с которыми к ней обращались обычно и которые относились всего чаще только к приемам сладострастия и к подробностям наслаждения. Она, правда, попыталась запустить в свои ответы г-ну де Галандо несколько приманок этого рода; но он, казалось, не улавливал их смысла, а когда авансы становились слишком очевидны, то он, по-видимому, испытывал более смущения, нежели волнения.

Во всем этом Олимпия скучала ужасно, до зевоты, тем более что, когда г-н де Галандо уходил после двух часов свидания с нею наедине, ей нечего было сообщить Анджиолино, прибежавшему за новостями. Он начинал беспокоиться, зная теперь, что г-н де Галандо гораздо богаче, чем он считал его вначале. Его значительный кредит у Дальфи заставлял в него верить. Но Олимпия, переносившая всю тяжесть этих смертельно томительных бесед, была вне себя от скуки, граничившей с яростью, так что Анджиолино стоило огромного труда помешать ей порвать с этим медлителем-пустословом. Он уговаривал ее как только мог, чтобы она не потеряла терпения. Так как г-н де Галандо умалчивал о своих намерениях, то было условлено, что она попытается осторожно и в удобный момент дать им такие случаи обнаружиться, что они прорвутся неминуемо.

Для этого надо было действовать тихонько и постепенно, так, чтобы не сразу испугать робкого гостя. И так, мало-помалу Олимпия перешла к более вольному обхождению. Она снова надевала открытые платья, выгодно выставлявшие ее красоту. Нередко она пела. Николай слушал ее с удовольствием и, казалось, внимательно следил за ее движениями. Олимпия в самом деле была прекрасна, с тем чутьем сладострастия, которое заставляло ее особенно отличаться в позах, наиболее пригодных, чтобы выгодно оттенить самые красивые линии ее тела. Г-н де Галандо смотрел с видимым удовольствием, как она ходила взад и вперед, ела плоды, медленно и лениво обмахивалась веером. Он смотрел, как она смеется, и не краснел. Вместо того чтобы оставаться в комнатах, они переходили в сад. Они гуляли по аллеям и подходили и облакачивались на террасе, стоя совсем близко друг к другу.

Однажды, когда она слишком поспешно спустилась с лестницы, у нее лопнула подвязка. Она поставила ногу на ступеньку, чтобы подвязать ее; г-н де Галандо, вместо того чтобы отвернуться, смотрел на нее внимательно. Она подняла платье выше, чем было надо, и долго не приводила его снова в порядок.

Под разными предлогами она достигла того, что он касался ее кожи. Он прикасался к ней робко, кончиками пальцев, словно боялся. Однажды, когда она перевесилась над перилами террасы, листок с дерева упал ей за платье и скользнул между лопаток. Она попросила г-на де Галандо достать его. Он сделал это церемонно и вежливо, приподняв треуголку над своим огромным серым париком, чтобы лучше видеть; рука у него дрожала, и он уронил трость на землю.

Когда он входил теперь, она охотно устраивалась так, чтобы он застал ее спящею. Она следила из полуопущенных век за смущением г-на де Галандо. Он ходил вокруг нее, производил шум и никак не мог разбудить ее, тем более что она не спала. Олимпия тогда замечала, что он внимательно ее рассматривал. Случайный сон облегчает счастливые непристойности. Но все это ни к чему не вело. Николай перестал говорить даже об ожерелье, и Анджиолино спрашивал себя, не издевается ли он над ними.

Не проходило, однако, дня, чтобы г-н де Галандо не пришел к Олимпии, и всякий раз в один и тот же час. В этот день было жарко, и Олимпия легла отдохнуть в ожидании своего обычного посетителя. Чтобы лучше ощущать на теле свежесть постели и воздуха в комнате, она легла нагая. Спустили занавески и тщательно полили пол. Мокрые разводы приятно переплетались на нем. Олимпия заснула, думая о колье, которое обещал подарить ей Николай. Она собиралась сегодня же напомнить ему о нем...

Она довольно долго спала на боку, положив щеку на руку, вытянув одну ногу и слегка подогнув другую. Одна из ее грудей была легонько прижата к простыне. Бока ее как бы опали. Самый глубокий сон редко бывает неподвижным, у него есть свои едва приметные движения; тело само собою ищет наиболее удобного положения, так что Олимпия произвольно повернулась. Она спала теперь на спине, заложив руки под голову, груди ее были на одной высоте, ноги вытянуты. Пышность бедер еще более оттеняла гладкую округлость колена. В таком положении она проснулась. Г-н де Галандо стоял рядом с кроватью. В руке он держал огромный футляр из красной кожи, и Олимпия видела, как он достал из него и надел ей на шею великолепное ожерелье из изумрудов. Она почувствовала на коже свежесть драгоценных камней и металла.

Г-н де Галандо стоял, не двигаясь, и молчал. Олимпия поняла, что настала решительная минута. Гибкая и проворная, она схватила его за руки и силою наклонила его над собою. Его безвольные и дрожащие руки едва защищались. Внезапно он поскользнулся и почти упал на кровать. Трость, шляпа и футляр скатились на пол. Вдруг г-н де Галандо поднялся. Он стоял на коленях на кровати, вытянув руки с выражением ужаса и вперив взоры в дверь, которая открывалась медленно, словно для того, чтобы пропустить кого-то. Николай смотрел на эту полуоткрытую дверь, словно в нее должен был войти какой-то призрак, близкий ему,

пришедший из глубины его прошлого, из его ранней юности, со знакомыми чертами, с припомнившейся походкой, потом он взмахнул руками, пробормотал несколько невнятных слов и упал на пол, меж тем как на пороге двери, открывшейся от нового толчка, показалась маленькая собачка Нина, и тявкание ее присоединилось к шуму падения г-на де Галандо, через распростертое тело которого перешагнула испуганная Олимпия, не остановившись даже, чтобы одеться, и побежала, нагая, позвать на помощь, перевешиваясь через перила лестницы грудью, на которой вокруг шеи сверкало изумрудное ожерелье.

VIII

Г-н де Галандо не покидал более дома Олимпии. Он жил там в уединенной комнате в глубине длинного коридора. Туда-то его перенесли в обмороке в день странного припадка, случившегося с ним так некстати; между этих-то четырех стен, выбеленных известью, пришел он в себя после обморока, и, сидя в большом кресле у постели, едва оправившись от потрясения, познакомился он с Анджиолино. Плут представился ему под видом брата Олимпии. Он играл свою роль уверенно, рассыпался во всякого рода уверениях, клялся, положила руку на сердце, в благодарности за то, что столь достойный господин пожелал поинтересоваться ими, давая этим понять г-ну де Галандо, что его присутствие в доме будет сочтено за честь, если ему угодно будет его продлить, что его сестра и он будут счастливы тем уважением, которое им не замедлит доставить столь явное проявление его благоволения. По мере того как он это говорил, г-н де Галандо чувствовал, как росло его смущение, словно его внезапное посягательство того дня заранее оскорбило обязанности гостеприимства.

Мало-помалу он оправился от своего припадка. Олимпия приходила посидеть с ним в его комнате. Она не пыталась более возобновить сцену того дня. С своей стороны г-н де Галандо, по-видимому, совершенно забыл свою злополучную попытку. Анджиолино советовал ждать. «Эти старики чудаковаты, — говорил он, — а их капризы зачастую непонятны. Главное то, чтобы они были щедры». Ценность изумрудного ожерелья успокаивала Олимпию на этот счет, но дело было в том, чтобы на этом не останавливаться. Болезнь послужила предлогом коснуться вопроса о деньгах. Анджиолино скромно представил список расходов, вызванных приказаниями врача. То, как г-н де Галандо уплатил его, давало понять, что он не будет скаречничать ни в одном из подобных случаев.

Этот необычный пансионер, поселившись в доме, усвоил себе особые привычки. По утрам Анджиолино видел, как он брил себе бороду перед маленьким зеркальцем, повешенным на оконную задвижку. Он наблюдал за ним. Г-н де Галандо брился тщательно и долго. Нередко он останавливался в нерешительности, с поднятою бритвою и вертел головою, словно слышал позади себя кого-нибудь.

Обычно он бывал спокоен и молчалив; но Анджиолино и Олимпия заметили, что он легко вздрагивал. Малейший внезапный шум заставлял его трепетать от неожиданности, и всякий раз, когда отворялась дверь, он, казалось, испытывал беглый страх, который сводил ему все лицо и поднимал вверх одну из его бровей, меж тем как другая чудно опускалась вниз. Потом он успокаивался, его перепуганное лицо утрачивало свою напряженность, и не слышно было звука его трости, которою его трепетные руки стучали о пол.

Каждое утро в один и тот же час он выходил из своей комнаты. Его шаги раздавались в коридоре. Дойдя до высоких стенных часов, стоявших на полу в деревянном расписном футляре, он останавливался с часами в руке и ждал, чтобы они начали бить. Потом он с грустью отмечал несогласие между стрелками и боем, и он стоял там, изумленный, как

человек, который словно потерял счет времени, так как он не ходил уже, как прежде, проверять часы по французскому времени на одной из башен церкви Троицы. Он выходил из дому, только чтобы иногда посетить свою виллу.

Он входил во двор. Куры пугались при его приближении; голуби, улетали с крыши почтовой кареты. В первый раз, когда он снова появился на кухне, старая Барбара сидела у огня. Завидя его, она поднялась и отступила на три шага. Ее длинные четки зазвенели у нее на пальцах; она осенила себя трижды крестным знаменем, как если бы ей предстал дьявол, и некоторое время стояла молча; потом, она разразилась.

Николай слушал, опустив голову, обидную речь своей старой прислуги. Ее беззубый рот извергал слюну. Она узнала от своего племянника Коццоли, почему ее господин не возвращался в свое жилище. Поэтому и встретила она его сурово. Ее грубый язык не пощадил Олимпии. Ее презрение богомолки и старой девы вырвалось наружу.

— Вот какие женщины, — кричала она, потрясая четками, — привлекают к себе мужчин. Господи боже мой! Такой знатный господин, как ваша светлость, и жить под кровлею греха! Пресвятая Дева! Он все бросил, даже не обернувшись. Недаром я предчувствовала, что что-нибудь случится. Я говорила себе: «Этот господин де Галандо, столь добрый, столь разумный, — неверующий! Он не носит ни образка, ни нарамника». Сколько обедней отслужила я за вашу милость! Как только продам птицу или голубей, так и несу деньги в соседний монастырь. До того, что брат говорил мне, смеясь: «Госпожа Барбара, вы отмаливаете пред Богом какой-то старый грех». И все это ни к чему не повело. А сколько я нарезывала крестиков ножом на хлебной корке... А четыре яйца, которые я всегда раскладывала крестом на тарелке!

И старая, морщинистая и почерневшая рука служанки потрясала длинные четки яростным движением, полным отчаяния.

Впоследствии г-н де Галандо тщательно избегал встреч с Барбарою. Он потихоньку прокрадывался в дом и направлялся прямо в свою комнату. Ничто в ней не изменилось после его ухода. Глиняные амфоры по-прежнему стояли в ряд на пыльной полке. Он снимал одну из них, опрокидывал ее, набивал свои карманы и торопился унести свой груз секинов и дукатов.

Они не удерживались долго в его руках и переходили скоро в руки Олимпии и Анджиолино. Требования их росли без конца. Желания Олимпии устремлялись к тряпкам и драгоценностям, к которым она будто бы ощущала внезапное и страстное вожделение; требования Анджиолино основывались на делах очень неясных, которыми он морочил г-на де Галандо. Весьма значительные суммы ушли на них, и добряк потом ни разу не слышал о тех прекрасных предприятиях, которыми Анджиолино протрубил ему уши, равно как он никогда не видел появления тех тканей и тех драгоценностей, которые так страстно желала иметь и по которым почти умирала Олимпия.

Мало-помалу она вернулась к своим обычным повадкам лакомки и неряхи. Уверенная в красоте своего тела, она весьма мало была озабочена его убранством, словно природа достаточно поработала над этим, создав его гибким, упругим и пригодным для любовных игр. Она знала, что то наслаждение, которое мужчины ценят всего выше, можно одинаково получить и на бедном матрасе, и на пышном ложе и что оно не меньше на чердаке, чем в будуаре, при свете коптящей свечи, чем при огнях сверкающей люстры. Она знала, что в этом деле свежесть ее кожи, упругость ее тела и сладострастная легкость ее движений избавляют ее от всех ухищрений, к которым должны прибегать женщины, лишенные этих преимуществ, природных и от всего избавляющих.

Поэтому вскоре она перестала стесняться с г-ном де Галандо. Она стала снова носить платья в пятнах и в дырах. Она часто брала в руки плоды или лакомства, и так как она в то же время

была рассеянна, порывиста и ленива, то зачастую проливали на себя шерbetы и варенья, невпопад выпуская из рук то, что держала, и весьма мало беспокоясь о порче своей одежды.

Итак, снова можно было видеть ее в желтых туфлях на босу ногу, с раскрытою грудью, с закрученными кое-как волосами, с влажным ртом и смеющимися губами, бродящею вниз и вверх по дому и преследуемою по пятам своею моською и г-ном де Галандо, который ходил за нею в своих грубых башмаках с пряжками, в своем сером платье, сидевшем на нем мешком, так как он еще похудел, со своею тощею физиономиею, под пышным париком, не покидая ее, словно был ее тенью.

Чем чаще он навещал ее, тем менее она с ним стеснялась. Ее разговор, за которым она некоторое время следила, вернулся к своей простоте, с тем, что в нем было простонародного и циничного, так как все заботы добрейшей госпожи Пьетрагрита никогда не могли изгнать из него все его вольности. Она слишком глубоко носила в себе этот язык улиц, на котором говорила в детстве, чтобы утратить его совершенно, и кардинал Лампарелли, любивший его хмельное вдохновение, смеялся до слез этим простонародным возвратам, влагавшим в уста его любовницы соленую и звучную грязь притонов и распутий.

Обычные застольные гости Олимпии весьма ценили эту резкость ее речей. Они забавлялись ее капризными выходками. То были, по большей части, люди беспорядочной жизни, так как у Анджиолино были своеобразные друзья. Там встречались голодные аббаты со впалыми щеками, искавшие где бы пообедать, певцы и музыканты, крупные игорных домов с проворными и беспокойными руками, продавцы тряпья, актеры всех родов, кастраты, словом, весь сброд, с которым Анджиолино сталкивался в своих разнообразных профессиях.

В первое время по переселении г-на де Галандо они отстранились. Анджиолино ревниво оберегал своего жильца и не переносил, когда к нему приближались; но, когда он ощутил уверенность в том обороте, который принимали события, его бдительность ослабела, и мало-помалу вся шайка появилась снова.

Этих посетителей, которые нарушали его привычки, г-н де Галандо ненавидел. Видя его постоянно там и более или менее зная, что он там делал, они обращались с ним с любопытною смесью фамильярности и уважения. Человек, который платит, внушает всегда почтение, но, тем не менее, они задавали себе вопрос, почему, раз, в конце концов, он у себя дома, не выгонит он оттуда всю их шумную и многочисленную компанию, которая была ему, по-видимому, так не по сердцу. Поэтому, уважая его за его богатство, они презирали его за его слабость.

Вначале он удалялся при их приближении и уступал им место. Его можно было видеть скрывшегося в саду, сидящего на краю террасы, свесив ноги и подняв кверху нос. Он окончил тем, что попросту оставался сидеть в углу галереи, рассеянный и мечтательный, меж тем как вокруг него говорили и шумели: совершенно так, как некогда в лавчонке Коццоли он по целым дням слушал болтовню карлика портного и стрекотанье сороки.

Мало-помалу он приучился до того, что стал садиться за стол среди этой странной компании.

Эти обеды были единственным знаком, отмечавшим изобилие новой жизни, в котором жила теперь Олимпия. Г-н де Галандо дошел до того, что покрывал теперь все расходы по дому; но из тех излишков, что у него выманивали, ничто не было видно. Оба скупца прятали все. На стол только они не скупались. То и дело появлялись изысканные блюда и сытные кушанья. Гости Олимпии шумно приветствовали блюда. Вино развязывало языки. По большей части они были грубы и злобны. Олимпия подавала пример и сопровождала одобрением грязные разговоры.

В такие дни г-н де Галандо ничего не пил, не ел и не произносил ни слова. Тем более что с появлением вина общество распускалось. Руки становились еще более свободными, чем

языки. За столом находились иногда другие женщины, кроме Олимпии. Они шумно смеялись или кричали от щипков. Анджиолино, покрывая шум голосов и стук тарелок, встав, начинал одну из своих шутовских речей, в которых особенно проявлялось его вдохновение, и произносил тост за здоровье г-на де Галандо, который, растерявшись, обливаясь потом под своим париком, ловил вилок на тарелке куски, которых там не было, и делал движение, словно подносил их ко рту, не замечая, к великой радости присутствующих, что шутник сосед уже давно успел ловко стащить их.

IX

Содержимое глиняных амфор быстро таяло. Одна за другою они спускались с полки и нагромождались в углу комнаты, где г-н де Галандо, опорожнив, оставлял их. При его приближении они тихонько дрожали. С толстыми брюхами и короткими ручками, они казались каким-то собранием присевших на корточки коренастых карлиц.

Когда последняя присоединилась к предшествовавшим, г-н де Галандо перестал посещать свою виллу. Уже давно его пожитки были перенесены к Олимпии. Он жил там теперь оседло, или, скорее, там жили на его счет, так как у него вытягивали все более и более значительные суммы. Он брал их теперь у г-на Дальфи, своего банкира. Долгие годы экономии составили доброму барину значительные денежные запасы, которые, сверх его доходов, делали его человеком очень богатым.

Г-н Дальфи при этом ловил рыбу в мутной воде. Г-н де Галандо плохо разбирался в тех счетах, которые представлял ему банкир и которые он едва успевал рассмотреть, спеша избавиться от присутствия откупщика. Г-н Дальфи, которому была известна интимная история его доверителя, не упускал случая при каждом посещении намекнуть косвенно на это обстоятельство. Он встречал его улыбаясь, с лукавым видом, осыпал его знаками шутливой предупредительности и подмигиваниями. Он произносил речи о дорого стоящих причудах красавиц. Истина в том, что он восхищался безмерно тем, что он называл благородным поведением г-на де Галандо.

Банкир любил женщин, и его жизнь была ожесточенною схваткою между его похотливостью и его скупостью. Поэтому он с уважением относился к издержкам г-на де Галандо на Олимпию. Еще немного, и он прямо расхвалил бы его за них. Он ограничивался, однако, несколькими общими рассуждениями, жалея, что не может пойти дальше. Г-н де Галандо казался ему теперь человеком, с которым можно было говорить, но который почти не отвечал, так как он спешил положить в карманы свои дукаты и свои секины, меж тем как г-н Дальфи говорил ему, провожая его и потягивая его за рукав: «Ах, господин де Галандо, женщины... женщины...»

И когда он смотрел, как тот удалялся, широко шагая, горбясь, тощий и неуклюжий, то он ни минуты не сомневался в том, что он своею колеблющеюся походкою и своим рассеянным видом был обязан утомлению любовному, которое иссушает мозг, заставляет выступать ребра и расслабляет ноги.

В этом он жестоко ошибался. Уже один вид Олимпии, казалось, теперь удовлетворял этого странного влюбленного. Его молчаливое ухаживание лишь раздражало синьору. Эта лентяйка ненавидела, чтобы вокруг нее ничего не делали. Поэтому мальчик-слуга Джакопо, горничная Джулия и старуха-кухарка Аделина были постоянно завалены работою. Мало-помалу, вследствие постоянного присутствия Николая, она привыкла пользоваться его любезностью для тысячи мелких домашних услуг, которые он оказывал ей с готовностью. Она беспокоила его по двадцать раз в час, чтобы поднять ей платок, подать веер, разрезать или очистить плод, чтобы принести то или другое.

Он со странным блаженством подчинялся ее самым бесполезным приказаниям, так как чаще всего она забывала то, что просила, раньше, чем это ей давали. Едва возвращался он, задыхаясь, из буфетной, с шербетом на подносе, как надо было вновь спускаться в сад и вести мочиться маленькую собачку. Г-н де Галандо вносил во все это изумительную быстроту и неловкость, заставлявшие Олимпию, смотря по настроению, то смеяться, то сердиться. Надо было видеть его тогда, покорного и сконфуженного, с выражением боязни на длинном наивном лице. Это зашло, в конце концов, очень далеко, так как привычка часто переходит в злоупотребление, а г-н де Галандо был чересчур мужчиною, чтобы, подчинившись одному, не подчиниться также и другому.

Никакой опасности не было в том, что он ослушается. Деле дошло до того, что когда в дом входил старый кастрат Тито Барелли, который весьма развлекал Олимпию своею злобностью, своим фальцетом и своими нарумяненными щеками, разве нельзя было видеть, как по знаку своей возлюбленной достойный дворянин степенно вставал и подкатывал шуту кресло, в которое тот садился, поблагодарив его лишь легким кивком, при котором на затылке его мотыльком виляла черная лента, связывавшая его напудренный парик. Жаль было при этом, что, видя, как поступает Олимпия, гости привыкли делать то же и стали обращаться к г-ну де Галандо за множеством мелких услуг, которые скорее были делом маленького лакея Джакопо.

С другой стороны, случалось, что, в конце концов, Олимпия не могла уже обходиться без г-на де Галандо. Она звала его поминутно, лежала ли она в постели, сидела ли за своим туалетом. Он присутствовал при ее повседневной жизни во всей ее обнаженности, во всей ее неблагопристойности, так что каждый год ему приходилось немало мешков золота уплачивать за привилегию соединить свою священную старость с грехами этой юности, ленивой и распущенной, и жить под кровлею куртизанки, имея застольником развратника и негодяя во образе Анджиолино.

Добрый г-н де Галандо, в самом деле, каковы бы ни были его простота и наивность, не мог никак ошибиться в качестве своих гостей; они к тому же менее всего на свете старались скрываться и, не уставая, рассказывали о проделках своего ремесла. Таким-то образом узнал г-н де Галандо о подвигах Анджиолино и его разнообразных удачах и услышал, как, совершенно не стесняясь, говорили о г-же Пьетрагрита, и о кардинале Лампарелли, и о многих других лицах. Итак, он узнал, что та Олимпия, которой он повиновался беспрекословно, таскалась по улицам и по кабакам, что, исходя их низов, она показывала свои лохмотья на всех перекрестках Рима и что она составляла для него довольно странное общество.

Он, казалось, этим не тревожился. Он спокойно смотрел, как его деньги переходили в руки двух мошенников. Более того, он не отдавал себе никакого отчета в крушении своей судьбы и отнюдь не представлял себе в точности жалкую необычность своего положения. У жизни есть особые хитрости, чтобы заставить нас принимать с покорностью наихудшие обстоятельства, и пути ее таковы, что она ведет нас туда, куда хочет, а мы этого и не замечаем. Возможно, что если бы г-ну де Галандо показали заранее ту фигуру, которую он изобразит собою между Олимпиею и Анджиолино, то он отказался бы от этого фантастического будущего.

Разумеется, он был бы удивлен, если бы увидел себя в том же зеркале, перед которым Олимпия причесывала волосы, стоящим позади нее и подающим ей шпильки, гребень, помаду, не подозревая того, что, в конце концов, он выполнял при этом свое сокровенное и естественное назначение.

И в самом деле, разве он не был рожден для порабощения? Это расположение уходило далеко в глубь его прошлого, и он мог бы, взглядевшись пристальнее, различить в зеркале, отражавшем его как бы в обратной перспективе к нему самому, других господ де Галандо, различного возраста, но всех в одинаковой степени услужливых, начиная с того, который

недавно наблюдал за стряпнёю старой Барбары, и кончая тем, который некогда помогал старику Илеру варить яйца в огромной и пустынной кухне Понт-о-Беля, или который с длинною метлою в руках гонял летучих мышей в спальне барышни де Мосейль, или, присев на корточки в усыпанной песком аллее, строил там сады из веточек и домики из камешков, чтобы эту игрою позабавить свою маленькую двоюродную сестру Жюли. Таким образом, необычное положение г-на де Галандо, находившегося в распоряжении Олимпии, вполне соответствовало в действительности его прошлому, и двадцатилетний юноша, некогда без надобностей глотавший лекарства, даваемые ему матерью, подготовил пятидесятивосьмилетнего мужчину, вскакивавшего при малейшем движении итальянки, чтобы поднять ей веер, опустить штору или бежать куда-либо по воле ее каприза.

Мало-помалу, говоря правду, от обслуживания лично особы Олимпии г-н де Галандо спускался до общих работ по дому. У него появлялась даже особенная гордость, свойственная слугам, по поводу хорошо выполненного возложенного на них труда. Он уже наивно гордился исполнением некоторых обязанностей. Одна, между прочим, поднимала его в его собственных глазах.

Олимпия доверяла только ему уход за своею маленькою собачкою Ниною с тех пор, как застала Джакопо проделывающим над нею различные злобные штуки, за что он и был избит Анджиолино, так что у него отнялась спина и были помяты бока. С тех пор г-н де Галандо готовил каждое утро пищу собачке Нине и купал ее в большой лохани посреди сада. Зверек относился к этому довольно спокойно. Он степенно ее намыливал; под его длинную костлявою рукою она вся утопала в пене; потом он обливал ее, и можно было видеть, как из ванны выскакивал, среди брызг мыльной пены, какой-то жирный и скользкий шар, который тявкал и которого г-н де Галандо, чтобы он скорее просох, побуждал бегать, делая для этого сам резкие движения. Но иногда дело шло худо. Нина становилась сварливою и вызывающею, с лаем кружилась около своего купальщика, хватала длинные развевающиеся полы его платья и, в конце концов, кусала его за икры.

Это зрелище безгранично веселило Олимпию и Анджиолино, смотревших на него из окна. Они появлялись там, только что вскочив с постели и нередко в весьма недвусмысленной позе. Г-н де Галандо обращал на их поцелуи или на их смех безразличный взгляд. Ему не было неизвестно то, из чего они, впрочем, и не делали никакой тайны. Он принял все без возражений, как он не замечал, казалось, и случайных гостей, которых развратник продолжал приводить к своей любовнице и которые проводили ночь с Олимпиею; их башмаки и платья по утрам в коридоре, он видел, чистил щеткою маленький Джакопо, посвистывая сквозь зубы.

Даже и без постоянного доступа в спальню Олимпии, представившего ему однажды молодую женщину в объятиях Анджиолино, г-н де Галандо открыл бы их связь, так как если они, не стесняясь, при открытых дверях выставляли напоказ свои ласки, то еще менее старались скрывать свои ссоры. Дом тогда оглашался их криками. Таким образом, г-н де Галандо оказался свидетелем и их ссор, и их примирений. Если ему случалось видеть, как Анджиолино бесцеремонно опрокидывал свою любовницу, то он видел также, как Олимпия плясала полуголая под палкою своего любовника. То были ужасные драки, из которых Анджиолино выходил весь расцарапанный ногтями, а Олимпия убежала, заливаясь злыми слезами.

Они схватывали друг друга за волосы, и среди опрокинутых стульев, сломанных предметов, обивок, залитых из бутылок и флаконов, которыми они сначала бросали друг другу в голову, они составляли бранчливую и воющую группу, около которой кружилась, жалобно визжа, собачка Нина, между тем как г-н де Галандо, когда сцена заканчивалась, поднимал с полу мебель, вытирал пятна от вина или раздавленных фруктов, сметал в кучки осколки стекла, убыль которого на следующий день должны были возмещать его золотые, или же он стоял неподвижно, свесив голову и опустив руки, и слушал в открытую дверь, запереть которую они даже не старались, потехи обоих влюбленных, которые давали исход своему гневу в

любовной схватке, соединяя свои прерывистые дыхания и свои тела, вдвойне утомленные.

Г-н де Галандо слушал... там были долгие молчания, вздохи, смех... и он прислушивался напряженно, пока зов не заставлял его задрожать внезапно. Звали Джакопо, но г-н де Галандо откликнулся невольно вместо маленького лакея, — словно, исполняя его обязанности, он вместе с тем уже разделял и его положение, и он шел туда, неся на тарелке апельсины и лимоны, которые негодяй и негодяйка съедали под конец этих бурных дней для освежения рта.

Они закусывали поочередно один и тот же плод, а г-н де Галандо, под своим огромным париком, тощий, в своем поношенном сером платье, наклонялся молча, подбирая с полу корки и очистки.

Х

Так как Джакопо еще хромал от удара палкою, полученного им за какую-то проделку, то поручение возложили на г-на де Галандо, который лучшего и не заслуживал. Г-н де Галандо шел маленькими шажками. Он осторожно спускался по лестнице Троицы, так как в руках он нес довольно большой ящик, завернутый в широкий кусок зеленой саржи. Время от времени он чувствовал, как ящик дрожал у него под рукою. То были скачки, прыжки, внезапные, неожиданные толчки. Пройдя сотню шагов, он останавливался, ставил ящик на землю, снимал шляпу, отирал со лба пот, так как было жарко, и снова пускался в путь, тщательно обходя прохожих, чтобы не задеть их углами своего ящика. Он имел вид разносчика, и было странно, что никто не попросил его показать свой товар. Поэтому он очень обрадовался, когда завидел фасад дворца Лампарелли, так как он был утомлен своею неожиданною ношею не менее, чем Геркулесы под каменную ношею балкона, вековую тяжесть которого они поддерживали. Он не обладал, надо сказать, ни их мускулами, ни их сложением и, преждевременно состарившись, казался гораздо дряхлее своих лет, тем более что в последние дни он был как-то особенно молчалив, необычен с виду, дурно настроен и плохо себя чувствовал.

Пройдя высокую дверь, он очутился в обширном вестибюле. Помещение кишело многочисленною и пестрою толпою слуг. На банкетках сидели плуты в цветных ливреях, шумно разговаривая между собою. В середине группа лакеев играла в кегли. Игра шла весьма оживленно. Г-н де Галандо заметил это, получив в ноги один из буксовых шаров, чуть не сваливших его с ног. Никто, впрочем, не обратил на него никакого внимания. Он заметил в углу двух лакеев. Они сидели на полу, скрестив ноги, и играли в карты. Старший из них поднял на г-на де Галандо презрительную физиономию и на его вопрос ограничился тем, что указал ему пальцем на мошенника в галунах, который высокомерно выслушал его и вышел, ничего не ответив. Г-н де Галандо ждал, стоя возле своего зеленого ящика, когда человек вернулся и сделал ему знак следовать за собою.

Сначала он прошел длинную галерею. Плоские колонны античного мрамора поддерживали расписной потолок, с которого свешивались хрустальные люстры. Мозаика выстилала пол. Лакей, проходя, небрежно сплюнул в лицо богини, изгибавшей в медальоне свое пестревшее в шашку тело. Далее небольшая круглая комната с потолком в виде купола заключала в себе пюпитры и музыкальные инструменты и вела в квадратный зал. Огромные зеркала украшали стены. На подставках возвышались бронзовые бюсты. Перед их тяжелыми металлическими взорами г-н де Галандо, словно признав эти лица императоров и консулов, столь часто виденные им некогда на выпуклостях медалей, на миг выпрямил свой согбенный стан, но ящик, со своими прыжками и толчками, тянул книзу его утомленную руку. Открылась дверь,

которая вела в сады.

Терраса, обнесенная балюстрадаю и украшенная вазами, господствовала над ними. Внизу арабски из самшита окружали квадратные цветники. Сверкали водяные бассейны. Налево, в глубине, под соснами, виднелся каменный павильон. Лакей толчком в спину и вытянутою рукою дал понять г-ну де Галандо, что ему следует идти туда.

Кардинал Лампарелли скорее утопал, нежели сидел в глубоком кресле золоченого дерева, обитом ярко-красным Дамаском. Под складками его платья красного муара угадывалось его золотушное узловатое тело с тщедушными членами, заканчивавшееся маленьким пергаментным лицом, над которым лысый череп уходил своею макушкою под круглую красную шапочку. Его сухие и сморщенные руки, сведенные судорогою, лихорадочно подергивались. Они, как и лицо, напоминали своим цветом трут и мертвые листья. На этом высохшем лице влажны были только глаза и рот, откуда беспрерывно тянулась нить слюны, которую старательно вытирал высокий лакей, стоявший, как на посту, за спинкою кардинальского кресла. Порою, замешкавшись или наскучив, он медлил выполнить свою обязанность, и тогда старик оборачивался к нему лицом, с каплею жидкой слюны, тянувшейся с его отвислой губы.

На коленях у прелата лежал кардинальский баррет, опрокинутый и наполненный фисташками, миндалем, орехами. Рядом с ним, на земле, его широкополая шляпа с золотыми и красными кистями служила блюдом для расколотых орехов. Его черноватые пальцы черпали попеременно из обоих запасов; он с минуту вертел в руках выбранный плод, потом с усилием бросал его прямо перед собою.

Г-н де Галандо приближался шаг за шагом, не спуская глаз с этого странного явления. Так вот каков это знаменитый Лампарелли, о котором некогда говорил ему аббат Юберте и чье имя он столь часто слышал в речах Коццоли и в устах Олимпии и Анджиолино! Сосны еле слышно шелестели в воздухе. Изредка взлетала невидимая птица. Слышен был сухой звук брошенного ореха. Высокий лакей рассеянным движением отирал с губ слюну и вытягивался снова, неподвижный, положила руку на спинку золоченого кресла с красною обивкою.

Кардинал сидел перед павильоном, который в былые времена служил ему местом его тайных распутств. Сюда-то некогда привела к нему г-жа Пьетрагрита юную Олимпию. С тех пор в нем уничтожили переднюю стену и забрали решеткою отверстие, и перед этим-то просветом каждый день после полудня, когда то позволяла погода, Лампарелли садился, чтобы насладиться необычным зрелищем, которое теперь было почти единственным удовольствием, способным напитать его злобу, ребячество и безумие.

Обезьяны кардинала Лампарелли, различных пород и возрастов, были все одинаково одеты в красное. На них были красные платья, из-под которых виднелись короткие штаны, весьма хорошо сшитые и доходившие им до икр. На иных были надеты красные шапочки. У других, с открытыми головами, за спиною висели, прикрепленные к витым шнуркам вокруг шеи, малиновые шляпы.

Весь этот странный мирок, уродливый и печальный, являл лица угрюмые и мрачные, почти человеческие в слегка озверенной карикатуре. Там были малорослые зверки, путавшиеся в своих платьях, с волосатыми лицами и голубыми щеками. Некоторые казались чрезвычайно старыми. Природные очки из черных волос окружали их впалые глаза под нависшим выпуклым лбом. У иных среди плоского лица были вздернутые носы с расширенными розовыми ноздрями. Иные надували свои дряблые, обрюзглые щеки. Одни были острижены в кружок, как нищенствующие братья, другие были волосатые, с нескладными бородами, или совершенно безволосые. У всех был вид праздный, скучающий или преступный, глаза стекловидные или горящие, взоры мрачные или отважные. Одна обезьяна, слепая, тарасила два белые бельма.

Несколько животных, сидя в кружок на корточках, в центре огромной клетки, наблюдали друг за другом с лукавою важностью, меж тем как двое из них выбирали по очереди друг у друга паразитов, давили их под ногтем, а потом, церемонно и утонченно, предлагали их друг другу в качестве угощения.

Вдруг одна из обезьян поднялась, встала на ноги, как человек, пошла, потом запуталась в платье, снова упала на четвереньки, испустила пронзительный крик и направилась к одной из своих товарок, сидевшей прямо перед решеткою, за которую она держалась своими двумя маленькими, судорожно сжатыми старческими руками.

То была довольно большая обезьяна, с дряхлым лицом, плаксивым и в то же время плутоватым. Она дрожала и порою хрипло кашляла. Она, в виде контраста, была одета во все белое — в сутане, в белой шапочке на голове, — а за поясом у нее висели два массивных золотых ключа, звеневшие друг о друга при малейшем движении. Она казалась больною и озябшею, и только глаза у нее постоянно бегали на неподвижном лице.

Г-н де Галандо с удивлением рассматривал это обезьянье собрание. Кардинал Лампарелли называл его своим конклавом. Чудаковатый старик, обманувшийся в своих притязаниях на папский престол, с помутившимся от старости и злобы разумом, придумал эту нечестивую игру и ежедневно приходил целыми часами любоваться своим кощунственным зверинцем. Молчаливый и ханжа в остальное время, он только здесь находил кое-какое удовольствие в обществе своих переодетых обезьян. Он хохотал, веселился, называл их по их именам, или, скорее, по именам своих братьев по Святейшей Коллегии, которые он нарек им. Некоторые из кардиналов, над которыми он издевался таким образом, уже перестали существовать, так что эти звери изображали собою мертвецов. Что касается обезьяны, одетой в белое, то он особенно ее ненавидел. Существовало распоряжение кормить ее худо, чтобы она умерла, так как эти кончины вызывали радость в Лампарелли. Но когда надо было заменить покойника и выбрать ему преемника, то это не обходилось без вспышек гнева и ярости, и когда он, в свою очередь, видел появление преемника, одетого папою, то ощущал настоящий припадок ревнивого бешенства, стучал своими ногами, больными подагрой, и плевался более обычного.

Николай по знаку, поданному лакеем, поставил ящик перед кардиналом.

Одна из многочисленных профессий Анджиолино состояла в том, чтобы пополнять зверинец его высокопреосвященства и он послал сегодня г-на де Галандо отнести ему двух новых пансионеров.

Первый был малорослой породы и словно одет весь в какое-то волосатое сукно. У него было маленькое, живое и сморщенное лицо, выражение просящее и умное; другой, больше ростом, казался, в самом деле, особенно уродливым. Его толстое брюхо и сгорбленный хребет покоились на кривых ногах. Его дряблая грудь выдавалась вперед. Почти без шеи, мешковатый и безобразный, он выставлял грубую и хитрую морду с выдающимися страшными челюстями, с толстыми губами; потом он внезапно повернулся и показал свой зад с двумя голыми кружками живого мяса, казавшегося окровавленным.

При виде этих безобразных и вонючих животных кардинал Лампарелли не мог удержаться от смеха. Его желтоватое лицо расцвело, он искал и делал знаки, что хочет говорить. Он смотрел, хлопая в ладоши, на высокого лакея с салфеткою, потом слабым, прерывистым и шепелявым голосом в конце концов произнес:

— Ах, Джорджио, каков этот черт Анджиолино! Только он и способен... только он...

Новый приступ смеха прервал его, потом он произнес наконец более отчетливо и гораздо яснее, чем говорил вначале:

— Ах, этот Анджиолино, где достал он такое чудо?

Он остановился, кашлянул. Его лицо словно просветлело. Теперь он глотал слюну, вместо того чтобы распускать ее, а в глазах его выразилось особое лукавство. То был один из временных проблесков, возвращавших ему наполовину рассудок, после которых он тотчас же и быстро впадал в свое обычное одряхление. Он продолжал:

— Ведь это Анджиолино уже доставил мне Палиццио, подумай только, обезьяну, изображающую этого проклятого Палиццио, который голосовал за Онорелли; обезьяну, достаточно безобразную, чтобы изображать Палиццио, болвана Палиццио! Взгляни-ка на него! Видишь ли ты, как он ссорится с Франкавиллою?

Палиццио был довольно безобразный макака, нечистоплотный и бесстыжий в своем красном платье. Он стоял против Франкавиллы в угрожающей позе, скрежеща зубами. Франкавилла же был из породы павианов, жалкий и трусливый. Его длинный хвост виднелся из-под платья. Вдруг Палиццио набросился на этот хвост. Оба животные покатались друг на друга с криками ярости в свирепой схватке. Палиццио высвободился довольно быстро, и, пока Франкавилла убежал с плачем, он остался на поле битвы, сидя на задних ногах, во всем своем безобразии, еще воинственном, но уже удовлетворенном.

Франкавилла дважды обошел вокруг клетки с оскорбленным видом, потом вдруг он заметил белую обезьяну, которая печально кашляла, подошел, ущипнул ее и стал ждать. Больное животное оглянулось кругом, словно умоляя о помощи своих пасомых, потом оно покорилося, кашлянуло еще раз и начало взбираться по перекладинам решетки. Оно взбиралось мучительно, то поднимаясь, то снова падая, делая новые усилия и останавливаясь от боли и одышки. Его платье, приподнявшись, открывало редкую шерсть на его иссохших бедрах. Штанов на нем не было. Два золотых ключа слабо позвякивали.

Лампарелли был охвачен новым припадком смеха.

— Ты видишь, ты видел! — кричал он, теребя высокого лакея за рукав. — Говори! Отвечай! Разве он не похож на Онорелли? Посмотри, особенно когда он чешется... Он болен, сильно болен. Он скоро умрет! Ха-ха-ха...

С минуту он помолчал. Слюна побежала из угла его рта, потом, когда ему отерли губы, он обернулся к г-ну де Галандо, стоявшему рядом со своим ящиком, с которого он снял и тщательно сложил вчетверо зеленую саржу.

— Теперь надо будет одеть этих молодцов... Ты заставишь прийти сюда Коццоли и снять с них мерку, — знаешь Коццоли, который живет в улице Бабуино?.. Ты непременно отыщешь мне Коццоли... Ты скажешь также Анджиолино, что все благополучно, — продолжал он, понизив голос и конфиденциальным тоном, — белый скоро умрет, и они выберут меня; они не могут поступить иначе, как выбрать меня. Теперь не то, что в прошлый раз, знаешь, когда они избрали Онорелли. Нет, нет... Взгляни на них, я всех их держу в клетке, все они тут, начиная с Палиццио и кончая Франкавиллой, все, все, и дурак этот Тарталиа, и сумасшедший Барбиволио, и Ботта, и Бенарива, и Понтесанто, и оба Тербано, и толстый, и маленький, и Оролио, с вонью из носу, и остальные, и три из Испании, и поляк, и я не забыл Тартелли, иезуита; нет, все, все, и необходимо, чтобы они меня избрали, когда им надоест сидеть здесь и когда они насытятся пустыми орехами и прогорклым миндалем и устанут почесывать зад. Ты можешь передать Анджиолино, что я держу их всех.

Он остановился на минуту и остался с открытым ртом, не в состоянии придумать продолжения своей речи.

— А как поживает добрый Анджиолино, — спросил он внезапно, — мой любимец Анджиолино? Хорошо ли ты ему служишь? По крайней мере, верный ли ты слуга, всегда

налицо, когда он тебя зовет? Ты его не оставляешь одного, по крайней мере? Слышишь, Джорджио? Он не похож на тебя, допустившего, чтобы я упал прямо носом в землю.

И Лампарелли принялся тихо плакать. Высокий лакей поднял плечи, дотронулся до своего лба и, подтолкнув локтем г-на де Галандо, показал за спиною кардинала ему нос, меж тем как кардинал сюсюкал и шептал плача:

— Ты, ты... ты... хоро... ший... слу... га...

Но голос старика был внезапно заглушён резким и яростным шумом.

Ссора макаки Палиццио и павиана Франкавиллы возобновилась с новой силой, и теперь все обезьяны, возбужденные этим примером, принимали участие в борьбе. Свалка стала общеою. Злобные, вызывающие и ожесточенные, они нападали друг на друга и когтями, и зубами, прыгая, скача и извиваясь. Кардинал при виде этого заметался в своем золоченом кресле. Его желтое лицо сводила судорога, и он неистово махал руками, похожими на сухие листья, поднимаемые ветром.

События шли совсем худо. Красные платья рвались на куски, развевавшиеся по воздуху в неистовых руках. В дыры выглядывало волосатое тело. Там были и атаки, и осады. Порою две группы сталкивались и составляли с этой минуты одну, где противники смешивались в общей битве. Так продолжалось несколько минут, потом без особой причины наступило спокойствие, и сражавшиеся внезапно очутились сидящими на задних ногах. Палиццио, продолжая еще ворчать, братски обирал блох на Франкавилле, который смотрел на откушенный и кровоточащий кончик своего хвоста, а белая обезьяна в папском одеянии, держась одною рукою за брусок перекладки, другою поднимала свое платье и с высоты тонкою струей, а потом капля за каплею мочилась от страха на песок.

Кардинал откинулся в отупении на спинку своего кресла, меж тем как из-за сосен приближались четыре носильщика с портшезом. Когда кардинал уселся, слуги взялись за палки, а так как г-н де Галандо приблизился к дверце, чтобы откланяться, то поймал как раз в свою протянутую шляпу золотую монету, и, ошеломленный, вероятно, долго стоял бы, разглядывая ее, до того он от изумления поглупел, если бы высокий лакей с салфеткою не подбросил фамильярным движением и шляпу, и золотой и не насадил первую на голову, а второй не вложил в руку г-на де Галандо, дружески подталкивая его по направлению к аллее, в которой уже скрылся красный портшез обезьянего кардинала.

Г-н де Галандо пошел прямо перед собою, не оборачиваясь, свесив руки и горбясь. В саду было пустынно и тихо. Бассейны кротко светились своими зеркальными водами, словно куски жидкого металла, врезанные с их прозрачностью в зыбкую поверхность облаков. Он дошел так до лестницы на террасу. Он с трудом поднимался по ступеням, ноги его отяжелели, словно золото, которое он держал зажатым в ладони руки, потекло по всем его членам и всех их напитало своею рабскою тяжестью. Запыхавшись, он остановился. Крики обезьян и сюсюкающий голос кардинала еще раздавались у него в ушах. Ему снова виделся золотой эю, падающий в его протянутую шляпу, и он еще словно ощущал пинок в спину высокого лакея. Он испытывал какой-то неясный и покорный стыд, и ему показалось, что кто-то смотрит на него. Он поднял глаза.

Античная статуя поднималась на цоколе наверху террасы. Эта статуя изображала нагого мужчину с воинскою каскою на голове и с рукою, вытянутою повелительным движением. Фигура была безупречной формы, с крепкими и сильными ногами, с широкими бедрами, с плоским животом, мускулистым и полным торсом, с упругою шеею, с правильным лицом, изваянная из мрамора, словно из плоти живой и в то же время вечной. Он, в самом деле, изображал то, что есть в жизни гармонического и здорового и что выявляется в человеке точностью пропорций и благородством стана; были странные ирония и противоположность

между этою прекрасною, величавою мужскою фигурою, вознесенною на пьедестал, и жалкою личностью, которая смотрела на нее снизу, со своими смешными очертаниями, и которая, со своими спустившимися чулками, в платье с длинными полами, в съехавшем набок парике, печально свидетельствовала о том, во что превратился постепенно, игрушка темной и загадочной судьбы в руках насмешливой фортуны, Николай-Луи-Арсен граф де Галандо, владетель Понт-о-Беля во Франции, а в Риме принужденный, живя между куртизанкою Олимпиею и развратником Анджиолино, быть не более как подобием слуги, исполнявшим поручения вместо Джакопо и получавшим, взамен его, за свой труд фамильярный подарок — ничтожный экю.

XI

Когда г-н де Галандо очутился, сам не зная как, за пределами дворца Лампарелли, он постоял с минуту перед дверью, неуверенно и как-то тупо разглядывая золотой, который, лежа плашмя на ладони его руки, ловил и отражал лучи заходящего солнца. Был редкий конец осеннего дня, ясный и величавый; воздух, сухой и прозрачный, был налит, казалось, какою-то жидкою энергиею. Большие цветистые облака проплывали по небу; они оставались там ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы принять гармонические или героические очертания, и потом пышно удалялись в своем воздушном великолепии. В чистой и здоровой ясности воздуха предметы казались как бы долговечными, расположенными на их верных расстояниях, с их точными размерами. Дул умеренный ветерок.

Г-н де Галандо отправился в путь; он шел без цели, глядя прямо перед собою и сжав кулаки. На углу какой-нибудь улицы он немного медлил, отирая лоб. Ветерок слегка приподнимал длинные полы его платья, и он шел дальше, говоря сам с собою и размахивая руками.

Рим был великолепен в этот час, сияющий и золотистый. Г-н де Галандо ходил долго, пока не закатилось солнце. Посреди маленькой площади бил фонтан. Г-н де Галандо остановился; тихо прозвучал колокол. Он пошел дальше, словно зная теперь, куда идти. Мало-помалу за домами начались сады и виноградники. Он узнал одну небольшую улочку, побежал по ней, достиг двери, толкнул ее и очутился посреди мощеного двора. Он стоял перед своею виллою. Двойная лестница вела на террасу с балюстрадаю. Он обошел вокруг дома и направился к низенькой двери, открывавшей доступ в кухню старой Барбары. Дверь была заперта.

Случайно Барбара отлучилась на три дня. Так как г-н де Галандо целые месяцы не появлялся, то старая служанка, жившая там на доходы со своего птичника и на жалованье, которое выплачивал ей г-н Дальфи, подумала, что она без особого вреда может отлучиться со своего поста. Поэтому она захватила с собою ключи, поручила свою птицу брату соседнего монастыря и, перебрав раз двадцать четки, решилась на эту отлучку. Портной Коццоли выдавал замуж дочь свою Мариуччу. В первый раз за свою жизнь покидал он иголку, наперсток и ножницы и запирали свою лавочку более чем на один час. Конечно, одинокие манекены должны были беседовать об этом событии с покинутою сорокою. Танцевали в трактире, где Мариучча, после свадьбы своей с трактирщиком, должна была сидеть за кассою; и тетка Барбара была приглашена на свадьбу.

Горестная неожиданность смутила г-на де Галандо. Он, казалось, ничего не понимал, потом одумался, еще раз обошел вокруг дома, поднялся по лестнице на террасу и постучал в парадную дверь. Она не совсем сходилась, но была тщательно заперта и крепко держалась на петлях. Он впал в уныние и присел на последней ступеньке.

Сумерки начинали сгущаться. Г-н де Галандо вполголоса бормотал непонятные слова. Он повторял их несколько раз, сначала самому себе, потом словно обращаясь к кому-то другому:

«Это — мой дом... Впустите меня. Я хочу войти. Вы отлично знаете, что я не Джакомо. Я — Галандо, господин де Галандо, граф де Галандо!»

При звуке своего имени, произнесенного вслух, он вдруг встал. Лицо его было багрово от гнева. Он весь дрожал, колени его стучали друг о друга. Он отошел на несколько шагов, потом, охваченный внезапным исступлением, вернулся к двери и ударил в нее кулаком и ногою. Никто не признал бы в этом неожиданном безумце степенного и кроткого г-на де Галандо. Можно было подумать, что, будучи прилипчивым, безумие кардинала разгорячило ему голову и заставило его потерять самообладание. Удары глухо раздавались среди тишины. Дверь не уступала. Тогда он усилил их. Он отходил и с разбегу обрушивался на препятствие. Полы его платья развеивались за его спиною. Он все более и более ожесточался. Вдруг он испустил крик. Длинный гвоздь, конец которого торчал из источенного червями дерева, поранил его. От боли он раскрыл руку; золотая монета, зажатая в ней, покатила, описала круг и упала на землю с еле приметным сухим стуком.

Г-н де Галандо следил за нею взглядом. Ему представилось, что он, как некогда, держит в руках глиняную амфору, из которой он высыпал дукаты. Как и сегодня, тогда один дукат покатился кружком. То было на другой день после того, как он увидел Олимпию, лежавшую на террасе и лакомившуюся виноградом. Разве он не видит ее там и сейчас перед собою, как некогда, вытянувшуюся на каменных перилах балкона? Это она! Желтая туфля держится на одном большом пальце и хлопает о ее голую пятку. У нее открыты плечо и грудь. Разумеется, это она! Изумрудное ожерелье горит на ее шее. Он дотрагивается до нее. Руками ощупывает ее гибкое тело. Ее тело тает под его пальцами. Он нагибается над нею. Вдруг он останавливается, сам не зная почему, и вот он уже поднимает упавшие одежды, складывает их и бережно несет их на руке. Он укладывает ожерелье в футляр, поднимает полуобъеденную кисть винограда и тихонько удаляется на цыпочках, неся на пальцах крошечные туфельки желтого шелка... как лакей... как лакей...

Ночь настала, светлая и прозрачная. Г-н де Галандо спустился по ступенькам лестницы. Сойдя вниз, он принялся тихонько плакать. В одном углу двора, в тени, стояла старая почтовая карета. Он приблизился к ней медленными шагами. Он бормотал сквозь зубы невнятные слова, среди которых повторялось слово «уехать». Своею здоровою рукою, так как другая заставляла его страдать от раны, нанесенной гвоздем, он отворил дверцу кареты и заглянул внутрь.

Приторный и вместе острый запах вырывался оттуда. Слабый шум слышался внутри. Она была полна уснувшими существами. Куры и голуби старой Барбары дремали там, взобравшись на жерди или сидя на яйцах. Мало-помалу они начали просыпаться. Тревожное кудахтанье отвечало трепету расправляемых крыльев, потом там началось молчаливое переселение. Волнение усиливалось. Голубь пролетел над головою г-на де Галандо, меж тем как перепуганная толстая наседка проскользнула у него между ног.

Весь птичник был теперь на ногах и обращался в бегство. Заглушённый шум наполнял карету, и г-н де Галандо, взобравшийся на подножку, испуганный, задеваемый по лицу пугливыми и беглыми крыльями, среди вихря поднятых зерен и взметнувшегося пуха, опустился на дырявую подушку среди перебитых яиц наседок и, обливаясь слезами, стуча ногами, в лихорадочном поту, скорчился на ней, обретя как бы прибежище, словно старая карета, привезшая его некогда, могла галопом своих воображаемых коней по дорогам Франции вернуть его в его прошлое...

Весь день синьор Анджиолино ходил по римским улицам, разыскивая г-на де Галандо, который не появлялся. Куда мог он отправиться? Олимпия и Анджиолино были весьма встревожены, тем более что они с каждым днем извлекали все более обильные средства из французского дворянина, богатые доходы которого переходили целиком в руки обоих плутов и в руки г-на Дальфи, так как банкир принимал деятельное участие в добыче. Поэтому он желал, чтобы г-н де Галандо жил, какими бы то ни было способами, как можно дольше. Он объяснил это Анджиолино и указал ему предел, до которого он и Олимпия могли обдирать своего пансионера. Он хотел, чтобы г-н де Галандо был использован, но не разорен, так как боялся неприятностей, которые могут последовать за скандалом подобного рода. Поэтому, когда он замечал у своего клиента плохой вид и дурной цвет лица, он рекомендовал обоим плутам остерегаться для него коварства римского климата. Г-н Дальфи занимался г-ном де Галандо тем более, чем сильнее он был в нем заинтересован.

Итак, прежде всего Анджиолино бросился к банкиру, чтобы поведать ему свои тревоги. Г-н Дальфи ничего не знал. Во дворце Лампарелли Анджиолино узнал, что г-н де Галандо честно доставил обезьян. Ящик стоял еще там. Но после этого следы его исчезали. Очень далеко уйти он не мог без денег.

Олимпия и Анджиолино взаимно упрекали друг друга в бегстве этого добряка. Они, разумеется, чувствовали, что, быть может, они несколько злоупотребляли своею манерою обращаться с ним. Но вместо того, чтобы признаться в этом, они предпочитали по этому поводу ссориться, внутренне обещая себе выместить на нем одном все беспокойство, которое он им причинил. А между тем он не шел. Неужели он был вовлечен в какую-нибудь западню? Его внешность отнюдь не была создана, чтобы соблазнять горю, и Анджиолино, вечно потешаясь, несмотря на свои беспокойства, изображал походку и комичные черты старого дворянина, меж тем как Олимпия заочно бранила беглеца. В общем, они смеялись желчно, хотя отсутствующий уже оставил в их руках богатую жатву; но хуже всего было то, что их обманутые ожидания, в конце концов, обращали их друг против друга.

Утром на другой день после исчезновения г-на де Галандо дела обстояли очень дурно в спальне, где Олимпия и Анджиолино лежали еще в постелях. Едва проснувшись, Олимпия принялась охать, пока Анджиолино, раздраженный, не ответил ей звонкою пощечиной, свалившею синьору на подушку, с которой она вскочила одним прыжком, и стояла перед своим любовником, извергая гневные ругательства, с сердитым лицом, готовая на него наброситься.

В этом положении их застал шум, раздавшийся на дворе. Говор людских голосов заставил их подойти босиком к окну. Оно выходило в задней стене дома на маленькую площадь, обычно пустынную, но сейчас полную народа. Кучки стоявших на ней женщин смеялись и жестикулировали, и толпа мальчишек шумела там, потрясая лохмотьями на своих тщедушных и гибких телах. То были маленькие нищие, которых такое множество в Риме и которые надоедают прохожим и играют в кости на плитах улиц — раболепные и в то же время наглые. Анджиолино не догадывался, какая причина могла собрать их там, чтобы бросать в стену камни, песок и сосновые шишки. Внезапно новая толпа явилась усилить их, среди которой, несомый на плечах своими товарищами, мальчик с черными и курчавыми, как у барана, волосами, поднимал на палке мужской парик.

Олимпия и Анджиолино испустили двойной крик. Это был парик г-на де Галандо.

Г-н де Галандо поднимался по лестнице, и они слышали его шаги. Когда дверь открылась, он бросился вперед и остановился неподвижно посреди комнаты.

Его разорванное платье едва держалось у него на спине. Полы были оторваны. Один из его чулок, так как подвязка лопнула, свалился вдоль ноги, худой и покрытой длинными седыми волосами. Его рубашка высывалась из-за расстегнутого жилета. Он был покрыт пылью.

Длинная паутина свешивалась с его локтя, а на задней части его штанов виднелись, двумя огромными пятнами, засохшие яичные желтки с приставшими к ним пухом и перьями. Это необычайное одеяние создавало самую изумительную из фигур карнавала, которую где-либо можно было увидеть, и объясняло преследования шалопаев и их ожесточение против этого своеобразного чучела. Но до апогея возносила необычайность этого облика и заставила покатиться от хохота Анджиолино и Олимпию голова г-на де Галандо, совершенно лысая, только с несколькими редкими седыми волосами, и без своего обычного парика, за который шалуны спорили на площади, влепляя одни другим здоровые тумачи, чтобы завоевать этот необычайный трофей, в отсутствии которого несчастный г-н де Галандо убеждался, украдкой ощупывая свою обнаженную голову.

Она так и осталась. Джакопо напрасно искал другого парика на дне дорожных сундуков г-на де Галандо. Они были пусты и не содержали никакого переменного платья. Двенадцать париков и двенадцать одинаковых платьев, привезенных им некогда из Парижа, были теперь изношены. Поэтому на другой день, когда он проснулся, он очутился лицом к лицу со странною неожиданностью.

Едва проснувшись, он отправился в рубашке на поиски своего обычного костюма, но от него остались только башмаки с пряжками. Остальные принадлежности были так испачканы куриным пометом и раздавленными яйцами, что их должны были выбросить на помойку, и для их замены пришлось прибегнуть к гардеробу Джакопо, так как Анджиолино не захотел дать ничего из своих вещей, и г-н де Галандо, не находя ничего другого в своем распоряжении, был вынужден довольствоваться слишком короткими панталонами, грубыми и в заплатках, и какою-то зеленоватою курткой.

В этом костюме, не осмеливаясь предстать перед Олимпиєю, он сам по своей воле спустился в людскую, где он должен был выслушивать глупые шутки горничной Джулии, кухарки Романьолы и Джакопо, который, подбодренный комическим видом старого дворянина, сразу потерял то небольшое уважение, которое еще накануне внушал такому плуту, как он, трость с золотым набалдашником, платье с полами и пышный парик в старинном вкусе г-на де Галандо.

Он не отвечал на шутки; вообще он ни с кем не разговаривал, сконфуженный, смущенный, робкий и еще не оправившийся после своего приключения; он бродил внизу в вестибюле и скрывался при малейшем шуме. Однако он осмелился выйти в сад. Маленькая собачка Нина играла там. Она расхаживала взад и вперед по аллеям и как раз обнюхивала мордочкою буксовый куст, когда она услышала чьи-то шаги. Она подняла голову и посмотрела.

Г-н де Галандо направлялся к ней, не видя ее; но, когда собачка заметила его, она принялась лаять на этого пришельца, которого она не узнавала. Ее гнев перешел в настоящую ярость. Маленькое животное бешено лаяло и кружилось около г-на де Галандо, которому большого труда стоило защитить свои икры, так что, во избежание зубов собачки, он взобрался на балюстраду террасы. Но Нина не сложила оружия. Довольная своею победою, она легла калачиком, свернулась клубочком, и каждый раз, как ее пленник делал попытку слезть, он встречал у своего врага бдительный взгляд и зубы наготове.

Г-н де Галандо жил в доме, словно он был тенью прозрачною и недействительною. Он более не существовал. Никто с ним не считался. В первый раз, когда он встретился с Анджиолино в коридоре, он счел себя пропавшим. Анджиолино прошел, словно не видя его; но при каждой новой встрече г-н де Галандо ощущал новый страх. Тогда он делал вид, что поглощен каким-либо занятием, скреб стену или завязывал узелок на своем носовом платке. Прошло несколько дней.

Мало-помалу г-н де Галандо, казалось, успокоился. Он дошел даже до того, что пытался обратить внимание на свое присутствие. Он кашлял и сопел, но ему не удавалось привлечь

внимание рассеянного Анджиолино. Нередко подходил он к нижним ступеням лестницы, которая вела в спальню Олимпии. Он долго прислушивался. Малейший шум обращал его в бегство. Один раз он даже отважился подняться на несколько ступеней. Отдаленное тявканье Нины заставило его быстро спуститься обратно.

Что касается синьоры, то она пребывала невидимой. Он с грустью смотрел на Джулию или на Джакопо, проходивших к ней с тарелкою или подносом. Однажды он заметил на столе зажженную жаровню. На ней сушили белье, которым Олимпия вытиралась по выходе из ванны. Г-н де Галандо вдруг не выдержал, и раньше, чем служанка пришла за прибором, он схватил его и скрылся с ним бегом.

Так достиг он двери в ванную комнату. С минуту он помедлил, потом, толкнув дверь коленом, как делал это некогда, он вошел.

Олимпия купалась, над водою была видна только ее голова; затылком она опиралась о край ванны и плавала, вытянувшись во всю длину. Возле нее стоял Анджиолино с мокрыми руками; он, по всей вероятности, только что искал под прозрачностью воды влажные прелести своей любовницы.

Г-н де Галандо поставил грелку на столик и ждал.

Завидя его, Олимпия сразу выпрямилась и села. Ее торс, со стекавшими с него каплями, показался над водою. Слышно было легкое волнение воды и шум капель, сбегавших с ее поднятых рук, которыми она поправляла себе прическу. Блестящие капельки струились по ее гладкому телу и скоплялись под мышками, откуда падали поодиночке, словно стекая с естественной водоросли, темной и вьющейся. Потом она скрестила руки на груди и устремила взор на г-на де Галандо, стоявшего прижавшись к стене всем своим телом и обеими руками с расставленными пальцами.

— Как, это ты? Но откуда же ты явился? Я думала, что ты уехал, и уехал, не простясь. А ты снова здесь?.. Да, в один прекрасный день человек исчезает, не предупредив даже. Улетела редкая птица, пропала, исчезла, переселилась! Его ищут, — напрасно! Знаешь, я сначала подумала, что Лампарелли приказал запереть тебя по ошибке со своими обезьянами. Оказывается, что нет! Ты, значит, пропадал у женщин? Отвечай же! Разве ты нашел лучше?

Она встала и поддерживала рукою свои мягкие груди. Анджиолино спокойно вытирал руки и насмешливо поглядывал на г-на де Галандо. Олимпия продолжала:

— Ну что же! Я привыкла к тебе. Послушай, тебе не было хорошо у нас? В чем ты нас упрекаешь?

По мере того как она говорила, она разгорячалась. Она верила в эту минуту довольно чистосердечно тому, что г-н де Галандо в самом деле оскорбил ее. В то же время к ее гневу примешивалось намерение раз навсегда отнять у старого дворянина желание снова обратиться в бегство. Она знала теперь, что она необходима для его привычек, и пользовалась властью, которую давала ей над ним его нужда в ней. Г-н де Галандо слушал все это молча. Он смущенно проводил рукою по своему голому черепу, поддерживая штаны, поясok которых, слишком широкий для его худобы, совсем не держался на боках.

— Разве с нами ты не был счастлив? — продолжала Олимпия. — Чего тебе не доставало? Тебя кормят, ты хорошо помещен, о тебе заботятся, тебя балуют. Все за тобою ухаживают, и Анджиолино, и я!... Он тебе доверяет! Разве он не послал тебя отнести обезьян Лампарелли, Лампарелли, кардиналу, который чуть не сделался папою?... Ты в доме как отец. Ты знаешь все, что здесь делается. Разве от тебя что-нибудь скрывают? Ты сидишь за столом на лучшем месте. Анджиолино не упускает случая предложить тост за твое здоровье. Ты хозяин всего, ты делаешь что хочешь. Я тебя очень любила. Ты купал собачку Нину. Ты мог

подниматься наверх и спускаться вниз, мог ходить взад и вперед, мог подметать, чистить. Ты был счастлив, и вот как ты нас отблагодарил! Живо! Проси у меня прощения, и на коленях!

Анджиолино положил руку на плечо г-на де Галандо, который склонился, бормоча непонятные слова. Олимпия перешагнула через край ванны. Ее мокрые пятки с каждым шагом оставляли блестящий след. Она шла к г-ну де Галандо, который, опустив голову и сложив руки, смотрел, как она подходила.

— Живо! Проси прощения! Скажи: «Прости, Олимпия, я больше не буду!»

Она трясла его своими сильными руками.

Она сидела теперь верхом у него на спине и давила на него своею тяжестью. Между колен она сжимала впалые бока простака, а он, охая, отбивался. Олимпия начинала входить во вкус игры. Ее гнев перешел в веселье.

— Смелей, вперед! Сбрось меня из седла. Брыкайся же! Браво, Галандо!

Большое зеркало отражало эту конную группу.

Внезапно верховая лошадь осела. Г-н де Галандо упал плашмя на живот, меж тем как Олимпия вскочила быстрым движением бедер и, обнаженная, стоя и уперев руки в бока, разразилась громким взрывом хохота, причем голова ее запрокинулась назад и мягко дрожали груди, кончики которых, освеженные водою, принимали, высыхая, свой прежний коричневато-розовый цвет.

XIII

Анджиолино пришлось водить его рукою, чтобы он подписал свою фамилию на записке, предназначавшейся для г-на Дальфи. Анджиолино спустился для этого на кухню, куда добровольно укрылся г-н де Галандо и откуда он теперь уже не выходил; он жил между людскою и вестибюлем, сделавшись примерным слугою. Он по своему почину занялся работою, которую ему охотно доверили. Ни Джулия, ни Джакопо, ни тем менее Романьола не щадили его. Впрочем, никакая работа, казалось, не отталкивала его, и мало-помалу он опустился до работ самых черных и самых низких. Он выказывал себя на работе деятельным и молчаливым, ходя взад и вперед без шума.

Можно было видеть его с рукавами, засученными над его тощими руками, наводившим блеск на кастрюли и отчищавшим внутренность котлов. Порою он до того забывался, чистя без конца один и тот же предмет размеренным движением, что мог бы, без сомнения, продолжать эту чистку до вечера, если бы Джакопо или Романьола не клали ей конца. Добрая женщина в общем, она заставляла его выполнять тысячу услуг, не обращаясь с ним сурово. Джакопо также поступал с ним мягко.

Эти люди, с тех пор как он потерял в их глазах, если можно так выразиться, качество хозяина, смотрели на него как на своего брата и обращались с ним хорошо. Романьола, в частности, даже уважала его за его умение щипать птицу. Он выполнял это весьма хорошо. Сидя на табурете, он держал цыпленка между ног и тщательно очищал его от малейших пушинок; потом, когда голая птица принимала жалкий и дрожащий от холода вид, он с любопытством разглядывал мелкие пузырьки на ее обнаженной коже.

Работа г-на де Галандо не ограничивалась этим. Он чистил еще овощи. Глаза его плакали от остроты лука и чеснока, и не проходило дня, чтобы он не погружал в теплую воду тарелок и

блюд. Г-н де Галандо мыл посуду, вытирал пыль, подметал пол, и Джакопо выучил его выбивать платья, чистить башмаки и выносить горшки.

Благодаря этому г-н де Галандо жил довольно спокойно. Он покинул свою бывшую комнату и жил теперь в первом этаже, недалеко от Джакопо; он ел в людской, и когда за столом ему случалось услышать дурные речи по адресу синьоры, то он краснел и опускал нос. Разнообразные любовные связи Олимпии служили предметом довольно грубых шуток. Госпожа в этом году принимала много народу. В Риме был наплыв иностранцев, прибыли от которых Анджиолино не хотел лишиться. Таким образом, г-н де Галандо услышал разговоры про г-на Тобисона де Тоттенвуда. Он даже видел его проходящим по вестибюлю и поднимающимся по лестнице.

Высокий рост г-на Тобисона, его белый, в крупных локонах, парик, его сангвиническое лицо, его телосложение, его широкие ступни, обутые в огромные башмаки, и его просторное малиновое платье произвели на него сильное впечатление. Англичанин остановился у синьоры. Он был щедр и чудаковат; о нем много говорили в людской. Джакопо, видевший его в постели, рассказывал, что он занимал там ужасающее место и заполнял ее всю грудю мускулистого белого мяса и что при каждом движении дерево скрипело под тяжестью исполина. Г-н де Галандо мог сам посудить об этом, так как однажды утром, когда у Джакопо был приступ лихорадки, он должен был заменить его и отправиться за одеждою и за башмаками милорда, чтобы привести их в порядок. Он вошел на цыпочках и вышел тем же способом, не увидев ничего, словно ему предстояло проникнуть в комнату людоеда.

Г-н де Галандо помогал Романьоле надеть на вертел жирную пулярку, предназначавшуюся к ужину, когда Анджиолино внезапно появился в людской. Он вежливо подошел к старому дворянину и со множеством необычных учтивостей попросил его быть добрым и последовать за ним на галерею, где их обоих ждали. Смущение г-на де Галандо было тем сильнее, что Анджиолино пропустил его вперед и уступил ему первенство.

Они застали там г-на Тобисона де Тоттенвуда, вставшего при их появлении с кресла, в котором он сидел, и поклонившегося с важностью. Г-н де Галандо, чтобы не отстать, ответил на поклон англичанина французскими реверансами, церемонность которых составляла странный контраст с зеленоватою курткой, в которую он был одет, и небольшою шапкою, которую он смущенно вертел в руках; но его изумление удвоилось, когда, кроме Олимпии, он увидел там стоявшим во весь свой карликовый рост и с аршином в руке самого маленького портного, Коццоли. Озадаченный г-н де Галандо смотрел в пол и теребил кончик своего засаленного фартука.

— Вы снимете мерку с господина графа де Галандо, — сказал, помолчав, г-н Тобисон, снова усаживаясь в свое кресло, — и я хочу, чтобы платье вышло очень богатым. Пустите в дело хороший бархат фишашкового цвета и отделайте его получше позументом. Не жалейте ничего и сделайте как можно скорее.

Г-н де Галандо, смущенный, не возражал. Коццоли вертелся вокруг него и снимал с него мерку во всех направлениях. Г-н де Галандо расставлял ноги, сгибал руку, покорно подчинялся всему.

— Ваша светлость будет довольна, — озабоченно стрекотал Коццоли. — Позвольте... Вот теперь хорошо... Ах, ваша светлость, вы изволили похудеть, хотя вид у вас здоровый. Как, однако же, время бежит. Вы совсем забыли нашу лавочку. У нашей Мариуччи родилась девочка; у нашей Терезы — двойни: обилие детей и недостаток отцов, так как Тереза настолько рассеянна, что забыла обвенчаться в церкви. Извольте повернуться, ваша светлость. Еще минутку.

Аршин мелькал в руках маленького портного, то становившегося на корточки, то

поднимавшегося на цыпочки.

— Ах, этого-то платья мне и не хватало. Я постоянно спрашивал себя: «Коццоли, ты одевал много народу, неужели ты никогда не будешь одевать господина графа де Галандо?» Ха-ха-ха! Вы увидите, милорд; кроить буду из цельного бархата. Если бы моя бедная тетка Барбара могла видеть вас теперь! Но она скончалась, несчастная женщина, три дня спустя после свадьбы Мариуччи, от горя, найдя свой птичник разграбленным, яйца перебитыми, наседок разогнанными, а голубей улетевшими на собор Святого Петра... А знаете, сорока помнит еще фамилию вашей светлости, хотя бедная птица теперь ослепла на один глаз...

И г-н Коццоли, сложив свой багаж, раскланялся со всем обществом и скрылся, сделав пируэт.

Г-н Тобисон де Тоттенвуд снова поднялся с своего кресла.

— Теперь, Анджиолино, ты отведешь графу хорошее помещение. Через три дня, одетый как следует, он снова займет за столом то место, которое он никогда не должен был покидать и которое принадлежит его достоинству дворянина, и впредь ты будешь обращаться с ним, как приличествует обращаться с человеком его происхождения и его возраста; и, если бы на месте французского вельможи, которого ты так третировал, оказался лондонский гражданин, я бы свернул тебе челюсть, выбил зубы и переломал бы бока.

И, стоя в своей широкой красной одежде, г-н Тобисон многозначительно сжал свой могучий кулак, покрытый рыжеватыми волосами и испещренный голубоватыми жилками.

Анджиолино закусил губы. Он раскаивался теперь в своей болтовне и в том, что он поведал англичанину историю и положение г-на де Галандо. Вопреки своей обычной осторожности, он на этот раз уступил влечению рассказать интересную сказку и развлечь милорда, а также одновременно внушить ему высокое представление о своей ловкости и уме. Он не хотел также упустить случая выставить силу чар Олимпий, так как, очевидно, из любви к ней французский вельможа более пяти лет переносил всевозможные тягости, причем ни одна из них не ослабляла необычайного упорства, с которым он охотнее мирился с ними, чем отказался бы от привычки, тем более удивительной, что причины ее продолжали оставаться непонятными и тайными для всех, кто не знал всех обстоятельств жизни г-на де Галандо и того, как прошлое в ней тонким и неожиданным узлом связывалось с необъяснимым настоящим. Кто бы подумал, что несчастный, в лице двух любовниц, служил призраку любви единой и дважды тщетной. Анджиолино видел в этом только яркую черту какой-то странности и превосходный пример сумасбродства. Поэтому приложил он к своему рассказу все старание, уснастил его гаерством и клоунадой, годными на то, чтобы расширить селезенку милорда.

Итак, окончив рассказ, он ждал, что г-н Тобисон разразится одним из тех взрывов смеха, от которых к его лицу моментально приливали волною все краски грядущей апоплексии и потрясали все его исполинское тело какою-то бурей веселья. Обычно, похохотав, г-н Тобисон становился особенно щедрым, будучи от природы ипохондриком, и тогда минута благоприятствовала тому, чтобы Олимпия получила от него один из тех великолепных драгоценных камней, богатый подбор которых он носил постоянно в своих карманах.

Но на этот раз результат получился совсем иной. Англичанин пребывал холоден. Правда, что краска залила его лицо; но вместо того, чтобы разрешиться смехом, она закончилась ужасающим ударом кулака, который разрушил, вместе со всею посудой, стол, за которым он сидел. В ту же минуту Анджиолино почувствовал, что его схватили за шиворот и подняли над землю руки милорда, который извергал во весь голос свои самые крепкие проклятия. Когда тревога улеглась, Анджиолино, изумленный, услышал, как г-н Тобисон де Тоттенвуд потребовал, чтобы впредь г-н де Галандо занимал в его присутствии место, отвечающее его

положению, и чтобы был положен конец тому бесчестному обращению, которому его подвергали.

Итак, три дня спустя после этой выходки, закончившейся приглашением Коццоли, г-н де Галандо, одетый в великолепное платье фиштаккового цвета, по всем швам украшенное галунами, появился за столом. Г-н Тобисон, в восторге от своего дела, пил и ел преизобильно и требовал, чтобы его новый друг не отставал от него, так что бедный г-н де Галандо, здоровье которого расшатывалось все более и более, пошел спать в весьма плохом состоянии.

Для него возникло неожиданное неудобство. Г-н Тобисон проникся к нему дружбою и не мог уже обходиться без его присутствия, но г-н де Галандо приближался к своему благодетелю не иначе как с большим волнением и с явным ужасом. Высокий рост англичанина, его телосложение, его огромные кулаки, его низкий голос пугали его. Малейшее из его движений приводило его в ужас. За столом у г-на Тобисона была свирепая манера подносить вилку ко рту и потрясать ножом, заставлявшая бледнеть его робкого соседа. Сверх того, у г-на Тобисона была ужасающая резкость движений, которую его сила делала еще более страшною. Его рукопожатия напоминали тиски, его дружеские похлопывания валили человека с ног. Поэтому г-н де Галандо жил в постоянном беспокойстве, и он сто раз предпочел бы чистить овощи с Джакопо или мыть посуду вместе с Романьюоло, нежели глотать огромные куски кровавого мяса, которые добрейший г-н Тобисон накладывал ему на тарелку, повелительно требуя, чтобы он нагружал ими свой желудок, под тем предлогом, что он находил его хилым, слабым и дряхлым.

Тем временем пребывание г-на Тобисона в Риме подходило к концу, и он вскоре должен был уехать в Неаполь. Было условлено, что Олимпия и Анджиолино будут сопровождать его до Фраскати. Уже давно оба соучастника мечтали приобрести там виллу, чтобы проводить там в прохладе жаркое время года. Они были богаты. Англичанин выказал себя очень щедрым, и г-н де Галандо продолжал приносить большой доход. Сверх того, им говорили об имении, которое там продавалось и по сведениям, сообщенным о нем старым Тито Барелли, вполне отвечало их требованиям. Они намеревались тщательно осмотреть его.

Г-н де Галандо не должен был участвовать в поездке. Он продолжал худеть и сильно кашлял. Слабость его все росла. Говядина, которою его пичкал г-н Тобисон, не подкрепляла его. Он видимо таял. Но утром в день отъезда, когда экипажи были поданы и милорд сидел в своей карете с Олимпиєю, а Анджиолино — в наемной, перед тем как тронуться, все увидели бежавшего г-на де Галандо, который, бросившись к мордам лошадей, с плачем и криками, вообразил, что его хотят покинуть и что г-н Тобисон увозит с собою Олимпию на край света. Напрасно объясняли г-ну де Галандо, что все вернется в тот же день к вечеру, он ничего не хотел слышать и цеплялся за дверцу, как старый упрямый ребенок, так что г-н Тобисон приказал Анджиолино взять с собою французского друга, что Анджиолино исполнил с проклятиями, отнюдь не стремясь к чести ехать в компании этого дряхлого манекена в зеленом платье, от которого пахло людскою и объедками, так как г-н де Галандо, невзирая на свое восстановленное достоинство, все же время от времени добровольно ходил помогать в работе Джакопо и Романьюоле, около которых он отдыхал от волнений, причиняемых ему бурною дружбою г-на Тобисона де Тоттенвуда.

И, катясь по направлению к Фраскати, в свежем утреннем воздухе, Анджиолино находил, что милорду давно пора исчезнуть и что г-ну де Галандо давно пора возвратиться на кухню и переодеться в свою куртку, и он уже видел, как зелено-попугайное платье, верх искусства Коццоли, покидает тощие плечи графа, чтобы, вздетое на палку, послужить птичьим пугалом.

Когда кареты остановились перед гостиницею во Фраскати, то г-н Тобисон и Олимпия вышли из своего экипажа в состоянии беспорядка, не оставлявшем сомнения относительно способа, которым они коротали долгое время пути. Олимпия кое-как оправила свой туалет. Англичанин привел в порядок свой парик в крупных локонах, потянулся в своем огромном красном платье и прищелкнул языком. Анджиолино высказал тотчас желание совершить прогулку к виллам. Во Фраскати есть великолепные виллы, особенно Бельведер и Мондрагона, которые славятся красотой своих тенистых деревьев, приятностью своих садов и обилием своих вод. Анджиолино уверял, что он страстно любит водяные забавы и приспособления. Это у него с детства, когда он, бродяжничая, часто посещал фонтаны Рима. Он пил их воду, любовался их скатертями и снопами, плескался в их бассейнах.

Все они были близки ему по тем или другим воспоминаниям. Ему очень хотелось увидеть фонтаны Фраскати: они были свидетелями его восходившей карьеры. Он посещал их некогда с тем г-ном де Терруазом, французским дворянином, который отличил его достоинства, поднял его из низов и оказал честь его красивой внешности. Этот богатый и щедрый вельможа, когда каприз его прошел, оставил молодого человека с туго набитыми карманами и ценными перстнями на всех пальцах, так что он мог в приличном виде предстать перед кардиналом Лампарелли.

Мирное предложение Анджиолино далеко не удовлетворяло г-на Тобисона, не проявившего никакого расположения осматривать достопримечательности, к которым он был совершенно равнодушен, так как у него была довольно своеобразная манера путешествовать. За исключением вина и женщин, которых он мог получить, он довольно мало занимался странами, по которым проезжал. Поэтому охотнее проводил он время в гостиницах. Там он принимал местных ювелиров, так как был большим любителем камней и драгоценностей, и странно было смотреть, как он трогал самые хрупкие и самые нежные из них своими сильными и грубыми, как у мясника или убийцы, руками. Повсюду он покупал самые лучшие вещи, отсылал их в Лондон жене, с которою он никогда не виделся и которая жила там одна, маленькая и безобразная, изукрашенная, как рака, пока ее исполинский муж разъезжал по свету, бегая за женщинами и опорожняя бутылки.

Итак, по желанию г-на Тобисона сели за стол, и началось бражничанье. Было опорожнено много бутылок, что задержало общество далеко за полдень. Наконец, осушив последний стакан, г-н Тобисон объявил, что он сейчас уезжает, и приказал закладывать дорожную карету. Анджиолино и Олимпия вышли, чтобы ускорить выполнение его приказа, и он остался за столом один, лицом к лицу с г-ном де Галандо.

Г-н де Галандо сидел молча, опустив глаза в свою тарелку, как вдруг удар кулака г-на Тобисона по столу заставил его вздрогнуть. Этот удар кулаком возвещал, что г-н Тобисон хочет говорить; им он обычно начинал свои речи и соразмерял его со своим настроением; поэтому иногда удар заставлял подпрыгивать тарелки, иногда только побуждал приятно звенеть хрусталь.

Г-н де Галандо, подняв голову, уже приготовился слушать. Г-н Тобисон заговорил. Со двора доносились возня конюхов, запрягавших лошадей, храпенье, стук копыт и звон колокольчиков.

— Если бы вы родились, сударь, в одном из зеленых графств нашей веселой Англии, то знаете ли, сударь, что бы я сделал? Я самым осторожным манером взял бы вас за шиворот и опустил бы вас на сиденье в моем экипаже. Я сел бы рядом с вами и приказал бы кучеру ударить по лошадям, и в галоп, ямщики!

Г-н Тобисон де Тоттенвуд глубоко вздохнул. Г-н де Галандо съежился и ушел головою в

плечи; он уже видел себя висящим в воздухе в могучем кулаке чудака.

— К несчастью для вас, сударь, вы не имеете чести быть англичанином, а я, с другой стороны, не имею чести знать вас настолько, чтобы быть в состоянии действовать без вашего согласия и применить к вам лечение, за которое вы, быть может, пожелали бы и были бы вправе упрекнуть меня, ибо каждый свободен жить, как ему вздумается, и каждый должен оставаться хозяином своих причуд. Ваша фантазия, господин француз, это быть смешным. Это свойственно вашей нации, и я этому не удивляюсь. Простите мне, сударь, мой откровенность, но она исходит из того, что я вижу вас превращенным в игрушку плута и плутовки, которые вас грабят, обманывают и издеваются над вами. Это ваш выбор, поэтому я не имею права протестовать. Я думал, однако, что вы меня извините, без сомнения, за то, что я не мог допустить, чтобы в моем присутствии и на моих глазах так обращались с дворянином в вашем положении и в вашем возрасте. Вот и все. Я сделал это не для вас, а для себя, так как мне не было приятно знать, что башмаки, которые я ношу, вычищены человеком знатным, превращенным в слугу. Мы, англичане, уважаем в человеке его личность и его качества, но те негодяи, о которых идет речь, по-видимому, не обращают никакого внимания ни на ваше рождение, ни на ваши свойства. Я положил некоторую закрепку на их фамильярное обращение, но будьте уверены, граф, что, как только я повернусь спиной, вы снова свалитесь до людской, и ни мои выговоры, ни зеленое платье, которое вы носите, отнюдь не застрахуют вас от того.

Г-н де Галандо внимательно слушал речь англичанина. Г-н Тобисон смерил его с головы до ног, потом шумно рассмеялся. Его крупное красное лицо сделалось багровым.

— Чем более я гляжу на вас, сударь, тем более убеждаюсь, что у вас нет ничего, чем можно держать в руках подобных плутов. Хорошего удара ногою в спину Анджиолино и нескольких здоровых оплеух по лицу Олимпии было бы достаточно, чтобы вам с ними расправиться, и вы увидели бы, что они стали бы кротки, как овечки. Но, дорогой мой, женщины и живущие с ними развратники — отнюдь не ваше дело, а эта пара принадлежит к наихудшему сорту. Вы попали в осиное гнездо, откуда вы не выберетесь и где мне больно оставлять вас, честное слово Томаса Тобисона! Если бы еще вы извлекали какую-либо выгоду из той мерзости, в которую вы попали, я бы вас понял. Конечно, эта Олимпия пригодна для любви, но вы этим не занимаетесь даже с нею. Она хорошо знает ремесло постели. У нее свежая кожа и гибкое тело, хотя на мой вкус она и не дает того, чего от нее можно было бы ожидать. Но это вас не касается, потому что то употребление, которое вы из нее делаете, не есть то, о чем я говорю, и вы, следовательно, еще лишний раз обмануты ею.

Г-н де Галандо взглянул на г-на Тобисона молящим взором.

— Я говорю это, сударь, отнюдь не для того, чтобы вас сердить. Каждый любит на свой манер, и ваш способ, сколь он ни странен, не кажется мне от того менее почтенным, хотя, как я уже имел честь сказать вам, я не потерпел бы его ни на минуту со стороны ни одного из моих соотечественников. Итак, предоставляя вам свободу, сударь, превращаться в забаву и игрушку этих висельников, я, однако, не хочу уехать отсюда, не предложив вам следующего.

Г-н Тобисон встал. Он выпрямился, огромный и красный, наряду с г-ном де Галандо, тощим и зеленым, который встал так же, как и он. Их разделял стол.

— Я уезжаю, сударь, — сказал торжественно Томас Тобисон. — И я увожу вас с собою. Через три дня мы будем в Неаполе, а через месяц — во Франции. Я вас отвезу туда. Бросьте ту глупую жизнь, которую вы тут ведете и где вы представляете, повторяю, жалкую фигуру. Олимпия и Анджиолино при этом лопнут с досады. В этом не будет особенной беды, вы в достаточной мере откормили их вашими доходами. Скажите слово, и вы свободны. Подумайте. Я жду вашего ответа. Время, в течение которого я налью себе стакан вина. Я все сказал.

Г-н Тобисон надел шляпу и выбирал бутылку. Он притянул к себе пустой стакан. Медленно нагибал он брюхо фьяски. Красная струйка побежала в хрусталь. Г-н Тобисон наливал медленно, искоса поглядывая ласковым и насмешливым взглядом на г-на де Галандо.

Г-н де Галандо был бледен, как воск. Крупные капли стекали у него со лба. Он дрожал всем телом. Зубы его стучали. Г-н Тобисон поставил бутылку на стол; стакан был полон до краев, он его поднял.

— Итак? — спросил г-н Томас Тобисон де Тоттенвуд.

Г-н де Галандо уронил длинные руки вдоль своего тощего тела и, закрыв глаза, троекратно качнув головою, подал знак отрицания.

— За ваше здоровье, граф де Галандо! — воскликнул громовым голосом г-н Тобисон, и, подняв высоко локоть, он опорожнил стакан одним духом. Лицо его побагровело. Потом, сняв шляпу, он подошел к г-ну де Галандо и отвесил ему глубокий поклон.

— Мы, англичане, сударь, уважаем людей, которые идут до конца в исполнении своего долга, в своей страсти или в преследовании своей прихоти. Вот почему, сударь, я заявляю, что восхищаюсь вами. Делать то, что хочешь, в этом — все. Так и я, сударь, я поклялся, что не увижу Лондона до тех пор, пока будет жива госпожа Тобисон, которую я ненавижу. Вот уже двадцать лет, что я скучаю по всей Европе, так как на всем свете есть только одно, что может быть мне приятно, сударь, а именно — под мелким дождичком прогуливаться по мосту через Темзу.

И г-н Тобисон, повернувшись на своих широких каблуках, внезапно исчез в открытую дверь.

На дворе щелкнул бич; лошади ударили копытами о землю; скрипнули оси колес. Потом наступила тишина, и г-н де Галандо услышал голос Олимпии, звавшей его.

Он застал ее с Анджиолино; они, казалось, были веселы, насмешливы и, по-видимому, весьма довольны отъездом г-на Тобисона; нехорошая улыбка бродила на устах развратника. Олимпия посмеивалась. Дело теперь было в том, чтобы употребить остаток дня на осмотр вилл, — сначала той, которую Олимпия и Анджиолино хотели купить и стоимость которой они рассчитывали, разумеется, стащить с г-на де Галандо, а потом и тех, которые содержат достопримечательные постройки, цветники, гроты и водопады. Прогулка вышла веселой. Г-н де Галандо, горбясь более обычного, шел позади четы, останавливался вместе с ними и следовал за ними, таща ноги. Они полюбовались таким образом Мондрагоною, но Бельведер понравился им больше. Сады расположены там террасами, покрытыми зеленью и каскадами, и самая большая из них увенчана колоннадою с витыми желобками, по которым вода поднимается спиралью. В гротах они дивились Центавру, трубящему в пастуший рожок, и Фавну, играющему на флейте посредством проводов, доставляющих воздух в эти инструменты.

Так дошли они до очень красивой статуи тритона, стоявшей в мраморной нише. Олимпия осталась в сторонке, а наивный г-н де Галандо подошел ближе по приглашению Анджиолино, который прошел за статую, секрет которой ему был известен, и повернул кран так, что г-н де Галандо получил прямо в лицо такую сильную струю, что его отбросило навзничь, на плиты, оглушенного падением, после которого он поднялся со стекавшими с него ручьями, с париком, прилипшим на висках, в своем зеленом платье, со всех швов которого текла вода, к радости обоих шутников, восхищенных тем, что они у покорной волны позаимствовали мокрую оплеуху для своей злобы против безвинного любимца г-на Томаса Тобисона де Тоттенвуда.

Теперь надо было добиться от г-на де Галандо, чтобы он поплатился за покупку виллы во Фраскати. Г-н Дальфи, с которым посоветовались на следующий день, согласился на обычные условия, и Анджиолино вернулся домой вечером с бумагой в кармане, на которой не доставало лишь подписи благодушного простака. Получить ее было пустяк; поэтому негодяй весело поужинал наедине со своею любовницею. Г-н де Галандо совсем не выходил из своей комнаты после возвращения из Фраскати, откуда он приехал простуженный и стуча зубами. Вернувшись в дом, он направился в свою бывшую комнату близ кухни и лег в постель, куда Романьола из сострадания к его кашлю носила ему припарки и горячие настойки. Весело закончив вечер, Олимпия и Анджиолино собирались было лечь спать, как вдруг услышали царапанье в дверь. Показалась испуганная физиономия Джакопо.

— Что случилось? — спросила Олимпия.

— Синьору Галандо очень худо.

— Что ты говоришь, Джакопо?

— Да, синьора, проходя по коридору, я слышал, как он хрипел. Можно было подумать, что он сейчас задохнется. Слышен такой шум, словно тянут воду из колодца. Тогда я поднялся предупредить вас.

— Хорошо, я сейчас туда приду, — сказал Анджиолино с важностью.

Джакопо спустился вниз, оставив дверь незапертою. Олимпия и Анджиолино молчали. Они стояли друг против друга, не глядя один на другого. Свет от лампы рисовал на стене их причудливые тени. Незапертая дверь зияла своим черным квадратом.

— Запри же, — сказала Олимпия.

Анджиолино направился к двери и быстро закрыл ее, отдернув руку, словно боясь какого-то невидимого объятия. Они почувствовали себя более спокойными.

У них был перед смертью страх нелепый и низкий, особенно у Анджиолино, никогда не видевшего трупов. Он предполагал у них вид страшный и думал, что, раз жизнь отлетела, скелет появляется немедленно. Он ходил взад и вперед по комнате. Его страх перешел в злость, он топнул ногою.

— Негодяй! Ах! Негодяй! Умереть здесь, в двух шагах от нас!

Потом он остановился; прошипел комар, сгоревший на свечке.

Олимпия подняла на плече перехват сорочки. Был слышен легкий шелест белья по коже. Анджиолино, в затруднении, потер себе подбородок. Щетина его бритой бороды натерла ему руку.

— В конце концов он отлично умрет и один; кто заставляет нас спускаться вниз?

Мысль о том, чтобы идти одному в потемках, заставляла его дрожать; и он умолял глазами Олимпию, чтобы она, по крайней мере, предложила ему проводить его. Свеча нагорала, он пальцами снял с нее и прибавил:

— Пусть подышает без нас!

Оба молчали, думая об одном и том же. Если г-н де Галандо умрет, не подписав расписки г-на Дальфи? На этот раз дело касалось суммы значительной, которая вместе со всем тем, что они уже годами вытягивали у простака, делала их окончательно богатыми. Они видели себя во Фраскати. Вилла, которую они только что осматривали, снова стояла у них перед глазами; она была белая, вся в зелени, с колоннадою; из окон была видна голая равнина, вплоть до синей полоски моря. Олимпия уже прислушивалась к стуку своих туфелек желтого шелка на мраморной лестнице. Она видела себя облокотившеюся возле кадки с миртом, на котором должен сидеть и ворковать голубь. Летом к ним будут приезжать гости. Старый Тито Барелли, со своим старушечьим лицом, будет рассказывать им там сплетни и новости и есть при этом добела взбитый шербет, меж тем как по морщинистым щекам у него комично будут расплываться румяна. У них будут играть в карты. Она будет купаться в холодной воде... Но для этого необходимо, чтобы г-н де Галандо подписал расписку г-на Дальфи. Они взглянули друг на друга и прочли в своих глазах одни и те же мысли.

— Сходи туда, — сказала Олимпия. — Где бумага?

— Нет, сходи ты, — отвечал Анджиолино, — с тобою он скорее подпишет.

— Да нет же, ведь всегда ты водишь его рукою.

Мысль дотронуться до этой руки умирающего, держать ее в своей руке, почувствовать ее лихорадочный жар или ледяной холод заставила задрожать Анджиолино. Олимпия посмотрела на него. Она подняла сорочку и почесала себе колено, потом сплюнула на пол, пожала плечами и сказала:

— Трус!

Анджиолино, не отвечая, направился к небольшому столику, выдвинул ящик, вынул из него бумагу, сложенную вчетверо, и медленно развернул ее. Олимпия читала из-за его плеча. Она нагнулась, приложила палец к цифре, написанной крупными буквами.

— Надо идти туда, — сказали они оба в один голос.

Уже с минуту маленькая собачка Нина, свернувшаяся клубочком в ногах кровати, волновалась. Она открыла глаза, пошевелила одним ухом. Кончила тем, что вскочила на ноги. Ее розовый язычок высывался из угла ее рта. Ее когти скребли простыню. Она тихонько залаяла и поглядела им вслед.

Они спускались по лестнице. Ступени были словно выше, чем обыкновенно; с каждым шагом им казалось, что они ступают в яму. Олимпия несла свечу, Анджиолино — маленькую роговую чернильницу и гусиное перо. Они держали друг друга за руку. Они достигли таким образом вестибюля, потом прошли по коридору, который вел в кухню, и остановились перед запертою дверью. Анджиолино поглядел в замочную скважину, потом приложился к ней ухом, прислушиваясь. Он не услышал никакого шума.

— Он, должно быть, умер, — сказал он, выпрямляясь, — не подняться ли нам наверх?

Олимпия послушала в свою очередь.

— Слышишь ли ты? — спросила она.

Неровное дыхание долетело теперь из-за двери, то еле слышное, то громкое и хриплое. В промежутках оно жужжало, как муха, или скрипело, как блок.

— Уйдем отсюда! — прошептал Анджиолино. Олимпия, не отвечая, отворила дверь.

Комната была просторная и полна мрака, который свеча, поднятая высоко, все же не могла

рассеять. Голые стены, выбеленные известью, казались озябшими. Низкий потолок был перерезан толстыми балками. На вбитых гвоздях висели пучки лука, гирлянды чеснока, связки трав. На полу валялись разбитые кувшины, осколки горшков. По углам свалена была поломанная мебель. На старом хромом кресле было разложено фишашковое платье г-на де Галандо, жалкое и еще мокрое от душа, полученного во Фраскати, с его растянутыми рукавами, покоробившимися полами, потемневшими галунами, сморщенное и словно солоноватое. На спинке кресла был мрачно распростерт огромный парик, словно голова без лица. Все это вместе имело причудливый, странный и уже зловещий вид.

Постель, на которой лежал г-н де Галандо, состояла из соломенного матраса, брошенного на низкие козлы. Умиравший лежал на спине, руки его натягивали простыню, судорожно сжимались на ней. На его землистом и обострившемся лице рот мучительно раскрывался, меж тем как глаза оставались закрытыми. Голый череп светился, словно восковой; несколько длинных прядей седых волос, заложенных за уши, загибались ко впалым щекам. Казалось, он был изваян из желтой глины, сухой и как бы готовой осыпаться под пальцами.

Олимпия, держа свечу в руке, присела на кровати. Г-н де Галандо открыл глаза; он дышал с трудом. Олимпия наклонилась над ним.

— Что это мне говорят, мой старый Галандо, что ты болен? Но, по крайней мере, ты не страдаешь? Но нет, ты хотел напугать нас? Это неправда, не так ли?.. Ты не голоден ли? Не хочешь ли поужинать? Накроют на стол. Ну же, вставай, оденься. Ты наденешь свое красивое зеленое платье, которое сшил тебе Коццоли, тот самый Коццоли из улицы Бабуино, который шьет сидя на столе, с сорокою на плече. Ты наденешь также парик, твой большой парик. Хочешь, я тебе помогу? Давай. Ведь ты же не захочешь остаться здесь совсем один?

Г-н де Галандо смотрел на Олимпию блуждающим взглядом. Припадок кашля заставил его приподняться. Олимпия хотела взять его за руку. Он резко отдернул ее. Он то сжимал, то разжимал ее попеременно, потом держал ее раскрытою и, казалось, внимательно рассматривал пустую ладонь. Отвращение выразилось на его лице, и он тряс пальцами, словно чтобы заставить упасть с них нечто отвратительное — без сомнения, образ золотой монеты, которую некогда положил ему в руку Лампарелли.

— Перестань! — продолжала Олимпия. — У тебя на руке ничего нет. Рука у тебя вовсе не болит. У тебя рука твердая, как тогда, когда ты подписываешь свое имя под расписками Дальфи. Знаешь, когда ты внизу пишешь: «Галандо». Хочешь попробовать подписать еще раз? Ты увидишь, как ты хорошо подписываешься, и ты перестанешь считать себя больным. Постой, кажется, и у Анджиолино есть бумага. Анджиолино, подай мне чернильницу и гусиное перо.

Она пыталась всунуть ему перо между пальцев, но это ей не удавалось. Мало-помалу она начинала терять терпение. Хриплое и короткое дыхание достигло ее лица.

— Подпиши, слышишь! — крикнула она ему вдруг жестко, превратившись из слащавой, которою она старалась казаться до сих пор, в угрожающую. — Подписывай! Здесь холодно. Ты видишь, что я стою босая на полу. Я в сорочке, и я потеряла на лестнице одну из моих туфель, так я торопилась прийти сюда. Подписывай же, подписывай... Ах, негодяй!

Резким движением г-н де Галандо откинул одеяло. Нищенский и сухой запах шел от лихорадочного ложа, и вдоль кровати свесилась сухая нога с тощим бедром.

Анджиолино, ждавший сидя на хромом кресле, вскочил. Теперь он ничего не боялся.

— Пусть его подышает, если хочет, старый дурак, а ты иди спать, Олимпия. Я сумею заставить его подписать и без таких церемоний. Так вот как! Неужели ты думаешь, что ты уйдешь от нас так, выхаркнув нам в лицо твою душу старого дурака? Взгляните на этого

доброе господина! Его скелет вместо всякого подарка! Даже черви от него откажутся. Довольно мы на него насмотрелись за пять лет! Ну же, скорей! Господина Тобисона здесь уже нет, мой милый! Ах ты пьянчуга, будешь ли ты подписывать?

Он страшно выругался и попытался насильно держать перо между пальцев г-на д-г Голакдс, рука которого судорожно сжималась. Перо прорывало бумагу, ничего не выводя на ней. Анджиолино отпустил кисть; рука, падая вниз, ударилась костью о дерево кровати.

Олимпия взяла обеими руками свисшую руку г-на де Галандо. Она принялась говорить ему голосом кратким, жалобным и плаксивым.

— Послушай, мой маленький Галандо, ты ведь не откажешь мне в этом. Припомни все, что я для тебя делала, как ты пришел ко мне... Ты сел в кресло. Было жарко. Потом ты принес мне изумруды. Я лежала на постели голая. Ты хотел овладеть мною. Почему ты испугался? То была маленькая собачка Нина. Ты ее так любил. Дай мне секинов, чтобы купить ей пирожного и пенистого мыла. А моя ванна, когда я выходила из воды и с меня бежали струйки... Да, я знаю, Анджиолино был не прав; он не должен был посылать тебя относить обезьян к Лампарелли. Но ты был так услужлив, ты так любил оказывать услуги! Ты, должно быть, всегда был таким; это в твоей природе. Тогда забывалось, что ты знатный вельможа, что у тебя есть земли, леса, деньги. Не надо сердиться на нас за это. Смотри, тебе лучше. Хочешь, Романьола принесет тебе бульону, а Джакопо оправит тебе постель? Ты дышишь легче. Ну же! Подпиши скорее, и ты будешь свободен, ты тогда можешь заснуть.

Г-н де Галандо, казалось, понимал. Он слабо улыбался. Его сухие губы зашевелились.

— Ты хочешь пить? Чего бы ты выпил? Хочешь вина, лимонада? Я пойду принесу винограда; мы будем есть его вместе, как в тот день, когда ты увидел меня на террасе. Хочешь? Я лягу на твою постель, рядом с тобою. Я буду держать кисть высоко. Я буду поворачивать ее и буду сама класть тебе виноградины в рот...

Сорочка ее упала почти до пояса. Г-н де Галандо смотрел на нее. Он погладил ее по руке, меж тем как она всовывала ему в пальцы перо. Он явно делал над собою усилие. Сначала кончик пера царапнул бумагу, потом, по-прежнему водимый Олимпиею, г-н де Галандо довольно отчетливо вывел букву Г.

Вдруг он испустил немой крик, остановившийся у него в горле. Его глаза расширились от ужаса; Олимпия повернула голову, и в то время, пока дверь тихо отворялась от невидимого толчка, она почувствовала, как рука г-на де Галандо в ее руке застыла и отяжелела. Сломанное перо скрипнуло в сжатых пальцах.

Анджиолино, стоя, тяжело уронил свечу, и оба, обезумев от страха, в полной темноте убежали из комнаты умершего, которую маленькая собачка Нина, только что вошедшая в нее таким образом, обходила кругом и обнюхивала, и, пока они взбирались по лестнице, стуча зубами и с поднявшимися на голове волосами, моська взобралась на постель, и, выпрямившись на лапах, с розовым язычком в углу рта, она презрительно обнюхала бесчувственное лицо г-на де Галандо, потом, осторожно почесав себе шею, она спрыгнула на пол, стуча когтями, и исчезла, легкая, кокетливая и таинственная.

ЭПИЛОГ

Господа де Креанж и д'Ориокур, неразлучные, находились вместе в Париже. Они оба взяли в одно и то же время отпуск и надеялись, провести его весело, если это будет угодно игре и

женщинам. Они, рассчитывали при этом, как всегда, на свою наружность и также, на внешность тех, кого привлекают карты к зеленым столам. Они твердо верили в то, что эта двойная милость не минует их, и уже учитывали предстоявшие удовольствия. Удовольствие увидеться с их другом де Портебизом присоединилось к тем, которых они ждали, и они не захотели его откладывать. Поэтому на третий день по приезде своем отправились они на улицу Бонзанфан, где привратник сообщил им, что г-н де Портебиз уже не живет здесь, но что он живет в своем доме в Нельи, где они наверное найдут его. Итак, на следующий день спозаранку приказали они везти себя в указанное место.

Прекрасные тенистые деревья вдоль Сены делали место весьма приятным. Дорогою они выражали изумление, что находят своего друга среди такого уединения и сельского пейзажа; но красивая внешность жилища и окружающих его садов оправдала в их глазах вкус их друга.

Проникнув за решетку и войдя в вестибюль, который показался им весьма игривой архитектуры, они должны были бы застать там Баска и Бургундца, чтобы доложить о них; но оба плута редко находились на своих постах в прихожей. По-видимому, любовь к природе захватила и их, в свою очередь, так как всего чаще они убегали и проводили свое время на берегу воды, расставляя сети и снимая верши. Поэтому господа де Креанж и д'Ориокур не нашли там никого, кто бы мог им ответить, за исключением хорошенькой субретки, для которой здесь было совсем не место и которая встала, чтобы принять их.

Нанетта стала весьма красивой и была превосходно сложена; надо думать, однако, что характер ее не улучшился настолько же, как ее внешность, так как она прикладывала платок к щеке, еще красной и тревшей от пощечины, которую она только что получила от своей хозяйки. Не проходило дня, чтобы она не получала какого-нибудь нагоняя в этом роде, так как если у красавицы Фаншон были легкие ноги, то она обладала также и не менее проворными руками, и сам г-н де Портебиз испытал бы это, быть может, наверное, как и Нанетта, если бы его покорность не обезоруживала его раздражительную и резвую подругу, так как м-ль Фаншон превратилась в пастушку этого любовного сельского уединения, где г-н де Портебиз и она разыгрывали в натуре и не на шутку «Сельские похождения».

Этот восхитительный союз, длительность которого определялась только любовью и который не знал иных оков, чем узы любви, привел в отчаяние г-на Лавердона и вызвал восторг у аббата Юберте. Г-н Лавердон был безутешен. Для него г-н Портебиз был пропащим человеком. Из всех блестящих поприщ, которые пророчил ему г-н Лавердон, он выбрал такое, которое честолюбивому парикмахеру казалось недостойным большой души. И в самом деле! Эта малютка Фаншон была девушкой без весу, годною, самое большее, для краткой забавы после ужина или для мимолетного послеобеденного наслаждения; девочка без прошлого, у которой не было даже той заслуги, что за нею бегали и оспаривали ее друг у друга. К этому г-н де Портебиз прибавлял еще комизм страсти столь ревнивой, что отнял девицу у публики, чтобы вернее сохранить ее для себя, лишив себя, таким образом, случая разделить с кем-нибудь из министров или из откупщиков сердце, от которого было бы забавно получать бескорыстно тайные милости, меж тем как другой с трудом едва добивался бы дорогостоящего благоволения. Так нет же! Г-н де Портебиз преследовал идеальную любовь. Самая незначительная жена какого-нибудь президента, в глазах г-на Лавердона, была лучше, и даже просто жена финансиста, несмотря на то что г-н де Портебиз был вправе притязать на все, так как после девицы Дамбервиль и громкого скандала из-за его связи с нею не было герцогини при дворе, которая отвергла бы его ухаживания. Разумеется, г-н Портебиз мог в эту минуту иметь любую женщину. Самые неприступные сделались бы для него легкими; но подобная мода, когда ничто не подновляет ее, быстро проходит. Г-н де Портебиз славе предпочитал Любовь, и г-н Лавердон, пожимая плечами, говорил о нем меланхолически и с оттенком презрения: «Этого человека уже не стоит причислять».

Напротив, добрый аббат Юберте снисходительно, с ясностью и удовлетворением покровительствовал страстной склонности, соединявшей обоих молодых людей. Он говорил

о ней с достоинством и блаженством, лежа в своем кресле, которого он уже более не покидал, так как от его подагры у него опухли ноги, и он ждал, что она поднимется выше и положит конец тому, что аббат в шутку называл «неверным сном своей жизни», так как он охотно говорил о своей близкой смерти. Он ожидал этого часа, скрестив неподвижные руки на своем большом животе, погруженный в спокойные мысли и навещаемый своими друзьями.

Ни г-н де Бершероль, ни г-н де Пармениль не уклонялись от выполнения этого долга. Они заставляли там г-на Гаронара и г-на де Клерсилли. М-ль Варокур появлялась там урывками. У ее любовника был маленький домик близ Люксембурга, и часто, уходя от него, она заходила осведомиться о здоровье аббата. М-ль Дамбервиль, разумеется, была в этих обстоятельствах очаровательна. Она приезжала каждый день. Кавалер де Герси, не любивший этих зрелищ, ожидал свою красавицу внизу, на углу, у винного торговца, так как он не отходил от нее ни на шаг.

Между тем опухоль поднималась и предсказывала близкую развязку. Все друзья, которых предупредили, были там. Девушка Дамбервиль, стоя позади кресла, поддерживала голову больного. Ждали с минуты на минуту прибытия м-ль Фаншон, которую было послано предупредить. Аббат противился этому до конца, боясь огорчить свою прелестную воспитанницу печальным зрелищем. Она явилась, вся розовая и цветущая молодостью, жизнью и любовью. На ней было летнее деревенское платье и широкая шляпа белой соломы. Аббат Юберте улыбнулся ей, так как не мог уже говорить, и, пока, стоя на коленях перед его креслом, она покрывала поцелуями и слезами одну руку доброго старика, другою он, легким движением, дружески приветствовал г-на де Портебиза, скромно остановившегося в дверях, около знаменитой зеленой бронзовой урны.

Когда аббат умер, Фаншон и Франсуа оказались упомянутыми в его завещании: она — дружески, он — с похвалою. Впрочем, аббат Юберте не забыл никого. Каждому оставил он что-нибудь, даже маленькой Нанетте, которая получила, согласно тексту завещания, «восемь золотых экю, завязанных в узелок индийского платка, и маленькое зеркальце, чтобы глядеть в него на свою щеку, которая у нее часто бывает красная». Медали, барельефы, античные вазы и книги предназначались в королевские кабинет и библиотеку. Аббат Юберте исключил из этого числа, чтобы завещать ее г-ну де Портебизу в знак уважения, большую урну зеленой бронзы, найденную некогда в Риме покойным графом де Галандо.

Смерть г-на аббата Юберте казалась, вследствие его преклонного возраста, столь естественною, что она не прервала забав обоих влюбленных. Они вкушали наслаждения Любви и наслаждения Природы. Театром их и прибежищем был дом в Нейльи. Все было там весело и изящно, скорее безыскусственно, нежели пышно, так как мода того времени заключалась в том, чтобы любить друг друга среди очарований полей и садов. Поэтому здесь все притягало на идиллию, и господа де Креанж и д'Ориокур заметили это, когда лукавая Нанетта толкнула дверь в залу, где находился г-н де Портебиз.

Эта зала представляла собою решетчатую беседку. Г-н де Портебиз сидел посреди комнаты на табурете. Зеркала на стенах отражали друг в друге его образ, так что с первого взгляда казалось, что в комнате несколько человек; но г-н де Портебиз был всего-навсего единственным из всех пастушков зеркал, так как он был одет в костюм, который, несмотря на все свое изящество, был, тем не менее, пастушеским. Высокие гетры из надушенной кожи доходили ему до икр; его камзол нежного цвета был украшен бантиками и буфочками из лент, пышная волна которых ниспадала у него с плеча. На нем, поверх парика с локонами, была большая шляпа, и он упражнялся в игре на волынке, дудку которой он подносил к губам, а раздутый воздухом мех поддерживал на коленях.

Завидя его в таком облики, Креанж и Ориокур покатались от хохота, и г-н де Портебиз присоединился к их веселости, хотя он находил столь же естественным, как их мундиры, свою одежду Колена и свой наряд деревенского парня.

— По чести, мой дорогой Франсуа, — сказал г-н де Креанж, когда они снова опомнились, — мы отнюдь не ожидали, что застанем тебя в таком одеянии. Черт возьми! Ты играешь в изящный маскарад и представляешь красивого пастушка!

— Мне сдается, мой Франсуа, — добавил г-н д'Ориокур, — что и пастушка недалеко, и держу пари, что она появится вскоре со своим пастушьим посохом и котомкою.

Г-н де Портебиз принял скромный вид селянина.

— Мы думаем также, — сказал, смеясь, Креанж, — что ты совсем не терпишь волков в твоей овчарне.

— Креанж, — возразил г-н д'Ориокур, — Креанж, друг мой, нам здесь нечего делать; мы явились некстати; дружба должна его уступить любви. Она царит господином. А мы-то рассчитывали на тебя, бедный мой Портебиз, что ты сведешь нас в игорные дома и к женщинам!

— Признаюсь, — отвечал г-н де Портебиз, — что мне было бы весьма трудно сопровождать вас туда, куда вы хотите, и что там у меня не было бы обычного вида; но вы будете добры принять на сегодня гостеприимство моей Аркадии. Сверх того, я хочу оправдать в ваших глазах выбор моего сердца, и я не сомневаюсь, что для этого достаточно одного вида Фаншон. Вот и она как раз возвращается из сада.

М-ль Фаншон была восхитительна. Она шла по длинной лужайке, нежно ступая по мягкой траве. Время от времени она нагибалась, чтобы сорвать цветок, или бежала, преследуя бабочку. Легкие и очаровательные, они порхали здесь и там, расцвеченные всеми красками лета. Она не ловила их, но находила при этом случай вытянуть свои гибкие руки, наклонить свой тонкий стан и распустить по воздуху свой шарф. Она не упускала ни одного случая быть грациозною и прелестною, так как она знала, что ее движения и позы оставляли в уме ее возлюбленного сладострастные образы, воспоминание о которых примешивалось, как сны, к любовной действительности ночных наслаждений. Сверх того, она заметила г-на де Портебиза, стоявшего в дверях павильона. Тотчас побежала она к нему. Воздушные поцелуи, которые она посылала ему кончиками своих пальчиков, опережали ее бег. Ее шарф развевался за нею, и в таком виде она, подбежав, упала на грудь своему пастушку, головою к его плечу, с закрытыми глазами, являя всею собою безрассудство. Когда она снова открыла глаза, то увидела господ де Креанжа и д'Ориокура, кланявшихся ей; она же не могла еще отдышаться и краснела под своею шляпою в цветах.

Знакомство совершилось быстро. Если Фаншон являлась безыскусственною и влюбленною наедине с Франсуа де Портебизом, то она хорошо знала, что эта красивая игра могла лишь в слабой мере интересовать посторонних; поэтому с ними она тотчас же становилась пикантною и остроумною. Эти господа, опасавшиеся маленькой дурочки, восхищались в ней проворною особою, живою, веселою и даже остроумною.

Во время угощения, которое было подано, обменивались самыми разнообразными разговорами, а когда вышли из-за стола и отправились гулять в сад, м-ль Фаншон шла между господами де Креанжем и д'Ориокуром, словно между двумя товарищами, болтая тысячу глупостей. Любовь, как и следовало, способствовала этому; г-н де Портебиз шел за ними, восхищенный этим добрым согласием и гордый умом своей возлюбленной. На повороте одной аллеи Фаншон обернулась, чтобы сказать своему возлюбленному:

— Ваши друзья очаровательны, сударь, и я понимаю, почему вас называли неразлучными. Что касается их, то с ними, наверное, случалось, что какое-нибудь сердце не отделяло их друг от друга, и я сама если бы была их возлюбленною, то с большим трудом принуждена была бы выбирать между ними.

Господа де Креанж и д'Ориокур принялись смеяться, глядя друг на друга.

— Вы и не думали, что сказали так верно, мадемуазель, — ответил г-н де Креанж, — и недавно еще одно любовное приключение, бывшее для нас общим, послужило нам странным доказательством того, что вы утверждаете в шутку. Попросите господина д'Ориокура рассказать вам эту историю. Она вас позабавит.

— Тем более что мы дошли до хорошего местечка, — сказал г-н де Портебиз. — Сядемте.

Сад постепенно спускался к Сене пологими лужайками. Вид был тщательно приноровлен к природе, наподобие видов в Монсо, в Эрменонвиле. Тут не было недостатка ни в ручейках, ни в рощице, ни в беседке, ни в деревенских мостиках, а между деревьями виднелась полуразрушенная колоннада с капителями, увитыми плющом. Все общество уселось на полукруглую скамью, и г-н д'Ориокур в следующих словах приступил к своему рассказу.

— Надо вам сказать, сударыня, что наш полк два месяца тому назад отправился на маневры. Маневры имели целью испытать выносливость молодых солдат, надежность верховых лошадей и умение офицеров; поэтому маневры были тяжелы и мучительны как трудными упражнениями, так и длинными переходами. Тем не менее они пришли к концу. Нам оставалось только вернуться, так как мы были весьма удалены от наших обычных квартир. Возвращение делалось маленькими переходами, и один из них был отмечен сильною бурей, во время которой мы промокли до костей. Гром гремел яростно, молнии следовали друг за другом без перерыва, в течение двух часов, после чего ровный дождик явился докончить то, что так хорошо было начато ливнем.

В то время как главная часть нашего отряда устраивалась, как умела на деревне, чтобы провести там ночь, наш авангард, к которому принадлежали мы, Креанж и я, отправился просить ночлега в небольшой замок, остроконечные башенки которого мы заметили случайно издали, под дождливым небом. Наши солдаты приютились в соседних хижинах, а мы двое направились к замку. Была почти ночь, когда мы, пройдя сводчатую подземную дверь, очутились в квадратном дворике, обнесенном строениями. Мы сошли с лошадей и постучали в дверь дома.

Г-н де Портебиз, при упоминании квадратного дворика, сводчатой двери и остроконечных башенок, насторожился, сам не зная почему.

Г-н д'Ориокур продолжал:

— Мы были чудесно приняты. Высокий камин пылал в обширной зале с низким потолком. Местная владелица вышла к нам навстречу. Она казалась крепкою и здоровою в своей одежде темного цвета. Мы увидели ее лицо, значительное и полное. Она носила связку ключей у пояса и, чтобы приветить нас, покинула свою прялку.

Прежде всего маленький лакей, лет пятнадцати, одетый в заплатанную куртку, провел нас в наши комнаты. Бумажное постельное белье, крашеный пол — все говорило о честной бедности. В общем, на это указывал уже вид разрушения на дворе и в конюшнях, куда, как мы видели, отвели наших лошадей, им не нашлось ни одного товарища. Пауки ткали свои паутины по кормовым корытам, и мыши бегали по полу, лишенному подстилки. Ничей деревянный башмак не смущал их прогулок. Мы находились, по всей вероятности, у какой-нибудь небогатой вдовы, и мы решили, что нас здесь не покормят. Час спустя маленький негодяй пришел звать нас к ужину.

Накрытый стол уже поразил нас своею необыкновенною чистотою и даже изысканностью убранства и обилием света. Наша хозяйка усадила нас по обе стороны от себя. При свете мы разглядели ее лучше. Она, должно быть, была очень хороша собою и могла еще и теперь считаться красавицею. Ее сорок лет и некоторая полнота сохранили свежесть и здоровье.

Она была полная и сильная. Лицо ее, разумеется, утратило свою нежность, но его веселость была необыкновенно приятна. Особой белизны руки и сверкающий цвет лица заставляли предполагать, что и остальное должно было сохранить тайную свежесть, как нередко случается в подобных случаях с женщинами этого возраста и этого склада.

Г-н де Портебиз, при этом портрете, стал еще более внимательным.

— Но изумление наше удвоилось, когда мы отведали то, что нам было подано. Мы находились лицом к лицу с самыми сытными и в то же время самыми тонкими кушаньями. Ах, мадемуазель Фаншон, какие там были соусы, какие приправы! Там, в этом старинном замке, готовилась кухня, достойная княжеского стола. Наши похвалы, казалось, занимали нашу хозяйку; мало-помалу она оживлялась, и вместо провинциальных вздора и плоскостей, которых мы ожидали, то был разговор самый веселый, самый пикантный и самый, если надо это сказать, вольный. Эта любезная особа вращалась, по-видимому, в высшем свете и в самом изящном обществе.

Мало-помалу огонь пряностей дошел до наших языков. Вин не было. Нам подали одно вино, но хорошее. Госпожа принесла свои извинения. Здесь жили так в стороне и в таком постоянном уединении, что это отзывалось на погребе, и в нем ничего не было, кроме плохого домашнего вина. Это значило клеветать на то, что мы пили, и оскорблять весьма достойное «кото», наполнявшее наши стаканы. Если наша хозяйка довольствовалась им как обычным, то она, по-видимому, помнила, что пила лучшие вина. Она говорила о них с видом знатока, и мы спрашивали себя, кто могла быть, в самом деле, эта дама, которая обнаруживала опытность в самых тонких блюдах и знание всех вкусовых наслаждений.

Так сидели мы, как вдруг Креанж ударил себя по лбу. Он припомнил, что в его чемодане было несколько бутылок превосходного шампанского. Жена купца, у которого мы останавливались несколько дней тому назад, не захотела отпустить нас без того, чтобы мы не увезли с собою несколько запечатанных бутылок, чтобы распить их, на память о ней, за здоровье короля. «Вот какие бывают военные удачи, — сказал Креанж, вернувшись и принеся бутылки, — храбрецы внушают мимолетные чувства. Их завоевания порою бывают вполне мирные». Произнеся это, он заставил пробку выскочить из бутылки и разливал во все стаканы искристое и пенившееся вино.

Его действие было из самых приятных. После нескольких стаканов оно легкими парами ударило нам в головы и погрузило нас в восхитительное волнение. Наша хозяйка, по-видимому, особенно ощущала благодетельное действие. Глядя на нее, можно было подумать, что она пьет любовный напиток. Молодость возвращалась к ее лицу обновленными красками; губы ее окрашивались в более яркий пурпуровый цвет, а глаза ее находили взгляды, полные нового огня. Можно было подумать, что искусная рука стирает с прекрасного портрета пыль времен, и обновленная живопись делает видимым для глаз первоначальный замысел художника.

Она пила, откинувшись на спинку кресла, улыбаясь нашим речам и с увлечением отвечая на них. Мы по очереди рассказывали анекдоты. Она рассказала несколько, весьма вольных; эти сладострастные образы возбуждали наши чувства. Она замечала также, что мы не были нечувствительны к ее прелестям, и мы помогли ей тверже убедиться в этом; сидя по обе стороны от нее, мы усиленно жали ее коленом. Она отвечала как могла и была, по-видимому, весьма довольна этим импровизированным торжеством своей красоты, от которой она слишком рано отказалась, запершись вдали от света, в этом затерянном замке, и она наслаждалась этим возвратом к прошлому, любовные утехи которого она, по-видимому, не забыла. Мы работали, Креанж и я, стремясь снова подать ей мысль о них. Она вполне подходила к нашим планам.

Наше поведение не переставало изумлять маленького лакея, который нам прислуживал. Он,

как видно, совершенно не был привычен к подобным гостям, и весьма вероятно, что это выходило из обычаев замка. Возможно, что чаще всего он видел на этих местах местного деревенского священника или каких-нибудь мелкопоместных помещиков из этой округи, как и приличествует составлять обществу вокруг честной вдовы, удалившейся на покой в деревню, чтобы жить там своими доходами и более отдавать своему долгу, нежели своим удовольствиям. Наши развлечения начинали удивлять маленького чудака. Он краснел и казался сильно разгневанным и на свою хозяйку, и на нас. Поэтому, когда он увидел, что Креанж позволил себе несколько особую вольность, он сразу уронил на пол стопку тарелок, которые держал в руках, и скрылся бегом.

Это небольшое событие весьма позабавило нас. Вдруг наша хозяйка поднялась и исчезла. Мы сидели так некоторое время, не замечая того, что мы были крепко-накрепко заперты. Мы были порядочно изумлены, когда увидели себя так обманутыми и плененными. Ругаясь, мы утешались мыслью, что, быть может, так было лучше. Без сомнения, наша осторожная подруга хотела заставить нас избежать какого-нибудь разочарования. Довольная тем, что она навела нас на приятные мысли, она, вероятно, побоялась, дав им ход, недостаточно хорошо осуществить их и предпочла оставить их в нас нетронутыми. В общем, мы отдавали себе отчет в том, что неожиданность играла большую роль в прелести этого приключения. Нередко красота лица не переживала того беглого мига, в который она предстала нам в виде мимолетном. Какова была во всем этом роль острых разговоров и винных паров? И мы снова принялись пить и доканчивать бутылки, надеясь на то, что мудрая хозяйка замка, очутившись в безопасности в своей спальне, пришлет за нами кого-нибудь, чтобы отвести нас в наши комнаты.

Г-н де Портебиз был, по-видимому, успокоен тем ходом, который принимал рассказ. «Все это закончится, — подумал он, — какою-нибудь баснею про служанку, так как Креанж и Ориокур далеко не разборчивы. И потом, о чем я думаю? Черт меня побери, если я не вообразил себе, что эти четыре башенки были башенками Ба-ле-Прэ... Однако только там и едят изысканно...

— Мы ждали довольно долго, — продолжал г-н д'Ориокур, — когда поворот ключа в замке предупредил нас о том, что кто-то входил. Мы испустили крик изумления и радости. Наша хозяйка стояла перед нами, совершенно преобразясь. На ней было нарядное платье, правда в старинном вкусе, но одно из самых изящных. Величие убранства шло к этой внушительной красоте, более похожей на Кибелу, чем на Диану. В ее руках трепетал веер. Румянец, оживлявший цвет ее лица, и пудра, покрывавшая ее волосы, сообщали изумительный блеск ее глазам и всему ее лицу. Казалось, что она вместе с платьем, которое она носила в юности, вернула и свою молодость. Она улыбалась сладострастно. Мы поняли наше счастье. Ей на вид нельзя было дать тридцати лет, а каждому из нас было по пятнадцати, так как она не хотела нас разлучать и доверила нашему совместному жару заботу утолить ее пыл. Пышное одеяние уступило, как и его хозяйка, перед нашим рвением; она смеялась и предоставляла нам действовать, а мы старались изо всех сил. Необычная обстановка этого приключения, эта женщина, сама собою возрождающаяся, если можно так выразиться, — все способствовало удвоению наших сил. Ночь прошла в самых тонких и в самых неистовых наслаждениях; мы поочередно возобновляли их до зари, и в эту необычайную ночь, когда наши забавы перемежались, ее наслаждение казалось нам непрерывным.

Петух пропел на дворе, когда мы вскочили и побежали к нашим платьям, так как время было ехать. Горевшие свечи погасли, одна еще еле мерцала, и при ее-то свете мы в последний раз взглянули на прекрасную Жюли, так как под этим именем, за недостатком настоящего, о котором она просила нас не осведомляться, она пожелала остаться в нашей памяти. Затем светильня упала, и мы ощупью добрались до двери. Мы слышали прощальный вздох, которым она почтила наш отъезд, и мы вышли, твердо уверенные в том, что мы видели самый страстный и самый очаровательный из снов.

Все общество смеялось, не исключая и г-на де Портебиза, который смеялся желчно, не уверенный в том, решились ли господа де Креанж и д'Ориокур посмеяться над ним, или же эти два ветренника на самом деле поведали правду, не зная, что то, что для них было не более как забавным приключением, было менее забавно для сына красавицы Жюли де Портебиз...

— Лучше всего, быть может, — добавил г-н де Креанж, — был конец всего этого.

Во дворе мы нашли нашего фурьера, который держал под уздцы наших лошадей; но едва вскочили мы в седла, как были осыпаны градом камней; один из них даже едва не разбил нос д'Ориокуру, меж тем как другой задел мое ухо. Мы посмотрели по направлению к засаде, и велико было наше изумление, когда мы увидели стоявшего на пороге маленького лакея, прислуживавшего нам за столом, которые, набив камнями карманы, осаждал нас таким образом.

Фурьер привел к нам бездельника, ухватив его за штаны. Он кричал и отбивался как дьявол. У него были большие уши, рыжие волосы и лицо было испещрено веснушками. Он смотрел на нас с яростью, сжимая кулаки. Чудаку можно было дать лет пятнадцать. Вдруг гнев его рассеялся, и он принялся плакать, а потом и жалобно хныкать. Потом им овладело новое бешенство. «О, негодяи! Они спали с госпожою». И он продолжал: «Ах, добрые мои господа! Дело в том, что теперь она не пожелает уже меня. Разве я знаю эти тонкие дворянские манеры? Кхи... кхи... А между тем это госпожа меня этому обучила... кхи... кхи... Я сам об этом и не думал... кхи... Это было в прошлом году, под стогом сена... кхи... кхи...»

Все общество снова продолжало прогулку, и, покинув аллеи, все шли прямо по лужайкам. Вечер спускался постепенно, было мягко и тепло. Фаншон не переставала смеяться и шутить. Подошли к колоннаде. Она поднимала свой полукруг колонн с выемками за каменным подножием в форме гробницы, на котором стояла высокая урна зеленой бронзы, та, которую некогда г-н де Галандо откопал у ворот Салариа и которую аббат Юберте завещал Франсуа де Портебизу. Порою одна из голубок, которых кормила Фаншон, прилетала и садилась там на мгновение. Слышны были на металле легкое царапанье чешуйчатых лапок или трение жесткого клюва. Потом птица улетала, и ваза оставалась стоять одиноко.

К этому-то памятнику, который Франсуа де Портебиз приказал воздвигнуть в память своего дяди, приходили в сумерки Баск и Бургундец, а к ним присоединялась и хорошенькая Нанетта. Она прибежала, придерживая платком свою щеку, получив только что оплеуху, и все трое, не обращая внимания на величие места, предавались мирно, в тени или в игре лунного света, тысяче маленьких непристойных забав, не подозревая того, что они, таким образом, украшали живыми и подвижными барельефами пьедестал, возносивший к небу строгую и величественную свою зеленоватую бронзою урну Галандо-римлянина.

1926

Примечания

1

Брелан — азартная карточная игра.

2

Арпент — мера земли, равная 51 ару, 1 ар равен 100 м². (Прим. пер.)

3

По-русски нечто вроде: «Назло-поперек». (Прим. пер.)

4

Кадран — солнечные часы.

5

Берлин — карета.

6

A giorno (итал.) — ярко освещенный.